

Г. ТАРА



ЗАКОНЫ ПОДРАЖАНИЯ

МОСКВА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
2011

УДК 159.9
ББК 88
Т19

Les lois de l'imitation

По изданию:

Ж. Тард «Законы подражания».

Издание Ф. Павленкова. С.-Петербург, 1892

Тард Г.

Т19 Законы подражания: Пер. с фр. — М.: Академический Проект, 2011. — 304 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-1329-2

Классический труд основателя социальной психологии Г. Тарда посвящен социально-коммуникативной деятельности индивидов в форме подражания (имитации), которая выступает как основа развития общества. Под процессом подражания понимается элементарное копирование и повторение одними людьми поведения других. Процессы копирования и повторения касаются существующих практик, верований, установок и т. д., которые воспроизводятся из поколения в поколение благодаря подражанию. Этот процесс способствует сохранению целостности общества.

Другим важным понятием в объяснении развития общества, по Тарду, является «изобретение» (или «нововведение») как процесс адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. Все новое, что возникает в обществе (будь то идеи или материальные ценности), — результат творческой деятельности немногочисленных одаренных личностей. Раз возникнув, новое явление приводит в действие процесс подражания. Утверждение всех основных социальных институтов произошло, по мнению Тарда, именно потому, что обыкновенные люди, не способные изобрести что-то новое, стали подражать творцам-новаторам и использовать их изобретения.

Таким образом, деятельность немногих новаторов и изобретенные ими новшества оказываются основным двигателем социальной эволюции, способствуя развитию общества. Следует при этом учитывать, что наибольшее распространение получают не любые «изобретения», а те, которые в целом вписываются в уже существующую культуру и улавливают основные тенденции развития данного общества.

Для студентов, аспирантов и преподавателей психологических и социологических факультетов вузов, а также для всех интересующихся проблемами социальной психологии.

УДК 159.9
ББК 88

© Оригинал-макет, оформление.
Академический Проект, 2011

ISBN 978-5-8291-1329-2

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемой читателю книге я старался выставить с возможно большей отчетливостью на вид чисто *социальную* сторону фактов, относящихся к человеку, выделяя из последних всю чисто биологическую или физическую их сторону. При этом, однако, оказалось, что именно та самая точка зрения, благодаря которой мне удалось достигнуть разделения изучаемых фактов на упомянутые категории, указала мне существование в высшей степени многочисленных, чрезвычайно далеко идущих и в высшей степени естественных аналогий между социальными явлениями, и явлениями физическими и биологическими. В течении многих уже лет я в различных статьях журнала «Revue Philosophique» излагал и развивал основную мою идею, про которую один из величайших французских историков-философов имел любезность письменно заявить мне, что она представляет собою как бы ключ, способный отворять почти все замки. В то время, как я писал означенные статьи, нынешний труд был у меня уже задуман, так что многие из упомянутых статей могли удобно войти в его состав в качестве отдельных глав. Социологи, делавшие мне иногда честь обращать некоторое внимание на мои воззрения, получают теперь возможность отнестись к ним критически (если признают это уместным) уже на основании обстоятельного с ними знакомства, а не по отрывочным данным. Я охотно примирюсь с строгим приговором, в случае если критик, направив его по моему личному адресу, в то же время отнесется благосклонно к моей идее, что представляется само по себе возможным. Подобно тому, как семя, упавшее в землю, может найти ее для себя недостаточно пригодной, я тоже мог оказаться недостаточно подготовленным для развития моей идеи. Желательно, чтобы в таком случае она, благодаря этой книге, могла быть усвоена умом, лучше подготовленным для ее надлежащей культивировки.

Я старался составить очерк общей социологии. Законы этой науки в том смысле, как я ее понимаю, применимы по существу дела ко всем нынешним, минувшим или же возможным когда-либо обществам, подобно тому как законы общей физиологии применимы ко всем живущим теперь, угасшим, или даже возможным в воображении видам живых существ. Не спорю, что несравненно легче постановить и даже доказать принципы общей социологии, отличающиеся в одинаковой степени как простотой, так и всеобщностью, чем проследить их в лабиринте частных случаев, к которым они применяются, но тем не менее необходимо все-таки формулировать эти принципы.

Необходимо заметить, что в былое время под философией истории и философией природы подразумевали узкую систему исторического объяснения, или же научного истолкования, задававшуюся целью уяснить смысл всего ряда исторических фактов, или явлений природы, но таким образом, чтобы при этом исключалась возможность всякой иной группировки и всякого иного развертывания в ряд. Отсюда происходит и неудачность всех подобных попыток. Действительно существующее объяснимо не иначе, как в связи с беспредельностью возможного (т. е. способного стать при некоторых условиях необходимым), где оно является как бы в положении звезды, находящейся в беспредельном пространстве. Даже самая идея о существовании закона имеет в своей основе представление о таком звездном небе реальных фактов.

Не подлежит сомнению, что в природе все строго определено и что если раз даны первичные неизвестные нам условия ныне существующего, оно никоим образом не могло стать ничем иным. Но тут естественно возникает вопрос, отчего именно должны были иметься данные, а не какие-либо иные первичные условия. Поэтому в основе необходимого лежит, если можно так выразиться, некоторая иррациональность. Поэтому же как в области физических и биологических, так и в области социальных явлений осуществленное кажется лишь ничтожною долей осуществимого. Взглянув на звездное небо, мы видим там как бы произвол в распределении солнц и туманных пятен — что-то разбросанное и как бы составленное из кусков. Подобным же образом фауны и флоры поражают нас своею странностью. Такое же впечатление производит изуродованный и бессвязный вид социальных групп, которые, прилегая одна к другой, образуют в общей сложности какой-то хаос, где незаконченные наброски нового смешиваются с развалинами отжившего. Как в этих, так и во многих других отношениях, указываемых нами попутно на своем месте, обнаруживается полнейшее сходство между тремя великими категориями действительно существующего.

Имеющаяся в этой книге глава «О логических законах подражания» представляет собой как бы основной камень, играющий роль звена между означенной книгой и последующим трудом, который будет служить для нее дополнением. Если б я изложил предмет, трактующий в этой главе, настолько обстоятельно, насколько оказывается возможным, то вышел бы из рамок, поставленных мною самим для этой книги.

Проводимые мною идеи могли бы, как мне кажется, доставить новые решения для политических и других вопросов, по которым обнаруживается теперь разногласие. Я не признаю однако уместным выводить эти решения. По всей вероятности, читатели не поставят мне в упрек того, что я упустил таким образом случай приноровить свою книгу к требованиям злобы дня. Повторяю, этого нельзя было сделать, не выходя из рамок задуманного мною труда.

Ж. Тард

I

Где должны найти себе место социальные факты — в науке, или только в истории, или лишь в философии? С этим вопросом постоянно приходится считаться, хотя, собственно говоря, социальные факты, если рассматривать их поближе и под известным углом, могут быть, так же как и всякие другие, разложены в ряды мелких однородных фактов и выражены в формулах, называемых законами и представляющих собою резюме этих рядов. Почему, действительно, так случилось, что социальная наука до сих пор находится всего лишь в зародыше или, самое большее, только что народилась среди всех своих прочих сестер, уже зрелых и вполне окрепших? Главная причина этого, по моему мнению, заключается в том, что в данном случае, гоняясь за тенью, опускали из виду самый предмет, споря из-за слов, забывали о деле. Полагали, что *социологии* можно придать научную окраску не иначе, как только присвоив ей биологический или, еще лучше, механический характер. А это все равно, что стараться осветить известное неизвестным, стараться представить солнечную систему в виде неразложимого туманного пятна, чтобы лучше понять ее. В области социальных явлений нам приходится иметь дело — и это составляет исключительную привилегию этой области — с непосредственными причинами, с индивидуальными поступками, представляющими факты, совершаемые человеком, что абсолютно недоступно нашим взорам во всякой другой области. Таким образом казалось бы, что нам незачем прибегать при объяснении социальных явлений к так называемым всеобщим причинам, создаваемым физиками и натуралистами по необходимости и известным под названиями сил, энергий, условий существования и других словесных паллиативов, прикрывающих неведение непосредственной сущности вещей. Но разве можно, скажут нам, рассматривать человеческие поступки, как единственные факторы истории? Это уже что-то слишком просто. И мы считаем своей обязанностью придумывать другие причины по типу указанных по-

лезных фикций, получающих в своих сферах принудительное обращение, и радуемся, что, обозревая таким образом человеческие дела с крайне приподнятой точки зрения, даже теряя их собственно из виду, мы можем иногда придать им совершенно безличную окраску. Будем остерегаться этого смутного идеализма; будем остерегаться также и того банального индивидуализма, который объясняет социальные изменения капризами великих людей. Признаем скорее, что изменения эти объясняются возникновением случайных, в известной степени (насколько дело идет о месте и времени) великих идей, или вернее значительного числа идей, мелких и крупных, простых и сложных, чаще всего незаметных при их зарождении, по большей части не громких, обыкновенно анонимных, но всегда новых; в виду этого я позволяю себе назвать их общим именем *изобретений* или *открытий*. Под этими двумя терминами я понимаю всякое нововведение или всякое дальнейшее улучшение предшествовавшего нововведения во всякого рода социальных явлениях: в языке, религии, политике, праве, промышленности, искусстве. В тот момент, когда человек задумывает или решает подобное нововведение — мелкое или крупное, безразлично, на внешней поверхности общественной жизни все по видимому сохраняет свой прежний неизменный вид, все равно как и животный организм несколько не меняет своего физического вида в то время, когда в него проникает губительный или благотворный микроб; и эти постепенные изменения, вызываемые введением живого элемента в общественный организм, кажутся, благодаря видимой непрерывности явлений, как бы дальнейшим продолжением предшествующих изменений, в русло которых они попадают. Отсюда возникает обманчивая идея, заставляющая историков-философов допускать действительную, лежащую якобы в основе всего, непрерывность исторических метаморфоз. Истинные причины этих последних следуют, однако, искать в цепи идей, хотя весьма многочисленных, но раздельных и не представляющих непрерывности, хотя и соединенных между собою актами подражания, еще более многочисленными, чем акты, служащие им образцами. Необходимо стать на эту точку зрения и исходить из этих новаторских начинаний, которые, внося в мир одновременно и новые потребности, и новые средства удовлетворения их, распространяются или имеют тенденцию распространяться путем подражания, вынужденного или добровольного, обдуманного или бессознательного — распространяться более или менее быстро, но правильно, подобно световой волне, подобно семье термитов. Правильность эта не бросается непосредственно в глаза; но если мы разложим социальные факты на их составные элементы, то найдем в каждом из них, даже в самом простейшем, различные комбини-

ванные изобретения, молнии гения, накопленные и превращенные в обыденные источники света. Однако сделать такой анализ очень нелегко. В общественном отношении, все оказывается изобретениями и подражаниями; подражания — это реки, вытекающие из тех гор, что представляют собой изобретения. Конечно, нет ничего проще такой точки зрения; но если мы будем смело придерживаться ее, не станем делать никаких уклонений в сторону, будем применять ее как к самым ничтожным мелочам, так и к целой совокупности фактов, то быть может убедимся, насколько благодаря ей всякий пейзаж выигрывает в своих красках и какие перспективы, несмотря на всю простоту истории, открываются при этом: перспективы — то причудливые, как горный пейзаж, то правильные, как аллеи парка. Это, если хотите, все еще идеализм, но идеализм, стремящийся объяснить историю идеями ее деятелей, а не идеями историка.

Прежде всего, — и это составляет специальный тезис настоящей главы, — с указанной точки зрения предмет социальной науки представляет замечательную аналогию с предметами других областей всеобщего знания и, так сказать, приобщается ко всей остальной природе, на лоне которой он являлся до сих пор каким-то посторонним предметом.

Во всякой сфере исследования сначала устанавливаются чистые и простые утверждения, и затем уже, много спустя, являются объяснения. И то, что просто констатируется, повсюду составляете первоначальные данные, случайный и странные основные посылыки и источники, из которых вытекает все подлежащее объяснению. Существуют или существовали такие-то туманные пятна, такие-то небесные тела такого-то размера, такого-то объема, на таком-то расстоянии; существуют такие-то химические элементы; существуют такого-то рода эфирные вибрации, называемые светом, электричеством, магнетизмом; существуют такие-то основные органические типы, и прежде всего — животные и растения; существуют такие-то цепи гор, называемые Альпами или Андами, и т. д. Когда астроном, химик, физик, естествоиспытатель, географ излагают перед нами эти основные факты, из которых выводится все остальное, представляет ли их труд собственно труд ученого? Нет, они просто *констатируют*, и в данном случае являются такими же хроникерами, как и писатель, рассказывающий о походе Александра или об открытии книгопечатания. Если между ними и существует какая-либо разница, то, как увидим ниже, всецело в пользу историка. Что же знаем мы в *научном* смысле слова? Причины и цели, без сомнения ответят нам; и когда мы найдем, что два различные явления обуславливают друг друга или ведут вместе к одной общей цели, то мы говорим, что объяснили их себе.

Однако представим себе такой мир явлений, где ничто не походит одно на другое, где ничто не повторяется; гипотеза странная, но строго говоря, допустимая, представим себе мир одних неожиданностей и одних новшеств, где творческое воображение, лишенное всякой памяти, пользуется полным простором, где движения небесных светил не знают никаких периодов, колебания эфира — никакого ритма, последовательно проходящие поколения — никакого общего характера и наследственного типа. Несмотря на все это, ничто не мешает нам допустить, что всякое явление в такой фантазматории представляет продукт другого явления, обуславливается им и в свою очередь вызывает собою новое явление. Здесь также могут быть свои причины и цели. Но было ли бы в подобном мире место знанию, какой бы то ни было науке? Нет. И почему? Потому опять-таки, что здесь не было бы ни сходства, ни повторения.

В этом все дело. Знание причин дает иногда возможность предвидеть будущее; но знание сходств дает всегда возможность считать и измерять; а всякое знание прежде всего держится на числе и измерении. Впрочем, существенное еще не составляет всего. Раз новая отрасль науки нашла сферу сходств и повторений, подлежащих ее ведению, она должна сравнивать их между собою, следить за той связующей нитью, которая проходит через сопутствующие им изменения. Но, собственно говоря, наш ум понимает и допускает определенным образом связь причины со следствием лишь настолько, насколько следствие походит на причину, повторяет причину, как, например, в том случае, когда звуковое колебание порождает другое звуковое колебание, или одна клеточка порождает другую подобную ей клеточку. Нет ничего, скажут нам, таинственнее именно этих воспроизведений. Это — верно: но раз мы примем эту тайну, подобные ряды представят для нас наиболее понятное явление. Зато всякий раз, когда *произвести* не означает *воспроизвести*, все становится для нас непонятным¹.

Когда сходные предметы составляют части одного и того же целого, или принимаются за таковые, как, например, молекулы водорода, или древесные клеточки одного и того же дерева, или солдаты одного и того же полка, то совокупность таких сходных элементов принимает название количества, а не просто группы. Когда, в другом

¹ Научное понимание не должно обязательно иметь свою точкою отправления самые маленькие, гипотетические и невидимые частицы вещества. Оно возникает повсюду там, где материя образует единицы одинакового порядка, дающие возможность сравнивать их между собою и измерять одни — другими, повсюду, где эти единицы соединяются в сложные единицы более высокого порядка, являясь сами по себе мерой при сравнении этих последних (*Von Naegeli. Discours au congrès des natural. Allem. en 1877*).

случае, *повторяющиеся* предметы, умножаясь, остаются связанными одни с другими, как, например, тепловые или электрические колебания, согревающие или электризующие тело все более и более по мере своего накопления внутри его массы, или однородные клетки, постоянно умножающиеся в теле растущего ребенка, или прозелиты при распространении известной религии путем обращения неверных, — тогда повторения называются нарастанием, а не просто рядами. Во всем этом я не нахожу ничего такого, что заставляло бы обособлять предмет социальной науки.

Кроме того, количества или группы, нарастания или ряды, сходства, повторения явлений — внутренних или внешних, все равно, суть необходимые условия для всевозможных дифференциаций и вариаций; это то же, что канва для узоров, или такты для музыки. Фантазмагорический мир, на который я только что указывал, был бы в действительности наименее разнообразным из всех возможных миров. Накопление однородных действий, точно скопированных одни с других, вносит несомненно гораздо больше обновления в наши общества, чем всякая революция. И можно ли указать на что-нибудь более скучное и однообразное, чем независимая жизнь дикаря в сравнении со связанною разными ограничениями жизнью цивилизованного человека? Возможен ли был бы прогресс в мире органическом без наследственности? А все это роскошное разнообразие геологических эпох и живых существ, возможно ли было бы оно без периодичности небесных движений, без волнообразного ритма движений земных?

Повторения, следовательно, необходимы для видоизменений. Если мы допустим противное, то необходимость смерти — проблема, считаемая Дельбефом почти неразрешимой в его книге о бесформенной и живой материи — остается непонятной; в самом деле, почему бы живому кубарю, раз пущенному, не вращаться вечно? Но согласно гипотезе, что повторения имеют единственно лишь тот смысл, чтоб показать во всевозможных проявлениях одну только оригинальность, ищущую для себя выражения, — смерть должна фатально наступать всякий раз, когда возможные модуляции будут исчерпаны. Заметим здесь, кстати, что отношение общего к частному, источник всех философских споров в средние века по поводу номинализма и реализма, есть именно такое отношение повторения к изменению. *Номинализм* — это доктрина, согласно которой индивиды суть единственные реальности, причем индивиды рассматриваются со стороны их различий. *Реализм*, напротив, признает заслуживающим внимания и называет реальностью во всяком данном индивиде лишь то, что в нем оказывается сходным с другими индивидами и что имеет тенденцию воспроизводиться в других подобных индивидах. Мы

поймем весь интерес подобного сопоставления, когда примем во внимание, что индивидуалистический либерализм в политике есть частное проявление номинализма, а социализм — частное проявление реализма.

Всякое повторение, будет ли то социальное, органическое или физическое, т. е. *подражательное*, *наследственное* или *вибрационное* (мы указываем здесь исключительно на наиболее резкие и типичные формы всеобщей повторяемости), вытекает из нововведения, подобно тому как всякий свет исходит из известного источника; таким образом нормальное во всякого рода познании представляется вытекающим из случайного. В самом деле, мы считаем совершенно естественными и правильно обусловленными такие явления, как действие притягательной силы или распространение световой волны, центром которых служит известное светило, как размножение животной породы от первой пары, как распространение среди целого народа известной идеи, известной потребности, религиозного обряда, пущенных в ход ученым, изобретателем или проповедником. Но в то же время нас всегда поражает своею странностью тот отчасти неподдающийся формулировке порядок, в котором возникают и размножаются все эти лучеиспускательные фокусы, например, разного рода мастерства, религии, социальные учреждения, разные типы живых существ, разные химические вещества или небесные тела — все это чарующее однообразие, все эти ряды. В самом деле, водород всегда один и тот же в бесконечном множестве своих атомов, рассеянных по небесным светилам; свет какой-либо звезды — одинаков во всем беспредельном пространстве; протоплазма — одна и та же повсюду с одного до другого конца животной лестницы, и ряд неисчислимых поколений морских пород не прерывается начиная с геологических эпох; корни слов индо-европейских языков — одни и те же почти во всем цивилизованном человечестве и замечательно верно передаются в словах, начиная с коптского языка древних египтян до наших дней, и т. д. Все эти несчетные груды предметов, сходных между собою или подобным образом сочлененных, поражающих нас своим правильным сосуществованием или генетической последовательностью, связаны с случайностями физическими, биологическими, социальными, и эта связь сбивает нас с толку. Повторяем еще раз, что аналогия между социальными фактами и другими явлениями природы остается неизменной. Но если первые из них, рассматриваемые через обычную призму историков и даже социологов, представляют для нас какой-то хаос, тогда как прочие явления, рассматриваемые через обычную призму физиков, химиков и физиологов, оставляют впечатление весьма хорошо упорядоченных фактов, то этому удив-

латься нечего. Эти последние ученые показывают нам предмет своей науки только со стороны его сходств и повторений, благоразумно скрывая в тени сторону соответствующих разнородностей и видоизменений. Историки же и социологи, наоборот, набрасывают покрывало на однообразную, правильную сторону социальных фактов, на их повторяемость и раскрывают перед нами все то, что есть в них случайного и интересного, обновляющегося и разнообразящегося до бесконечности. Положим, дело идет о выяснении влияния римлян на галлов. Как поступит историк, или даже философ? Он и не подумает провести нас по всей Галлии тотчас же после завоевания ее Цезарем и показать шаг за шагом каждое латинское слово, каждый римский обряд, каждое предписание, каждое движение или военный маневр по правилам римских легионов, каждое мастерство, обычай, занятие, закон, каждую, наконец, идею и потребность, нарочно принесенные римлянами вместе с собою, чтобы постепенно распространить все это от Пиринеев до Рейна и мало-помалу, после более или менее упорной борьбы с древними кельтическими идеями и обычаями, завладеть всеми сердцами и умами галлов, восторженных подражателей Цезаря и Рима. Если же автор и заставит нас совершить один раз подобную утомительную прогулку, то он, без всякого сомнения, не станет продвигать ее столько раз, сколько встречается слов или грамматических форм в латинском языке, сколько обрядовых формальностей в религии римлян, или военных движений, которым легионеры были обучены своими офицерами-инструкторами, сколько имеется разных произведений римской архитектуры — храмов, базилик, театров, цирков, водопроводов, вилл с их атриумами и т. д., сколько есть стихов у Вергилия или Горация, выучиваемых в школах миллионами школьников, сколько законов в римском законодательстве и сколько различных промысловых и артистических навыков, передававшихся в римской культуре от учителя к ученикам. Однако, только ценою такого труда можно составить себе точное представление о той необычайной правильности, какая присуща даже наиболее деятельным обществам. Затем, когда дело дойдет до христианства, тот же историк, конечно, нимало не позаботится снова заставить нас совершить такое же скучное путешествие и проследить за каждым догматом, за каждым христианским обрядом, распространявшимся в языческой Галлии не без сопротивления, подобно тому, как звуковая волна распространяется в вибрирующей уже среде. Вместо этого, он расскажет нам, что в таком-то году Юлий Цезарь завоевал Галлию, а в таком-то году такие-то святые пришли в эту страну, чтобы проповедовать христианское учение. Быть может он нам перечислит еще различные элементы, из которых сложилась римская цивилизация или христи-

анская вера и мораль, перенесенные потом на галльскую почву. Затем пред ним встанет проблема — понять, представить в рациональном, логическому научному свету это странное наслоение христианства на римскую культуру или лучше это постепенное христианизирование на почве постепенного романизирования. Не менее затруднений представит также рациональное объяснение, по отношению к римской культуре и христианству, взятым отдельно, этого странного наслоения этрусских, греческих, восточных и других течений, весьма разнородных между собою, составляющих одно, и еврейских, египетских, византийских идей, весьма слабо связанных между собою, даже в каждой отдельной группе, составляющих другое. Такова, однако, неблагоприятная задача, которую поставит себе историк-философ; он не согласится, что ее можно обойти, если только научным образом отнестись к своей работе, и будет утомлять свой ум, стараясь создать порядок из этого беспорядка, отыскать закон этих случайностей и основание для этих комбинаций. А между тем, лучше было бы поискать ответа на вопрос, каким образом и благодаря чему из этих комбинаций возникает иногда гармония, и в чем состоит эта последняя, что мы и попытаемся сделать ниже.

Одним словом, такой историк походит на ботаника, который решился бы пренебречь всем, что касается генезиса растений одного и того же семейства или подсемейства, а равно их роста и питания, представляющего известного рода клеточное зарождение или обновление тканей; или он походил бы на физика, который пренебрег бы изучением звуковых, световых, тепловых колебаний и способа их распространения в различных, уже вибрирующих сами по себе средах. Представьте себе одного исследователя, убежденного в том, что действительный и исключительный предмет его науки составляет ряд специфических разнородных типов, начиная от простейшей водоросли до орхидеи, и глубокомысленное оправдание этого ряда; а другого, убежденного, что его изыскания имеют в виду единственную цель — дознаться, почему существуют именно волнообразные световые колебания семи известных нам родов, а не другие виды эфирного колебания? Вопросы, конечно, любопытные, но они способны интересовать философа, а не ученого, так как решение их никогда по-видимому не может представить той высокой степени достоверности, какая требуется этим последними. Совершенно ясно, что первое условие для всякого, желающего быть анатомом или физиологом, составляет изучение тканей, агрегатов, клеточек, волокон, сосудов, представляющих известное однообразие во всех организмах, или изучение функций накопления незначительных сокращений, незначительных иннерваций, незначительных окислений и раскислений, также однообразных,

и прежде всего — вера в наследственность, эту великую деятельницу в области жизни. Не менее ясно также, что для того, чтобы быть химиком или физиком, необходимо прежде всего сделать многочисленные исследования над объемами газов, жидкостей, твердых тел, представляющих собою совокупность совершенно одинаковых атомов, или, так называемых, физических сил, этих удивительных, массовых сплетений незначительных, однородных вибраций. Действительно, все в физическом мире сводится или не сегодня-завтра будет сведено к колебательному движению; все здесь более и более принимает характер волнообразного распространения точно так же, как относительно живого мира все более и более убеждаются, что воспроизводительная способность, свойство передавать по наследству самые ничтожные особенности индивида, присуща самомаleastейшей клеточке.

Быть может, прочитав эту книгу, вы согласитесь со мной, что социальный организм по существу своему подражательный, и что подражание играет в обществах роль, аналогичную с наследственностью в физиологических организмах или с волнообразным колебанием в мертвых телах. Если это так, то придется затем допустить, что известное человеческое изобретение, дающее толчок новому роду подражания, например изобретение пороха, ветряных мельниц, телеграфа Морзе и т. п.¹, представляет для социальной науки то же, что для биологии — образование нового животного или растительного вида, что для физики — появление, наряду с электричеством, светом и т. д., нового рода движения, или для химии — образование нового тела. Поэтому историка-философа, задающегося целью открыть закон научных, технических, художественных, политических и т. д. изобретений, последовательно появлявшихся и странным образом соединявшихся между собою, следовало бы сравнивать не с физиологом или физиком, каковых мы знаем в лице Клод-Бернара или Тиндаля, а с натур-философом, каким был Шеллинг, каким, по-видимому, бывает Геккель в минуты возбужденного состояния своего воображения. Тогда мы заметили бы, что кажущаяся бессвязность исторических фактов не говорит собственно ничего против основной правильности явлений социального мира и против возможности социальной науки, так как эти факты в действительности вполне разложимы на ряд разного рода копируемых образцов, переплетающихся между собою, причем это самое сплетение подлежит также копировке; тогда мы заметили бы, что, собственно говоря, такая наука уже существует,

¹ Когда я говорю об изобретении пороха, телеграфа, железных дорог и т. д., то, само собою понятно, я говорю о группе изобретений, постепенно накапливавшихся и необходимых для того, чтобы можно было приготовить порох, устроить телеграф, железную дорогу и т. д.

хотя и в отрывочном состоянии, в маленьком опыте каждого из нас, и что остается только согласовать эти обрывки. Впрочем, собрание исторических фактов наверно не покажется нам более бессвязным, чем коллекция типичных животных или таблица химических элементов. И почему мы считаем себя в праве требовать от историка-философа совершенного порядка, симметричного и рационального, тогда как нам и на мысль не приходит потребовать того же от натур-философа? Но и в этом отношении следует отметить различие, говорящее безусловно в пользу первого. Только недавно натуралисты установили с некоторою ясностью тот факт, что разные виды живых существа происходят одни от других, тогда как историки давно уже убедились, что исторические факты находятся в известном взаимном сцеплении. О химиках и физиках мы уже и не говорим. Они не дерзают еще и гадать о том времени, когда и для них окажется возможным начертать, в свою очередь, генеалогическое дерево простых элементов или когда кто-либо из них опубликует сочинение «О происхождении атомов» с таким же успехом, какой выпал на долю «Происхождения видов» Дарвина. Правда, М. Лекок-де-Вуободран и Д. Менделеев набросали естественный ряд простых тел, и чисто-философские рассуждения первого из них по этому поводу не совсем чужды того же значения, как и открытие металла *галлия*. Но если присмотреться к делу поближе, то быть может в этих замечательных попытках, равно как и в различных системах наших эволюционистов относительно генеалогического разветвления типичных представителей животного царства, окажется не больше точности и достоверности, чем в идеях Герберта Спенсера и даже Вико относительно так называемой периодической социальной эволюции.

Из всего предыдущего следует, что социальная наука — это одно, а социальная философия — другое, и что социальная наука, как и всякая другая, должна иметь дело исключительно с фактами сходными, много раз повторяющимися, старательно замалчиваемыми обыкновенно историками, а факты несходные, новые, факты исторические, в собственном смысле, должны отойти в область социальной философии; что, с этой точки зрения, социальная наука могла бы стоять так же высоко, как и все прочие науки, и что социальная философия стоит на самом деле значительно выше всех прочих философий.

Настоящее сочинение мы посвящаем исключительно вопросам социальной науки; поэтому здесь нам придется иметь дело лишь с подражанием и его законами. В другом месте и в другое время мы займемся изучением законов или псевдозаконов изобретения, что представляет уже совсем другой вопрос, хотя и имеющий известное отношение к первому.

II

Покончив с этим длинным вступлением, я должен возвратиться к одному важному тезису, который был оставлен мною в тени и недостаточно развит. Нет науки, сказал я, вне количества и нарастания или, выражаясь более общими терминами, вне сходств и повторений.

Но такое различие, собственно говоря, излишне и притом поверхностно. Действительно, всякое малейшее завоевание в области знания подтверждает ту мысль, что все сходства происходят от повторения. Это общее положение, я думаю, можно развить в три нижеследующие тезиса.

1. Все сходства, какие только наблюдаются в мире химическом, физическом, астрономическом (атомы одного и того же тела, волны одного и того же светового луча, концентрические круги притяжения, фокусом которых является всякое небесное тело), находят единственное объяснение и возможную причину в периодических и, главным образом, колебательных движениях.

2. Все сходства органического происхождения, замечаемые в мире живых существ, являются результатом наследственной передачи, размножения внутренне-органического или внешне-органического. Аналогии и гомологии всякого рода, открываемые сравнительной анатомией между различными видами, и гистологией между различными составными частями тела, объясняются в настоящее время именно родством видов и родством клеточек.

3. Всякие сходства социального происхождения, замечаемые в мире общественном, представляют прямое или косвенное следствие подражания во всевозможных его видах: подражания-обычая или подражания-моды, подражания-симпатии или подражания-повиновения, подражания-обучения или подражания-воспитания, подражания слепого или подражания сознательного и т. д. Отсюда — преимущество современного метода, объясняющего доктрины и возникновение их историей. Этой тенденции суждено все более и более развиваться. Говорят, что великие гении и выдающиеся изобретатели нападают на одни и те же идеи; но, прежде всего, подобные случаи встречаются крайне редко. Затем, когда такое совпадение действительно имеет место, оно всегда вытекает из общего фонда образованности, из которого черпают, независимо один от другого, оба виновника одного и того же изобретения; а этот фонд составляют громадные накопления традиций прошлого, сырых или более или менее переработанных опытов, передаваемых подражательно при посредстве великого проводника всех подражаний — языка.

Основываясь именно на этом третьем нашем положении. (хотя и бессознательно, заметим мы), филологи нашего времени, путем аналогий и сравнений санскритского языка с латинским, греческим, немецким, русским и другими языками одной и той же семьи, пришли к заключению, что это действительно одна семья и что своим родоначальником она имела один и тот же традиционно передававшийся язык, подвергавшийся постепенным изменениям. Каждое из этих изменений представляло истинное лингвистическое изобретение анонимного характера и в свою очередь увековечивалось путем подражания. Но в следующей главе мы возвратимся еще к этому третьему тезису, чтобы проверить и развить его.

Из всех мировых сходств можно указать лишь на одну великую категорию, которую с первого взгляда нельзя себе представить, как происшедшую путем какого-либо повторения: это именно сходство частей беспредельного пространства, считаемых смежными и неподвижными и составляющих условие всякого движения, будет ли то движение колебательное, воспроизводительное, пропагаторское или завоевательное. Но мы ограничимся только указанием на это видимое исключение из общего закона и пойдем дальше, так как его обсуждение завело бы нас слишком далеко.

Оставляя в стороне эту аномалию, быть можете призрачную, будем считать за истину наше общее положение и отметим одно следствие, непосредственно вытекающее из него. Если количество обозначает сходство, если всякое сходство происходит от повторения, а всякое повторение есть вибрация (или всякое другое периодическое движение), воспроизведение или подражание, то из этого следует, что по гипотезе, не признающей никакого движения колебательным, никакой функции наследственной, никакого действия или идеи усвояемой и копируемой, — *в мире не было бы вовсе количества*, и математика не имела бы никакого значения, никакого возможного приложения. Отсюда следует также, что при обратной гипотезе, если бы наш физический, органический и социальный мир предъявлял еще в большей мере свою колебательную, производительную и пропагаторскую деятельность, то поле для приложения числа стало бы еще шире, еще больше. Все это можно очень хорошо наблюдать на наших европейских обществах, где необычайное развитие всякого рода моды, моды по отношению к одежде, пище, жилищу, потребностям, идеям, учреждениям, искусствам, ведет к превращению всего населения Европы в людей, представляющих собою издание, набранное одним и тем же шрифтом и выпущенное в нескольких сотнях миллионов экземпляров. Не замечаем ли мы, что именно эта удивительная нивелировка породила статистику и политическую экономию, так

удачно названную *социальной физикой*? Без моды и обычая не было бы социального количества, не было бы в частности ни ценностей, ни денег, не было бы следовательно и науки ни о богатстве, ни о финансах. Возможно ли было бы экономистам думать о создании теории ценности там, где идея подражания вовсе не обнаруживает своего действия? Но приложение числа и меры к изучению общества, какое мы знаем в настоящую пору, еще слишком робко и ограничено; в будущем нас ожидают в этом отношении большие сюрпризы!

III

Теперь было бы уместно указать на поразительные сходства, на не менее поучительные различия и на взаимные отношения, представляемые тремя главными формами всеобщего повторения. Нам следовало бы заняться также изысканием причины этих грандиозных ритмов, то вытянутых в стройные ряды, то беспорядочно перепутанных между собою, и спросить себя, подобна или нет этим формам материя, заключающаяся в них, разделяет ли их мудрое однообразие деятельная субстанциональная сущность этих хорошо упорядоченных явлений, или, напротив, находится с ними в противоречии по присущей ей разнородности, как бывает, например, с народом, на административной и военной поверхности которого вовсе не появляется беспокойных оригинальностей, составляющих в действительности его сущность и приводящих в действие всю машину.

Такая задача оказалась бы слишком обширной. Но во всяком случае мы должны, первым делом, отметить некоторые очевидные аналогии и прежде всего указать на то, что все эти повторения суть в то же время умножения, контагии, которые распространяются во все стороны. Камень, падая в воду, производит волну; первая волна повторяется и идет, расширяясь, до берегов бассейна; я зажигаю спичку, и первый толчок, данный мною волнообразному колебанию эфира, распространяется в одно мгновение на огромное пространство. Достаточно завести пару термитов или филоксер, чтобы они в несколько лет опустошили страну; *Erigeron*, сорная Канадская трава, недавно завезенная в Европу, успела уже распространиться повсюду на необрабатываемых полях. Известны законы Мальтуса и Дарвина относительно тенденции индивидов данного вида размножаться в геометрической прогрессии — истинные законы лучистого воспроизведения живых индивидов. Таким же образом, местное наречие, употребляемое несколькими семействами, мало-помалу, благодаря подражанию, превращается в национальный язык. При возникновении первобытных обществ искусство тесать камни, приручать собак,

делать луки, а несколько позже — печь хлеба, работать бронзу, извлекать железо и т. д. должно было распространяться путем заразного подражания, причем каждая стрела, каждый кусок хлеба, каждый бронзовый крючок, каждый отесанный камень составлял одновременно и копию, и модель. Так и в наше время совершается лучеобразное распространение разных полезных сведений, с тою лишь разницей, что увеличившаяся плотность населения и вообще совершившийся за это время прогресс поразительным образом ускоряют это распространение, подобно тому, как скорость распространения звука находится в прямой зависимости от плотности среды. Всякий *социальный факт*, т. е. всякое изобретение или открытие стремится распространиться в своей социальной среде, среде, которая и сама по себе, прибавил бы я, стремится также распространиться, потому что она состоит существенным образом из подобных же фактов, обнаруживающих беспредельную притязательность.

Но в общественной жизни, как и во внешней природе, это стремление редко увенчивается успехом вследствие конкуренции других соперничающих стремлений, что в теории, однако, не имеет особенного значения. Кроме того, слово *притязательность* употребляется в данном случае в переносном смысле; ни волне, ни виду, ни идее нельзя приписывать действительного желания; дело идет собственно о рассеянных индивидуальных силах, присущих бесчисленному множеству существ, образующих среду, в которой эти формы распространяются, принимают известное общее направление. Таким образом понимаемая, означенная тенденция предполагает, что данная среда однородна; условию этому эфирная или воздушная среда волнообразных колебаний удовлетворяет в достаточной мере, географическая и химическая среда видов — значительно хуже, а социальная среда идей — еще в бесконечно более слабой степени. Но мы будем неправы, по моему мнению, если, желая объяснить себе указанную разницу, скажем, что социальная среда отличается большею сложностью, чем прочие. Быть может, как раз наоборот: именно потому, что среда эта, в смысле счета, значительно проще других, она и находится гораздо дальше, чем другие, от того, чтобы представлять собою требуемую однородность, ибо в отношении ее довольствуются лишь поверхностной или наружной однородностью. Поэтому, по мере того как человеческие агломераты увеличиваются, распространение идей, по закону правильной геометрической прогрессии, становится все более и более заметным. Доведем до конца это численное увеличение: предположим, что социальная среда, где может распространяться известная идея, состоит не только из одной группы, достаточно многочисленной для того, чтобы породить главные моральные различия

человеческого рода, но из целых комбинаций подобных групп, однообразно повторяющихся тысячи раз; тогда окажется, что однообразие этих повторений делает все однородным на поверхности, несмотря на внутреннюю сложность каждой из составных частей. Не имеем ли мы некоторых оснований полагать, что именно таким характером обладает однородность, присущая всему тому, что внешняя природа представляет нам под видом простых и однообразных реальностей? Ясно, что согласно этой гипотезе, больший или меньший успех, большая или меньшая быстрота распространения известной идеи, момент ее появления, служат в некоторой степени математическим основанием для определения ее дальнейшего движения и развития. В настоящее время производители предметов первой необходимости, а следовательно и всеобщего потребления, могут, руководствуясь требованием данного года при данной цене на продукт, предсказать, каково будет требование в следующем году при той же цене, если, конечно, в это время не будут приняты какие-либо запретительные или иные меры, и если на рынке не появится новый продукт, удовлетворяющий тем же потребностям и отличающийся высшими качествами.

Говорят, без возможности предвидеть нет никакой науки. Так, но мы сделаем одну поправку: без возможности *условного* предвидения. Ботаник по цветку может наперед сказать вам, каковы будут форма и окраска его плода, но при условии, что засуха не погубит его и что не появится новой и неожиданной индивидуальной разновидности (в своем роде, второстепенного биологического изобретения). Физик может заранее сказать, что выстрел, выпускаемый в данный момент из ружья, будет слышен через столько-то секунд на таком-то расстоянии, если только распространение звука ничем не будет задержано на своем пути или если в этот промежуток времени не заглушит его более сильный звук, например выстрел из пушки. Это верно, но при таком именно условии и социолог может быть удостоен названия ученого; раз ему дано, что в известное время существуют такие-то фокусы лучистой подражательности и что лучи проходят — изолированно или перекрещиваясь на своем пути — с такими-то приблизительно скоростями, то он в состоянии предсказать, каково будет положение общества через 10–15–20 лет, при условии, что ни реформа, ни политическая революция не нарушат этого лучистого движения и что не возникнет никаких других фокусов.

Без сомнения, подобного рода условность в явлениях социального порядка имеет весьма большое значение, быть может большее, чем в явлениях физических, космических и т. д. Но это составляет разницу лишь в степени. Заметим еще, что открытия и начинания, уже осуществленные и распространяющиеся с известным успехом, оп-

ределяют до некоторой степени (что составляет задачу философии, а не исторической науки) общее направление, в каком должны идти в будущем открытия и начинания, могущие рассчитывать на успех. Затем, социальные силы, оказывающие действительное влияние в известную эпоху, слагаются не только из лучисто распространяющихся подражаний, обусловливаемых изобретениями последнего времени и потому неизбежно еще слабых, но также и из подражательных действий, вызванных старинными изобретениями; исходящие от них лучи получили значительно большее распространение и отличаются большей интенсивностью, благодаря тому, что они имели достаточно времени, чтобы развернуть все свои силы и переработаться в привычки, нравы и так называемые физиологические и «расовые инстинкты»¹. Итак, наше неведение относительно неожиданных открытий, могущих совершиться в течение десяти, двадцати, пятидесяти лет, относительно возможного появления шедевров искусства, вносящих обновление в общество, относительно войн, государственных и вообще насильственных переворотов, могущих разразиться в это время, — все это неведение, повторяю, не мешает нам предсказать почти наверное, следуя выдвигаемой мною гипотезе, в каком направлении будет протекать и какой глубиной будет отличаться поток стремлений и идей, по которому гениальные политики, великие полководцы, первоклассные поэты, знаменитые музыканты и т. д. будут спускаться или подниматься: погрузятся ли они в него сами или будут противодействовать ему.

В подтверждение геометрической прогрессии подражания я мог бы привести примеры из статистики потребления кофе, табака и т. д., начиная с момента первого ввоза этих продуктов и до того времени, когда они заполонили рынок, или указать на число локомотивов, построенных с начала возникновения железнодорожного дела и т. д.² Но

¹ Да не припишут мне абсурдной идеи, что будто бы я отрицаю во всем этом влияние расы на социальные явления. Я полагаю, что раса, по числу своих приобретенных черт, есть дочь, а не мать этих фактов, и, благодаря только тому, что это упускается из виду, она появляется снова в области, отмежеванной социологами в свое ведение.

² Мне возразят, что возрастающая и убывающие прогрессии, представляемые статистическими данными за известное число лет, не всегда бывают правильными и часто не только прерываются, но даже принимают обратный ход. Не входя в частности, я должен сказать, что, на мой взгляд, эти остановки и попятные движения служат всегда указанием на вмешательство в дело какого-нибудь нового изобретения, становящегося в свою очередь заразительным. Таким же образом я объясняю себе и убывающие прогрессии, из которых никоим образом не следует делать того вывода, что данный социальный факт, после того как подражание, обусловливаемое им, все более и более возрастало, по истечении известного времени постепенно перестает быть предметом подражания. Нет, его тенденция заполонить весь мир остается прежняя; и если он перестает вызывать подражание, или вызывает его все менее и менее, то виноваты в том его соперники.

я останавлиюсь на одном открытии, по-видимому менее благоприятном для моей цели, чем другие — на открытии Америки. Ему *подражали* в том смысле, что первое путешествие из Европы в Америку, задуманное и осуществленное Колумбом, вызвало множество новых путешествий, совершенных другими мореплавателями в разных направлениях; каждое из этих путешествий было новым маленьким открытием, отпрыском на открытии великого генуэзца, в свою очередь находившим подражателей.

Пользуюсь этим примером, чтобы сделать одно существенное разъяснение. Америка могла быть открыта гипотетическим путешественником двумя столетиями раньше или двумя столетиями позже. Двумя столетиями раньше, в 1292 г., при Филиппе Красивом, в то время когда он находился в распре с Римом, дерзко пытаюсь придать *светский* и централизованный характер администрации, такое открытие, преподнесенное королю в виде подарка, не преминуло бы страшно подогреть его честолюбие и ускорить наступление современной культуры. Двумя столетиями позже, в 1692 г., оно послужило бы на пользу Франции и Генриха IV, в большей мере, конечно, чем Испании, которая, без возможности высасывать соки из этой богатой добычи в продолжении двух столетий, была бы менее могущественна. Кто знает, быть может при первом предположении Европа избежала бы столетней войны, а при втором — империи Карла пятого? Во всяком случае, *потребность в колониях, вызванная и в то же время удовлетворенная одновременно* открытием Христофора Колумба, потребность, игравшая такую важную роль в политической жизни Европы, начиная с XV столетия, возникла бы только в XVII столетии, и в настоящее время Южная Америка принадлежала бы французам, а Северная не имела бы еще политического значения. Какая разница для Франции! А между тем, все предприятие Христофора Колумба висело на волоске! Но оставим эти размышления относительно *прошедших судеб*, на мой взгляд не менее важных и не менее существенных, чем судьбы будущие.

Другой пример, и притом наиболее яркий из всех. Римская империя пала; но *завоевания* древнего Рима постоянно расширялись и расширяются. Карл Великий подчинил римскому влиянию германцев, которые, приняв христианство, романизировались; Вильгельм Завоеватель — англо-саксов; Колумб — Америку; русские и англичане — Азию, Австралию, а скоро подчинят и всю Океанию. Япония также уже почти завоевана; остается один только Китай, который, по-видимому, должен оказать серьезное противодействие. Но предположим, что настанет день, когда и он также приобщится этому движению. Тогда можно будет сказать, что Афины и Рим, подразу-

мевая под ними и Иерусалим, т. е. определенный тип цивилизации, представляющий сплетение координированных и комбинированных начинаний и идей их гениев, покорили весь мир. Все расы, все национальности будут соперничать между собою в этом подражательном безграничном усвоении греко-римской цивилизации. Но этого не случилось бы, конечно, если бы Дарий или Ксеркс разгромили Грецию и низвели ее на степень простой провинции, ислам восторжествовал бы над Карлом Мартеллом и овладел Европой, или Китай, после трехтысячелетнего своего существования, оказался бы воинственным и сосредоточил свой изобретательный ум на военном деле в такой же мере, как на мирных искусствах, или, наконец, если бы ко времени открытия Америки европейцы не изобрели еще пороха и книгопечатания и стояли в военном отношении на более низкой ступени, чем ацтеки и инки. Но случаю угодно было, чтоб из всех типов цивилизации, из всех лучистых пучков изобретений, какие самопроизвольно вспыхивали в различных точках земного шара, восторжествовал тот тип, к которому принадлежим мы. Если бы победа осталась не за ним, то, во всяком случае, восторжествовал бы другой тип, ибо в конце концов какой-либо из них несомненно и неизбежно должен был стать всеобщим, так как все они *домогались этой универсальности*, т. е. все имели тенденцию распространяться путем подражания в беспредельно возрастающей прогрессии, подобно всякой световой или звуковой волне, подобно всякому животному или растительному виду.

Укажем теперь на новый отдел аналогии. Подражания (слова известного языка, мифы известной религии, тайны военного искусства, письма и т. д.) видоизменяются, переходя от одной расы или от одной нации к другой, например, от индусов к германцам, или от римлян к галлам, подобно тому как изменяются физические волны или живые существа, переходя из одной среды в другую. В некоторых случаях видоизменения, накопившиеся таким образом, оказываются столь многочисленными, что является возможность подметить общее и неизменное направление, в каком они совершаются. Такой именно случай представляют языки, и поэтому о законах Гримма или еще лучше о законах Ренуарда в области филологии можно сказать, что это суть законы лингвистической рефракции.

Из этих законов мы узнаем, что различные латинские слова, переходя из римской среды в среду испанскую или галльскую, претерпевали однообразные и характерные изменения, причем каждая буква заменялась другой определенной буквой; и что известная согласная в немецком или английском языке эквивалентна известной другой согласной в языке санскритском или греческом, а это, в сущности, означает, что коренной язык, переходя из первобытной арийской среды

в среду германскую, греческую или индусскую, менял свои согласные указанным образом, в одном случае получая вместо твердого звука придыхательный, в другом — наоборот и т. д.

Если бы религии были столь же многочисленны, как языки (которые сами по себе, также нельзя сказать, чтоб составляли слишком обильный материал для сравнительных общих выводов, могущих выразиться в виде закона), и в особенности если бы во всяком веровании религиозные идеи были столь же многочисленны, как слова во всяком языке — тогда сравнительная мифология могла бы иметь свои законы мифологической рефракции, аналогичные вышеуказанным. Действительно, мы можем довольно удовлетворительно проследить всякий миф, например миф о Церере или Аполлоне, проследить изменения, происходившие в этом мифе под влиянием духа различных народов, усваивавших его. Но мифов, удовлетворяющих условиям подобного рода сравнения, так мало, что в особенностях, принимаемых каждым из них в отдельности, среди одного и того же народа, невозможно уловить определенных общих черт и приходится ограничиваться констатированием лишь фамильного сходства. Разве, несмотря на все это, изучение форм, в какие облекались одни и те же религиозные идеи, переходя от ведизма к браманизму или к Зороастру, от Моисея к Великому Учителю или Магомету, и циркулируя среди христианских сект и разных церквей, греческой, римской, англиканской, не дает достаточная материала для наблюдения? Или, вернее, разве все, что возможно было подметить в данном случае, уже не указано и не нуждается единственно лишь в группировке?

Критики по части изящных искусств также смутно предчувствовали то, что можно бы назвать законами художественной рефракции, присущей всякому народу, во всякий момент его развития, всякой определенной художественной школе, голландской, итальянской, французской — как в живописи, так в музыке, архитектуре и поэзии. Я не настаиваю на этом; но разве мысль о преломлении Теокрита в Вергилии, Менандра — в Теренции, Платона — в Цицероне, Еврипида — в Расине одна только пустая метафора и ребячество?

Дальнейшая аналогия. В подражательном распространении социальных фактов существует интерференция, как существует интерференция волн и типов живых существ. Когда две волны, или два физических *деятели* приблизительно одинаковые, вышедшие из двух различных центров, встречаются затем в одном и том же физическом *существе*, в одной и той же частице материи, то сила, движущая их, или возрастает, или нейтрализуется, смотря по тому, двигаются ли они в одном и том же направлении, или прямо в обратных направлениях по одной прямой линии. В первом случае подымается новая,

сложная и более сильная волна, стремящаяся распространиться далее. Во втором, происходит столкновение и частичное разрушение до тех пор, пока одно из двух соперничающих движений не возьмет верх. Точно также, когда два типа, хотя и различные, но находящиеся в довольно близком родстве, два живые существа, размножившиеся до тех пор из поколения в поколение независимо друг от друга, приходят в столкновение, и не просто на одном и том же месте (разные животные, ведущие между собою борьбу и пожирающие друг друга), — это было бы лишь чисто физическим столкновением, — но в самом живом существе, в самой зародышевой клетке, благодаря скрещиванию двух различных пород, что представляет единственный истинно жизненный вид столкновения и интерференции, то, вы знаете, что тогда происходит... Тогда получается или помесь, отличающаяся большею жизненностью, чем ее производители, и в то же время большей плодовитостью, передающая своему постоянно возрастающему потомству свои отличительные особенности; получается истинное, новое откровение жизни, или — помесь, более или менее хилая; она произведет на свет несколько вырождающихся потомков, и несовместимые особенности производителей, насильственным образом соединенные, не замедлят разорваться, причем дело окончится решительным торжеством одного типа и гибелью другого. Точно также, два верования или два желания или одно верование и одно желание, словом, два социальные фактора (так как в окончательном анализе социальных явлений мы находим их только под различными наименованиями догматов, чувств, законов, потребностей, обычаев, нравов и т. д.), совершавшие в продолжение известного времени, в силу воспитания или примера, т. е. подражания, независимо друг от друга, свой путь в этом мире, оканчивают нередко тем, что встречаются. Для того, чтобы в данном случае получилось действительно психологическое или социальное столкновение и интерференция, необходимо, чтоб эти два фактора не только сосуществовали в одном и том же мозгу и являлись одновременно, как составные элементы одного и того же настроения ума или сердца, но чтобы один представлялся по отношению к другому — либо как содействие или помеха, либо как причина, следствием которой является другой из этих факторов, либо как утверждение, отрицанием которого служит именно другой фактор. Что же касается факторов, ни содействующих, ни мешающих, ни подтверждающих, ни противоречащих друг другу, то они не могут взаимно интерферировать, как не могут интерферировать две разнородные волны или два представителя живых существ, имеющих слишком мало общего между собою и потому не могущих скрещиваться. Если два фактора кажутся содействующими или взаимно

подтверждающими друг друга, то они соединяются, в силу одного только этого свойства, этой возможности, и образуют новое практическое или теоретическое открытие, распространяющееся в свою очередь, как и его составляющая, путем подражательной заразительности. В этом случае получается увеличение силы желания или силы веры, подобно тому, как в соответствующих случаях благоприятной физической или биологической интерференции происходит увеличение двигательной или жизненной силы. Если же, напротив, интерферирующие социальные факторы, известные утверждения или цели, догматы или интересы, убеждения или страсти, действуют одни против других, противоречат одни другим в уме отдельного человека или в умах целого народа, тогда наступает в душе человека или народа нравственное угнетение, нерешительность и сомнение, и такое состояние длится до тех пор, пока, благодаря либо резкому порыву, либо медленным усилиям, этот человек или этот народ не расколется надвое и не пожертвует своим верованием или своею страстью — тем, что менее ему дорого. Таким путем жизнь творит свой выбор между двумя непригодными для существования типами. Несколько отличный, но весьма важный случай представляет явление, когда два верования, два желания, или же известное верование и известное желание, интерферирующие благоприятно или неблагоприятно в душе одного человека, принадлежат не одному только этому человеку, но отчасти ему, а отчасти кому-либо другому. Интерференция состоит тогда в том, что мысль и воля индивида, о котором идет речь, встречает подтверждение или опровержение со стороны мысли другого человека, содействие или противодействие со стороны воли этого другого. Отсюда симпатия и договор, или антипатия и война.

Но все это, я вижу, требует пояснений. Возьмем три случая благоприятной интерференции: интерференцию двух верований, двух желаний, одного верования и одного желания, и подразделим еще каждую из этих групп соответственно тому, принадлежат ли интерферирующие факторы одному и тому же индивиду или нет. Затем скажем несколько слов о неблагоприятных интерференциях.

1. Если предположение, кажущееся для меня *довольно вероятным*, находится в моем сознании в то время, когда я читаю или вспоминаю о факте, представляющемся мне *почти достоверным*, и совпадает с ним и если я тотчас же замечаю, что факт подтверждает предположение, что он вытекает из него (т. е. что частное утверждение, выражаемое фактом, заключается в общем утверждении, выражаемом предположением) — то предположение немедленно делается в моих глазах значительно более вероятным, а факт в то же самое время становится вполне достоверным. Таким образом, по всей линии

происходит *выигрыш в вере*, и получаемый результате составляет некоторое открытие. Ибо это последнее есть, в сущности, принятие такого логического включения. Открытие Ньютона имело именно такой характер: составив себе предположение о законе тяготения, он сопоставил его с вычислениями относительно расстояния Луны от Земли и нашел, что его предположение подтверждается этим фактом. Предположите, что целый народ, целое столетие, следуя какому-либо из своих ученых, например, Фоме Аквинату, Арнольду или Боссюэту, убеждается или думает, что убеждается в подобном соответствии между исповедуемыми им догматами и преходящим состоянием его знаний, — и перед вами откроется тогда та выходящая из берегов река веры, которая оплодотворяла резонирующий, изобретательный и воинствующий XIII век, или янсенистский, галликанский XVII век. Самая эта гармония также есть не что иное, как открытие, различные выражения которого представляют «Somme», катехизис французского духовенства, и, в различных степенях, все философские системы, начиная с Декарта до Лейбница. Теперь изменим несколько наше общее предположение. Я склонен допустить известный принцип, которого мой собеседник-приятель вовсе не признает; он же, с своей стороны, излагает мне факты, признаваемые им за верные, а на мой взгляд, совершенно не выдерживающие критики. Затем, я замечаю или, вернее, мне *кажется*, что эти факты, если бы они были доказаны, могли бы вполне подтвердить мой принцип. Тогда и я выказываю склонность признать их, но в данном случае выигрывают лишь эти факты, а не принцип. Такого рода открытие является, следовательно, неполным; оно не будет иметь общественного значения до тех пор, пока или мой приятель, представив достаточные доказательства, не заразит меня своим верованием в действительность этих фактов, более сильным, чем мое, или я не докажу ему верности моего принципа. Но в этом именно и состоят все выгоды более свободного и более широкого умственного общения.

2. Первый средневековый купец, отличавшийся алчностью и тщеславием, желавший обогатиться при помощи торговли и сожалевший, что он не был дворянином, первый такой купец, усмотрев возможность эксплуатировать свою жадность на пользу своего тщеславия, и со временем купить за деньги благородство для себя и своего потомства, полагал, что сделал прекрасное открытие. И действительно, он имел многих подражателей. В самом деле, разве подобная перспектива не могла его воодушевить, разве он не чувствовал, как обе его страсти становятся разом вдвое сильнее, одна — потому, что золото получало в его глазах новую цену; другая — потому, что предмет его тщеславных мечтаний и печалей становился достигаемым? Но

быть может нам незачем обращаться за примерами к столь отдаленному прошлому: первый адвокат, задумавший, наоборот, составить себе состояние посредством политической карьеры, был воодушевлен несколько не лучшей идеей, и его инициатива вызвала не меньше подражателей. Другие примеры. — Я влюблен и питаю пристрастие к стихотворству; я заставляю служить свою любовь, которая таким образом подогревается на пользу метромании. Я — филантроп, люблю, чтобы обо мне говорили, и стараюсь прославиться тем, что делаю возможно больше добра людям, устраиваю их судьбу, чтобы заставить говорить о себе и т. д., и т. д. Обращаясь к истории, мы видим, что тот же самый факт находит себе выражение и в воодушевлении крестоносцев, когда страсть к войнам и христианское рвение, бывшие в течение столь долгого времени во взаимном противоречии, соединяются в одном деле и оказывают друг другу поддержку, и в распространении ислама, и в жакериях 1789 и последующих годов, и вообще во всяких революциях, где такая масса низменных страстей переплетается с благородными порывами.

Но восходя ко времени зарождения общества, мы находим, что еще более заразительным, к счастью человечества, оказался пример первого человека, сказавшего себе: «Я голоден, а мой сосед страдает от холода; предложу я ему это ненужное мне платье в обмен за ту пищу, которой он располагает с избытком, чтобы таким образом моя потребность в питании послужила на удовлетворение его потребности в одежде, и наоборот». Превосходная мысль, крайне простая по настоящему времени, но весьма оригинальная при начале истории, мысль, которая породила труд, торговлю, деньги, право и всякого рода искусства (я не говорю, что она породила и общество, так как это последнее существовало несомненно раньше обмена, существовало уже с того момента, как один человек стал подражать в чем-либо другому человеку).

Всякий нового рода профессиональный труд — обратите на это внимание — всякое новое ремесло возникают в силу подобного же открытия, чаще всего анонимного, что, впрочем, несколько не уменьшает его важности.

3. С исторической точки зрения, однако, никакая умственная интерференция не сравняется по своему значению с интерференцией желаний и верований. Но не следует включать в эту категорию многочисленные случаи, когда убеждение или мнение, прививаясь к наклонности, действует не в унисон с нею и возбуждает какое-либо противоположное желание. За исключением этих случаев, остается еще значительное число таких, когда случайная мысль действует на встречное желание в том же направлении, как основное утверждение,

и удваивает его силу. Мне очень бы хотелось быть оратором в палате, и комплимент друга убеждает меня, что во мне тотчас же откроется истинно ораторский талант; эта уверенность увеличивает мое тщеславие, содействовавшее, впрочем, тому, что я позволил себя убедить. По той же причине, не будет ни историческим заблуждением, ни диким сумасбродством, ни безумием, если вы не станете доверяться ласкательству политической страсти, разжиганию которой оно именно содействует. Кроме того, верование разжигает желание, или побуждая считать объект этого последнего более достижимым, или расточая ему одобрения. Случается также (мы продолжаем до конца нашу параллель), что человек усматривает выгоду, какую он мог бы извлечь в интересах своих собственных намерений из верования, исповедуемого другим человеком, хотя сам не разделяет этого верования, а тот человек не разделяет этого намерения. Такая догадливость представляет находку, которую эксплуатировали и эксплуатируют до сих пор масса обманщиков.

Интерференции этого специального рода и безымянные величественные открытия, вытекающие из них, принадлежат к числу главных сил, управляющих миром. Что такое патриотизм грека или римлянина, как не страсть, питаемая иллюзией и обратно; страсть — тщеславие, жадность, жажда славы; иллюзия — преувеличенная вера в свое превосходство; антропоцентрический предрассудок, заблуждение, воображающее, что Земля, этот маленький комочек в пространстве — вселенная и что на этом маленьком комочке одни только Рим и Афины достойны внимания богов? Что такое в значительнейшей степени этот фанатизм арабов, пропаганда якобинцев и революционеров, как не подобное же чудовищное нарастание страстей на иллюзиях и иллюзий на страстях, взаимно питающих друг друга! И исходным пунктом всех этих сил бывает всегда один человек, один фокус (конечно, еще задолго до того, как они стали проявляться и играть роль в истории). Человек страстный, снедаемый бессильным желанием завоеваний, бессмертия, человеческого возрождения, наталкивается на идею, дающую неожиданный выход его порывам: на идею воскресения, тысячелетнего царства, на догму верховенства народа и другие формулы «Contrat social». Он схватывает ее, воспламеняется ею — и вот является пророк. Таким образом распространяется всякая идейная зараза. Таким образом совершается обращение целого народа в ислам, а завтра, быть может, совершится обращение его в другую религию и т. д.

До сих пор мы имели дело с *интерференциями-соединениями*, порождающими открытие, увеличение, приращение желания и веры, этих двух психологических количеств. Но история, этот длинный ряд

примеров моральной арифметики, представляет в не меньшей мере и случаи *интерференций-состязаний*, внутренних противоречий, которые, раз они возникнут между желаниями и верованиями, принадлежащими одному и тому же индивиду, приводят к обесцвечиванию и утрате этих последних. Когда такие интерференции имеют место там и сям, во мраке, в отдельных личностях, то они представляют мало чем замечательные явления: разве только психолог заинтересуется ими. Тогда мы имеем: 1) с одной стороны, обольщение и постепенное разочарование дерзких теоретиков и политических пророков, видящих, как факты опровергают их теории, насмеваются над их предсказаниями; умственное угнетение искренних и образованных верующих, чувствующих, что их знание находится в противоречии с их религией или с их системами; с другой стороны — частные, судебные, парламентские диспуты, где вера не только не остывает, но, напротив, еще подогревается. Затем мы имеем еще: 2) с одной стороны, вынужденную мучительную бездеятельность, медленное самоубийство человека, борющегося между двумя влечениями, или двумя несовместимыми наклонностями, между своими потребностями знания и своими литературными влечениями, между своею любовью и своим тщеславием, между своею ленью и своею гордостью; с другой стороны — всякого рода конкуренцию, соревнование, когда пускают в дело все средства, или, как выражаются в наше время, борьбу за существование. Наконец, мы имеем: 3) с одной стороны, болезненное уныние, состояние духа, когда человек желает очень сильно и в тоже время вполне уверен, что желаемое невозможно, — бездна, поглощающая влюбленных и уставших ждать, или томление и беспокойство совести, состояние духа, когда человек дурно думает о предмете своего желания или хорошо думает о предмете своего отвращения; с другой стороны — противодействия, оказываемые страстям детей, очень сильно желающих чего либо, их родителями, вполне уверенными, что желаемое детьми либо невозможно, либо опасно, или противодействия, оказываемые замыслам и страстям новаторов людьми благоразумными и опытными — противодействия, как это хорошо известно, нисколько не успокаивающие.

Эти же самые явления, — в сущности, всегда одни и те же — скопляясь в громадные массы и приумножаясь, благодаря широкому социальному руслу, могущественному подражательному влечению, получают под разными другими именами признание со стороны истории. Они составляют: 1) с одной стороны, разъедающий скептицизм целого народа, колеблющегося между двумя религиями или двумя противоположными церквями, или между своими пастырями и своими учеными, противоречащими друг другу; с другой стороны, религиозные войны народов, когда единственным или главным мотивом к ним служит не-

согласие в верованиях; 2) с одной стороны, косность и придавленность народа или известного класса, складывающаяся под давлением потребностей, противоположных его интересам, например, потребностей в комфорте и мире в то время, когда для него было бы необходимо усиление воинственности, или под давлением мятежнических страстей, противоположных его природным инстинктам (т. е. в сущности страстям, которые были также некогда мятежническими, но которые взяли верх и получили всеобщее признание значительно раньше); с другой стороны — большая часть внешних политических войн; 3) с одной стороны, горькое отчаяние народа или класса, постепенно теряющего свое историческое существование, к каковому он был вызван порывом энтузиазма, или мучительная пытка и тягость общества, в котором старинные традиционные устои, христианские и рыцарские, находятся в противоречии с новыми стремлениями, рабочими и утилитарными; с другой стороны так называемая оппозиция разного рода, борьба консерваторов и революционеров, гражданские войны.

Однако, идет ли дело об индивидах или народах, все равно, такие подавленные состояния, как скептицизм, косность, отчаяние, или еще более такие острые состояния, как споры, распри, оппозиция, — настойчиво понуждают человека покончить с ними. Но так как последние состояния, хотя и более тягостные, представляют до некоторой степени кратковременные повышения веры и желания, то именно от них человек никогда не отделяется, или, если и отделяется, то только для того, чтобы тотчас же снова впасть в них, тогда как от первых, непосредственно влекущих за собою ослабление его двух господствующих сил, ему удастся освобождаться довольно часто и на долгие периоды. Отсюда — эти нескончаемые раздоры, соперничество, споры между людьми, из которых каждый заключил окончательный мир с самим собою, признав известную логическую систему идей и соответствующее ей поведение. Отсюда, по-видимому, невозможность или почти невозможность окончательно прекратить войны и тяжбы, от которых страдает весь мир, тогда как внутренняя борьба желаний или мнений, причиняющая страдания отдельным лицам, оканчивается чаще всего полным примирением. Отсюда — беспрестанное возрождение этой стоголовой гидры, этого вечного социального вопроса, не составляющего лишь особенности нашей эпохи, но возникающая во все времена, так как он заключается не в том, как прекратятся подавляющие состояния, а в том, как прекратятся острые состояния. Другими словами, вопрос не в том: что возьмет и должно взять верх над большинством умов — наука или религия? Что получит и должно получить окончательное преобладание в сердцах людей — потребность общественного благочиния, дисциплины, или влечения

мятежной зависти, гордости и ненависти? Каким путем выйдут с честью из своего настоящего оцепенелого состояния искони дирижирующие классы, — путем ли отважного, деятельного самоотвержения и отрешения от своих традиционных притязаний, или, напротив, путем новой вспышки надежды и веры в успех? Новое ли общество преобразует законным порядком мораль и чувство чести на свой лад, или старая мораль окажется в силе и в праве переделать общество по своему? Все это вопросы, которые не медлят слишком долго своим решением и решение которых можно уже легко предугадать в настоящее время. Но совершенно другого рода трудности представляют следующие вопросы, собственно и составляющие социальный вопрос: хорошо будет или худо, если когда-либо установится полное единогласие в умах, достигнутое изгнанием, либо более или менее насильственным обращением несогласного меньшинства, и установится ли когда-нибудь такой порядок? Хорошо или худо, если конкуренции — коммерческой, профессиональной — конкуренции честолюбий отдельных индивидов, а также конкуренции политической и военной отдельных народов будет положен конец организацией труда или государственным социализмом, обширной, всемирной федерацией или новым европейским равновесием, первым шагом к Европейским Соединенным Штатам, и готовит ли все это для нас будущее? Хорошо или худо, если, избавившись от всякого контроля и устранив всякое противодействие, выступит наконец на сцену сильная и свободная общественная власть, абсолютно самодержавная и способная на великие дела, власть всемогущая в лице какого-либо цезаря или партии, или какого-либо народа, власть, самая человеколюбивая и самая разумная, какую только возможно вообразить, и следует ли нам иметь в виду такую перспективу?

Вот вопрос, и он страшен именно потому, что так стоит. Ибо о человечестве можно сказать, как и о человеке, что оно движется всегда по направлению наибольшей истины, наибольшего могущества, одним словом — наибольшей суммы убеждения, или веры; но можно сомневаться, каким именно образом будет достигнут этот *maximum*: путем ли развития противоречий конкуренции и критики, или, напротив, путем заглушения всего этого и безграничного подражательного распространения единой мысли, единой воли, которые, распространяясь все более и более, упрутся в массы.

IV

Сделанное нами отступление отвлекло нас несколько в сторону и заставило говорить о вопросах, которые будут обстоятельнее рас-

смотрены в другом месте. Возвратимся же к предмету настоящей главы, и после того, как мы проследили главные аналогии трех форм повторения, скажем несколько слов об их не менее поучительных различиях. Прежде всего, связь между этими тремя формами — односторонняя, а не взаимная. Воспроизведение не могло бы происходить вне волнообразного колебания, которое, однако, не нуждается в первом, а подражание зависит и от волнообразного движения, и от воспроизведения, хотя ни то, ни другое не зависит от подражания. Манускрипт о республике Цицерона находят 2000 лет спустя после того, как он был написан, его отпечатывают, им вдохновляются; мы получаем посмертное подражание, которое не имело бы места, если бы молекулы пергамента перестали существовать и вибрировать, и если бы, кроме того, размножение не шло своим порядком, начиная с Цицерона до наших дней. Замечательно, что здесь, как и повсюду, явления менее сложные, менее свободные служат явлению более сложному, более независимому. Неравенство трех явлений в этом отношении, действительно, очевидно само по себе. В то время, как волны изохронические или смежные сливаются *одни* с другими, живые существа, обладающие достаточно продолжительною жизнью, отделяются одно от другого и расходятся; они тем независимее, чем выше стоят на лестнице животного царства. Воспроизведение есть свободное волнообразное колебание, волны которого составляют отдельные миры. Подражание идет еще дальше: оно действует не только на весьма больших расстояниях, но и через громадные промежутки времени. Оно устанавливает богатое последствием соотношение между изобретателем и подражателем, отделенными друг от друга тысячами лет: между Ликургом и членом народного конвента, между римским живописцем, нарисовавшим фреску на стенах Помпеи, и современным художником, вдохновляющимся ею. Подражание есть воспроизведение на расстоянии. Можно бы сказать, что эти три формы повторения суть три взмаха одной и той же силы, направленные к тому, чтобы, во-первых, расширить поле, где это повторение проявляется, во-вторых, закрыть постепенно всякий выход для мятежных стремлений элементов, всегда готовых разбить ярмо законов, и в-третьих, заставить их шумную толпу, пользуясь все более и более остроумными и могущественными средствами, идти нога в ногу в массах все более и более плотных и все лучше и лучше организованных. Какой прогресс совершается при этом, мы можем видеть из сравнения урагана, эпидемии и восстания. Ураган движется с места на место, и никто никогда не видел, чтобы от него отделилась волна и перенесла вдалеке *omisso medio* заразительный яд бури. Эпидемия свирепствует иначе; она поражает направо и налево, щадя тот или другой дом, тот

или другой город из многих других, находящихся на далеком друг от друга расстоянии, и повсюду появляется почти одновременно. Еще более свободно распространяется восстание, передаваясь из столицы в столицу, из завода на завод, благодаря известию, полученному по телеграфу. Иногда случается даже, что самая зараза приходит из времен прошлых, из эпохи уже умершей.

Другое важное различие. Произведения подражательного характера выливаются в большинстве случаев сразу в своей окончательной форме, причем предварительные попытки первого работника обыкновенно минуются. Этот искусственный процесс, следовательно, по своей быстроте выше процесса жизненного; он минует эмбриональные фазы, детство и юность. Нельзя сказать, чтобы сама жизнь пренебрегала искусством сокращений. Если ряд эмбриональных фаз повторяет собою, как полагают, зоологический и палеонтологический ряд предшествовавших и родственных видов, то ясно, что это индивидуальное резюме медленной жизненной переработки под конец становится замечательно сокращенным; но на ряде поколений, проходящих перед нашими глазами, никто не замечает, чтобы продолжительность беременности и время, потребное для роста, уменьшалось. В этом отношении установлено до сих пор только то, что болезни и некоторые индивидуальные особенности, передаваемые отцом своим детям, обнаруживаются у этих последних в возрасте немного более раннем, чем у их отца. Сравните этот незначительный прогресс с прогрессом наших производств: наши часы, булавки, всякого рода предметы производятся теперь в десять, в сто раз быстрее, чем в начале. Что же касается колебания, то в какой бесконечно малой степени ему свойственна эта способность ускорения! Волны, следующие одна за другой, должны быть строго изохроничными, т. е. они должны употреблять одинаковое время на зарождение, возрастание и замирание, если их температура остается неизменной. Но их движение (по крайней мере, Лаплас, исправляя формулу Ньютона, указывает на этот факт по отношению к звуковым волнам) неизбежно вызывает согревание среды, а следовательно и ускорение их последовательного наступления. Однако, таким образом выигрывается очень мало времени; но его выигрыш бесконечно больше в деятельности повторительных механизмов, принадлежащих жизни и особенно обществу, так как продукты подражания вполне свободны от необходимости проходить, даже в сокращенном виде, этапные пункты предшествовавшего развития. Поэтому изменения в живой природе совершаются значительно медленнее, чем в социальном мире. Спросите любого партизана скорой эволюции, и он согласится, что первая пара лап пресмыкающихся не с такой быстротой заменилась крыльями птиц,

с какой локомотивы вытеснили дилижансы. Это замечание указывает, между прочим, надлежащее место и историческому натурализму, согласно которому учреждения, законы, идеи, литература, искусство данного народа должны обязательно и неизменно зарождаться в собственных недрах народа, медленно развиваться и распускаться, подобно бутону, ибо всяким другим путем невозможно будто бы создать ничего прочного на почве народной. Это утверждение правильно настолько, насколько известный народ не изжил еще своей первобытной фазы существования, фазы, когда он, находясь еще вполне под властью подражания и обычая, в своих изменениях подчиняется столько же наследственности, сколько и простому, чистому подражанию. Но по мере того, как это подражание эмансипируется, и приходится считаться с радикализмом, угрожающим не сегодня-завтра применить на деле свою революционную программу, надо все более и более быть настороже и отнюдь не выставлять против возможности такой опасности мнимые законы исторического произрастания. Ошибочна та политика, которая считает невозможным то, что кажется ей невероятным, и не допускает того, чего никогда не происходило на ее глазах.

СОЦИАЛЬНЫЕ СХОДСТВА И ПОДРАЖАНИЕ

В предыдущей главе мы высказали кратко то положение, что всякое социальное сходство имеет своей причиной подражание. Но с формулой этой не легко согласиться сразу, и необходимо основательно понять ее, чтобы убедиться, что она столь же справедлива, как и две другие аналогичные формулы, относящиеся к сходству биологическому и физическому. При первом взгляде на человеческие общества, кажется, что исключений и возражений представляется здесь очень много.

I. Во-первых, между двумя живущими видами, принадлежащими к совершенно разным типам, часто существуют такие черты сходства в анатомическом или физиологическом отношениях, которые, по-видимому, нельзя объяснить наследственным повторением, так как в большинстве случаев общий предок, которого можно считать соединительным звеном между тем и другим видом, не обладал или не должен был обладать этими отличительными чертами. Наружный вид кита, делающий его похожим на рыб, произошел, наверное, не от гипотетического предка, общего рыбам и млекопитающим, исходя от которого могли образоваться оба эти класса. И если пчела напоминает птицу способностью к летанию, то еще менее возможно было бы утверждать, что птица и пчела наследовали крылья от их древнейшего прародителя, без сомнения пресмыкавшегося, а не летавшего. То же замечание приложимо и к сходственным инстинктам, представляемым многими животными, принадлежащими к очень отдаленным друг от друга видам, как это заметили Дарвин и Ромэнс. Например, инстинкт, заставляющий притворяться мертвым, чтоб избежать какой-нибудь опасности, одинаково замечается у лисицы, у насекомых и пауков, у змей и птиц. Здесь наблюдаемое сходство объясняется только тождеством физической среды, в которой эти разнородные существа искали средств для удовлетворения своих основных потребностей, существенных для всего живого и одинаковых для каждого из них. Но в чем состоит это тождество физической среды, как не в однообразном распространении световых, тепловых и звуковых волн

в воздухе и воде, состоящих, в свою очередь, из атомов, постоянно колеблющихся и колеблющихся всегда одинаково? Что касается до тождественности отправлений и основных свойств всякой клеточки, всякой протоплазмы (например, питания и раздражимости), то не следует ли искать причину этого в частичном строении химических элементов жизни, всегда одних и тех же, то есть скорее во внутренних ритмах неопределенно-повторяющихся движений, чем в присущих им особенностях, передаваемых через происхождение, путем ли деления на части, или другим каким-нибудь, от первого ядра протоплазмы, если допустить, что только оно одно образовалось самопроизвольно в начале бытия. Следовательно аналогии, о которых я говорю, имеют своим источником в сущности ту же повторяемость, но повторяемость физическую, в виде волнообразного движения, а не жизненную и наследственную.

Точно также и между двумя народами, выработавшими отдельно и независимо друг от друга какую-нибудь самобытную цивилизацию, существуют всегда общие черты сходства в отношении языка, мифологии, политики, промышленности, искусств или литературы, причем взаимное подражание не действовало нисколько. «В то время, как Кук посетил новозеландцев, — говорить Катрфаж. — они представляли странные черты сходства с горными шотландцами Роб-Роя и Мак-Ивова». Такое сходство между общественной организацией маорисов и древними шотландскими кланами произошло, конечно, вовсе не из какого-нибудь общего источника преданий; и лингвистам никогда не представится удовольствие выводить их языки от одного и того же прародительского языка. Во время прибытия Кортеса в Мексику, ацтеки, подобно многим народам старого материка, имели царей, дворянство, земледельческое и промышленное сословия; их земледелие с плавучими островами и доведенным до совершенства орошением напоминало Китай; их архитектура, живопись и иероглифическое письмо напоминали Египет; их календарь, несмотря на свою странность, обнаруживал их познания в астрономии, близкие к нашим в ту же эпоху; наконец, их религия, хотя и кровавая, представляла тем не менее сходство с нашей в некоторых из своих таинств, особенно в крещении и покаянии. Совпадение подробностей оказывалось часто столь поразительным, что были основания предполагать прямое занесение сюда учреждений и искусств древнего мира кем-либо из потерпевших кораблекрушение¹.

¹ В самом деле сходства эти поразительны и разнообразны. В Америке, как и в Европе, цивилизация последовательно переходила «от каменного века к бронзовому тождественными способами и в одинаковых формах. *Теокалли* Мексики соответствуют пирамидам Египта, как *мунды* Северной Америки отвечают *тумулам* Бретани или *курганам* Скифии,

Но не правдоподобнее ли будет видеть в этих совпадениях и в бесчисленном множестве других сходств того же рода, с одной стороны — основное единство человеческой природы, одинаковость ее органических потребностей, удовлетворение которым составляет цель всякой социальной эволюции, торжества чувств и устройства мозга; а с другой — однообразие внешней природы, удовлетворяющей близко-одинаковые нужды почти одними и теми же средствами, представляющей почти одинаково устроенным глазам приблизительно одни и те же зрелища и виды. Не должно ли было все это неизбежно вызвать всюду значительное сходство в промышленности, в искусствах, в понятиях, в мифах и теориях? Эти сходства, как и те, о которых было говорено выше, могли бы в сущности подойти под то общее начало, что всякое сходство возникает от повторяемости; но, будучи социальными, эти сходства имели бы, однако, своею причиною повторяемость порядка биологического и физического, наследственную передачу отправлений и организации, чем обуславливаются человеческие расы, и передачу колебательных движений, представляющихся в виде температуры, световых лучей, звука, электричества, химического сродства, составляющих собою климаты, обитаемые человеком, и почвы, им возделываемые.

Таково возражение во всей его силе. Если его допустить, то отсюда само собою следовало бы, что в социологии уместно установить различие, основывающееся на *аналогиях* и *гомологиях*, принятое в сравнительной анатомии. Действительно, сходства первого рода, о которых было говорено выше, например — сравнение надкрылий насекомого с крыльями птицы, как они не резки, кажутся натуралисту поверхностными и незначительными: он не считает нужным останавливаться на них и почти отрицает их; между тем как придает большое значение другому, с его точки зрения, полному и глубокому сходству между крылом птицы, лапой пресмыкающегося и плавником рыбы¹. Если ему позволительно судить таким образом, то я не вижу причины, почему бы можно было отказать социологу в праве относиться с таким же пренебрежением к *функциональным аналогиям* разных язы-

как *пилоны* Перу представляют воспроизведение пилонов этрусских и египетских». Но что еще более удивительно, так это язык басков, представляющий сходство только с некоторыми из американских наречий. Значение всех этих сходств ослабляется лишь несколько искусственным выбором пунктов сравнения, так как сравниваются не две цивилизации, но большое число разных цивилизаций Старого и Нового Света.

¹ С большим вниманием он относится к случаям *мимицизма*, представляющего пока неразрешимую загадку, которая, впрочем — если считать истинным ключом к ней естественный подбор — нашла бы себе объяснение в обыкновенных законах наследственности, в наследственном накоплении и закреплении индивидуальных изменений, наиболее благоприятных благосостоянию данного вида, ухитрившегося нарядиться в чужую одежду.

ков, разных религий, разных форм правления, разных цивилизаций, и с таким же уважением — к их *анатомическим гомологиям*. Лингвисты и мифологи уже проникаются такого рода взглядом. Слово *теотл* в языке ацтеков столь же хорошо выражает понятие бог, как и греческое слово *теос*; но никакой лингвист не усмотрит в этом ничего кроме случайности¹, и потому не будет утверждать, что *теотл* и *теос* одно и то же слово; но он докажет, что *бишоп* — то же самое слово, что и *епископос*. Причина этого заключается в том, что какой-нибудь элемент языка, в данный момент его развития, не может быть отделяем от всех его предшествовавших преобразований и рассматриваем отдельно от других элементов, объясняющих его и объясняемых им; отсюда следует, что сходство, замечаемое между одною из отдельных его фаз и одною из фаз другого слова, взятого из другого семейства языков и отделенного от всего, что составляет его жизненность и сущность, есть совершенно искусственное сближение двух абстракций, а не действительная связь между двумя реальными предметами. Рассуждение это может быть обобщено².

Но такой ответ, сводящийся в сущности к простому отрицанию неудобных для нас сходств, нельзя считать удовлетворительным. Напротив, я считаю несомненным и важными многие самостоятельные возникшие сходства между цивилизациями, остававшимися, на

¹ Случайность эта тем замечательнее, что звук *тл* в *теотл* не принимается в расчет, потому что такое наращение согласных представляет обычное окончание мексиканских слов. *Тео* и *Θεῶ* (в дательном падеже) имеют абсолютно одинаковый смысл и такой же звук.

² Если обычай уродовать себя различным образом, как например обрезание, татуировка, выстригание волос в знак подчинения богу или вождю существует на самых отдаленных точках земного шара, в Америке и в Полинезии, равно как и Старом Свете, если «тотемы» или клейма дикарей Южной Америки напоминают несколько гербы наших средневековых рыцарей, и проч., то в этих совпадениях и сходствах можно видеть просто лишь доказательство того, что человеческие действия управляются верованиями и что верования в значительной мере внушаются человеку врожденными наклонностями его природы, в сущности везде одинаковой, и явлениями внешней природы, гораздо более сходными, чем различиями между собою, несмотря на разнообразие климатов. Правда, аналогии эти могут быть совершенно независимыми от подражания, но зато они и грубы, и неопределенны, и лишены социологического значения, совершенно так же как незначителен в биологическом смысле факт обладания насекомых членами, подобно позвоночным, или глазами и крыльями, подобно птицам. Крыло птицы и крыло летучей мыши, хотя и чрезвычайно различные по виду, составляют часть одной и той же эволюции, имеют одинаковое прошлое и обладают возможностью одинакового будущего; эти органы представляют бесчисленное множество общих точек в своем последовательном развитии: поэтому они *гомологичны*, сходны, между тем как крыло насекомого и крыло птицы имеют нечто общее только в одной из фаз их весьма несходственной эволюции.

Обрезание у ацтеков сопровождалось ли теми же церемониями и имело ли тот же религиозный смысл, как у евреев? — Нет, равно как и исповедь их не походила на нашу. А между тем эти подробности церемоний и важны в социальном смысле, потому что они-то и составляют социальную часть в действиях индивидов, причем эта часть непрестанно возрастает.

сколько это известно или вероятно, без взаимного общения. Вообще я допускаю, что, раз вступив на путь изобретений и открытий, человеческий гений оказался заключенным — благодаря целой совокупности внутренних и внешних условий — в тесных пределах для своего развития, подобно реке, огражденной берегами; вследствие этого, далее в весьма отдаленных друг от друга бассейнах замечается некоторое приблизительное сходство в течении, а в известных случаях, хотя и не так часто, как это предполагают, полный параллелизм идей, то очень простых, то довольно сложных, возникших самостоятельно¹, и если не тождественных, то равнозначущих². Но, во-первых, пока человек принужден, вследствие однообразия его органических потребностей, следовать по этому пути идей, до тех пор может идти речь только о сходствах биологического порядка, а не социального, а в таком случае должна иметь приложение моя вторая, но не третья формула. Подобно этому, когда совершенно сходные по их конечной цели условия при восприятии световых или звуковых явлений присудили разнообразнейшие организмы животного царства к выработке глаз и ушей, представляющих много взаимных аналогий, то сходство животных в этом отношении есть лишь физическое, а не жизненное и, как таковое, сводится к волнообразному движению, согласно с первой нашей формулой. Затем, каким образом и почему человеческий гений мог бы пройти известный путь, если бы не существовало для этого начальных причин, выведших его из первобытного оцепенения, пробудивших его и заставивших постепенно проснуться в нем глубоко скрытые потребности души? Но в чем же состоят эти причины, как не в нескольких первобытных изобретениях или открытиях, начавших распространяться чрез подражание и пробудивших у подражателей вкус к открытиям и изобретениям? В начале какой-нибудь антропоид придумал первые начатки бесформенного языка и грубой религии; и этот трудный шаг, при котором зверообразный до сих пор человек переступил чрез порог социального мира, был единственным фактом, без которого мир этот, со всем его дальнейшим богатством, оставался

¹ В особенности простых идей, требующих слабого усилия воображения. Сюда относятся разные особенности нравов, часто весьма своеобразные. Напр., читая сочинение Жаметеля о Китае, я с удивлением встретил в нем упоминание об обычае *отрыжки из вежливости* у гостей после обеда. Но по Гарнье и Гюгонэ (Новая Греция, 1880) новейшие греки соблюдают ту же самую церемонию... Очевидно, как здесь, так и там, необходимость наглядно показать свою сытость внушила весьма естественную, хотя и смешную мысль об этом некрасивом обычае.

² Например, одинаковые потребности привели к мысли — на Старом материке — одомашнить быка, а в Америке — приручить бизона и буйвола (см.: *Бурдо. Conquête du monde animal*. P. 212); или здесь — приручить верблюда, а там — ламу.

бы в преддверии неосуществившейся возможности. Без этой искры никогда бы не вспыхнул пожар прогресса и не осветил бы первобытного леса, населенного дикими зверями; только эта искра, разгоравшаяся благодаря подражанию, и была его истинной причиной, его *conditio sine qua non*. Этот первоначальный вымысел имел своим следствием не только вытекавшие из него непосредственно акты подражания, но и все новые вымыслы, которые он внушал, приводя, в свою очередь, к еще более новым и так далее до бесконечности. Таким образом, все связано с ним, всякое социальное сходство вытекает из этого первого подражания, предметом которого был первый вымысел; поэтому я считаю возможным сравнить его с другим столь же необычайным событием, происшедшим на земном шаре за много тысяч веков раньше того, когда в первый раз, неизвестно каким образом, образовалась маленькая капляка протоплазмы и начала размножаться чрез девственное рождение путем деления. От этого первого наследственного повторения происходят все сходства, наблюдаемые в настоящее время между всеми живыми существами. Нет никакой надобности вести совершенно бесцельный спор о том, что первоначальные фокусы создания протоплазмы, равно как и фокусы лингвистические и мифологические, были не единственными и что их существовало несколько; в самом деле, если предположить множественность их, то и тогда нельзя было бы отрицать, что после более или менее продолжительного соперничества и борьбы; должен бы был восторжествовать только один из возникших таким образом самостоятельно образчиков, самый лучший и самый плодотворный, истребив или поглотив всех своих соперников.

Не следует упускать из виду, что с одной стороны — потребность в изобретении и открытии, как и всякая другая, развивается по мере своего удовлетворения, а с другой — что всякое изобретение сводится к счастливой встрече в мыслящем мозгу какого-нибудь подражательного течения с другим подражательным потоком, усиливающим первый, или с каким-нибудь внешним резким впечатлением, бросающим внезапный свет на перенятую мысль; или же, наконец, с живым чувством естественной необходимости, находящим неожиданное пособие в самом обыкновенном процессе. Но если мы разложим упомянутые впечатления и чувства на их составные части, то увидим, что они почти распадаются вполне и тем полнее, чем выше цивилизация, на психологические элементы, образовавшиеся под влиянием примера. Всякое естественное явление мы видим сквозь очки, окрашенные в цвет родного языка, национальной религии, господствующих предубеждений, преобладающей научной теории, от чего не может освободиться никакое самое беспристрастное и

хладнокровное наблюдение; всякая органическая потребность чувствуется нами в особой форме, освященной окружающими примерами, посредством которой социальная среда, вызывая эту потребность или, лучше сказать, пробуждая ее в нас, тем самым присваивает ее себе. Нет ничего, вплоть до потребности в пище, выражающейся в желании есть черный или белый хлеб, такое или иное мясо здесь, и рис или те или другие овощи там; нет ничего, вплоть до половых отношений, обратившихся в потребность жениться здесь и там, с соблюдением таких или других священных обрядов, — что не преобразовалось бы, так сказать, в национальные произведения. Еще более справедливо это относительно естественной потребности в развлечении, обратившейся в потребность зрелищ — цирка, боя быков, классических трагедий, натуралистических романов, игры в шахматы, в пикет, в вист. Следовательно, когда в нынешнем веке в первый раз возникла мысль воспользоваться паровой машиною, уже употреблявшеюся на заводах, для удовлетворения потребности в дальних плаваниях по морям, потребности, порожденной всеми предшествовавшими морскими открытиями и их распространением, то мы должны видеть в этой гениальной мысли встречу одного подражания с другими, как, равным образом, и в другой, позднее возникшей мысли — приспособить к пароходу винт, потому что и то, и другое было известно давно. И когда обнаружение заслонок в сосудах, встретившись в уме Гарвея с воспоминанием о его прежних анатомических познаниях, привело его к открытию кровообращения, то открытие это, в сущности, было не что иное, как встреча одних традиционных учений с другими, совершенно также, или почти также, как сопоставление двух, уже известных теорем, приводит геометра к открытию третьей.

Таким образом, если все изобретения и открытия представляют своего рода комбинации, элементами которых служат подражания прежнему, не считая нескольких чисто внешних прибавлений, и если эти комбинации, служа в свою очередь предметом подражания, могут сделаться элементами новых, более сложных систем, то отсюда следует, что существует некоторое генеалогическое дерево успешных начинаний, как бы нанизывающихся друг на друга, и представляющих собою то сцепление зародышей, о котором мечтали древние философы. Всякое сделанное открытие есть осуществившаяся возможность, одно из тех необходимых следствий, которые заключались уже в недрах коренного открытия, давшего начало последующему; появившись на свет, оно делает уже большею частью невозможными прежние возможности, но создает возможность для многих других открытий, бывших до сих пор невозможными. Эти последние появляются или не появляются, смотря по направлению и протяженности луча под-

ражания среди народностей, уже озаренных тем или другим светом. Правда, что из числа народившихся вымыслов выживут, так сказать, только самые полезные, причем под этими последними надо разуместь те, которые лучше всего будут отвечать задачам времени, потому что всякое изобретение, как и всякое открытие, представляет собою решение какой-нибудь задачи. Но, помимо того, что эти задачи¹, будучи всегда неопределенными, допускают очень много решений, — вопрос заключается в том, чтобы узнать, каким образом, почему и кем они предложены в то, а не в другое время, и затем — почему здесь было принято по преимуществу такое решение, а там — другое². Это зависит от индивидуальных усилий, от личных свойств изобретателей и от предшествовавших им ученых, восходя до самых первых и, может быть, самых великих, толкнувших на нас лавину прогресса с вершин истории.

Мы с трудом можем представить себе, сколько гениальности и какого редкого совпадения счастливых обстоятельств потребовали самые простейшие идеи. На первый взгляд может показаться, что из всех начинаний порабощение безвредных животных, распространенных в данной стране с целью пользоваться ими правильно и постоянно вместо того, чтобы только за ними охотиться, представляется самым естественным и в тоже время самым полезным; многие склонны считать его даже неизбежным. Однако мы знаем, что лошадь, в очень древние времена входившая в состав американской фауны, исчезла в Америке ко времени открытия этого континента, и исчезновение ее делается понятным, если допустить мнение Бурдо, что «охотники продолжали ее истреблять (для еды) во многих местах прежде, чем пастухи надумали ее приручить». Следовательно, мысль о приручении далеко не была сильной. Нужна была какая-нибудь индивидуальная случайность, чтобы лошадь могла сделаться домашним животным где-нибудь, откуда приручение ее распространилось путем подражания. Но что справедливо в отношении этого четвероногого, будет без сомнения справедливым и относительно всех домашних животных, равно как и всех возделываемых растений. Есть ли возможность представить себе, чем было бы человечество без этих основных открытий?

¹ В политике их называют *вопросами*: восточный вопрос, социальный вопрос, и проч.

² Случается иногда, и почти всюду, что принятое решение бывает одно и то же, хотя задача допускала и другие. Говорят, что такое решение было самым естественным. Да, но может быть не потому ли именно это, что будучи принято только к одному месту, а не сразу повсеместно, оно кончилось тем, что распространилось всюду? Например, жилище умерших грешников почти всюду у первобытных народов считалось подземным, а жилище праведников — небесным. Это сходство часто простирается гораздо дальше. Индейцы Орегона (Салиси), по Тайлору, говорят, что злые люди после своей смерти переселяются в место, покрытое вечным снегом, испытывая там настоящие муки Тантала: они постоянно видят дичь, но не могут ее убить, видят воду, которую не могут пить.

Вообще, если мы хотим, чтобы социальные сходства между народами, отделенными друг от друга более или менее непреодолимыми препятствиями (которые, однако, могли и не быть таковыми в прошлом), объяснялись не подражанием первобытному образцу, от которого не осталось никакого воспоминания, то очень часто для объяснения их не остается ничего более, как отыскивать все возможные изобретения по данному предмету у каждого из этих народов и исключать все бесполезные или менее полезные идеи. Но эта последняя гипотеза находится в противоречии с бедностью воображения, которой отличаются возникающие народы. Поэтому удобнее держаться предпочтительно первой теории и никогда не отказываться от нее без достаточно убедительной причины. Можно ли быть уверенным, например, что мысль строить жилища на болотах, общая древним обитателям Швейцарии и Новой Гвинеи, появилась у них без всякого подражательного внушения? Тот же вопрос можно сделать относительно мысли обтесывать или полировать кремни, шить рыбьими костями и жилами, тереть один о другой куски дерева, чтобы добыть огня. Прежде чем отрицать возможность распространения этих идей путем медленного и постепенного подражания, которое могло кончиться тем, что охватило собою весь земной шар, необходимо, во-первых вспомнить о бесконечной продолжительности доисторического времени и подумать также о том, что мы имеем указания на сношения, происходившие на больших расстояниях, не только между народами бронзового века, которым приходилось вывозить олово очень издалека, но и между народами времен полированного камня, а может быть, и времен каменных осколков. Великие нашествия завоевателей, происходившие во все времена, должны были облегчать и часто широко распространять цивилизующие идеи *даже* в доисторические или, лучше сказать, *особенно* в доисторические периоды, потому что всякие великие завоевания совершаются тем легче, чем раздробленнее и первобытнее поработаемые народы. Нашествие монголов в XIII в. представляет хороший образчик таких периодических наводнений, и мы знаем, что последствием его было разрушение перегородок между самыми замкнутыми народами и установление сообщения Китая и Индостана между собою и с Европою.

Но даже и без этих ужасных событий всеобщий обмен примеров не замедлил бы произойти с течением времени. Сделаем в этом отношении одно общее замечание. Большая часть историков склонны допускать влияние одной цивилизации на другую, как скоро им удалось доказать, что между ними существовали торговые сношения и происходили военные столкновения. Они представляют себе, что всякое действие одной народности на другую отдален-

ную народность, как например Египта на Месопотамию или Китая на Римскую империю, предполагает передвижение войск, посылку кораблей или приход караванов из одной страны в другую. Они не допускают, например, что поток вавилонской цивилизации и поток цивилизации египетской сообщались между собою раньше завоевания Месопотамии Египтом, происшедшего ок. XVI в. до н. э. Или наоборот, как скоро они найдут, что замечаемое сходство в произведениях искусства, в памятниках, гробницах, развалинах городов достаточно доказывает влияние одной цивилизации на другую, то, придерживаясь той же точки зрения, тотчас же заключаю отсюда, что между данными народами должны были существовать войны и правильные сношения.

Это предвзятое мнение, если принять во внимание соотношения, установленные нами между тремя формами всеобщей повторяемости, не может не напоминать предубеждения старинных физиков, видевших доказательство передачи или перенесения материи во всех случаях, где они обнаруживали физическое действие, как, например, в распространении света или тепла. Разве сам Ньютон не думал, что распространение солнечного света происходит вследствие истечения световых частичек, выбрасываемых солнцем на бесконечное расстояние? Моя точка зрения на вопрос так же далека от обыкновенной точки зрения, как в оптике теория волнообразного распространения от теории истечения. Впрочем, я не отрицаю социального влияния, возбуждаемого или вызываемого передвижением войск или торговых кораблей, но только не допускаю, чтобы оно было единственным или даже главным способом привития лучистого contagia цивилизаций. Начиная с пограничных местностей, где соседние народности соприкасаются друг с другом непосредственно при всякой военной стычке, при всякой торговой сделке, представители их имеют естественную склонность копировать друг друга; и не имея надобности перемещаться по линиям распространения их примеров, они непрерывно действуют друг на друга на неопределенно далеких расстояниях, подобно частицам воды в море, которые, насколько не перемещаясь в направлении движения волн, посылают их весьма далеко от себя. Поэтому гораздо раньше, чем фараоновское воинство появилось в Вавилоне, уже множество обрядов и промышленных секретов перешло из Египта в Вавилонию, передаваясь, так сказать, из рук в руки.

Вот что следует поставить во главе истории. И это действие настолько постоянно, могуче и неотвратимо, что оно, без всякого ослабления дойдет до «концов земли», лишь бы ему было предоставлено достаточно времени. Но ведь прошедшее человечества можно

считать сотнями тысяч лет; поэтому есть полное основание полагать, что в те столь недалекие от нас эпохи, которым мы присваиваем имя древности, действие это уже распространилось по всему миру.

Итак — все, что есть в явлениях, представляемых человеческими обществами, социального, а не жизненного или физического, будет ли то сходство или различие, — имеет свою причину подражание. Поэтому не без причины называют вообще *естественными* самостоятельные, не внушенные со стороны, сходства, обнаруживаемые между разными обществами в социальных явлениях различного порядка. И если кому желательно смотреть на общества со стороны их самостоятельных сходств, то он вправе называть их законы, их верования, их правление, их обычаи и преступления — естественным правом, естественной религией, естественной политикой, естественной промышленностью, естественным искусством, естественным злодейством... Эти сходства, очевидно, очень важны; но беда в том, что, как скоро пожелаешь их точным образом определить, то потеряешь только напрасно время: эти черты их расплывчатости и непоправимой произвольности, в конце концов, отталкивают от себя всех, привыкших к положительным методам и научной точности.

Мне могут заметить, что если подражание есть явление социальное, то инстинктивная леность, в высшей степени естественная, уже вовсе не социальное явление, а из нее-то и возникает склонность перенимать чужое, чтобы избежать труда изобретать. Но самая эта склонность, если она необходимо предшествует первому социальному факту, оказывается весьма различной по силе и направлению, в зависимости от рода образовавшихся уже привычек к подражанию. Наконец мне могут сказать еще: это стремление есть только одна из форм потребности, считаемой вами врожденной и глубокой, из которой вы выводите (как это будете видно впоследствии) все законы социальной логики, то есть потребность в максимуме сильной и твердой веры. Если эти законы существуют и происхождение их отнюдь не социальное, то сходства, порожденные ими в учреждениях и идеях народов, имеют не социальную, а естественную причину. Например, объяснение болезней бесовской одержимостью, вхождением нечистых духов в тело больного у всех дикарей — американских, африканских и азиатских — представляется уже довольно замечательным совпадением; затем, раз такое объяснение было допущено, из него логически следовала идея об исцелении путем изгнания или заклинания — одинаково как в Старом, так и в Новом Свете. Но я отвечаю, что если нельзя отрицать некоторой логической ориентировки у до-социального человека, то необходимость логи-

ческой координации, укрепившаяся и определившаяся под влиянием социальной среды, подвергалась здесь самым неожиданным и странным изменениям, усиливаясь и развиваясь, как и все другое, по мере удовлетворения, которое она здесь находила. Доказательство этого мы увидим в другом месте.

II. Это приводит меня к разбору другого капитального возражения, которое можно мне сделать. В самом деле, я немного выиграю, доказав, что все цивилизации, даже самые несходные, суть лучи, вышедшие из одного и того же первоначального фокуса, если будет основание думать, что, достигнув известной точки, расходимость их, вместо того чтобы увеличиваться, начала уменьшаться, и что, какова бы ни была исходная точка, эволюция языков, мифов, ремесел, законов, наук и искусств, подвигаясь по своему пути, сближалась бы все более и более, так что конец был бы всегда один — неизбежный, преопределенный, фатальный.

Остается узнать, справедлива ли такая гипотеза? Она не верна. Укажем сперва на крайний вывод, заключающийся в ней. Из нее следует, что не важно, каким умозрительным путем, при условии достаточно продолжительного времени, научная мысль должна была дойти в математике — до вычисления бесконечно-малых, в астрономии — до закона Ньютона, в физике — до единства сил, в химии — до атомистической теории, в биологии — до естественного подбора или до всякой другой последней теории трансформизма, и проч. А так как только на эту науку, так сказать, единую и неизбежную, должна была опираться всякая изобретательность промышленная, военная и художественная в своем искании ответов на врожденные, в виде возможностей, потребности, то изобретение, например, паровоза, электрического телеграфа, торпед и Крупновских пушек, Вагнеровской оперы и натуралистического романа — было делом неизбежным, более неизбежным, пожалуй, чем горшечное искусство в самом простейшем его виде. Но или я сильно заблуждаюсь, или с таким же правом можно было бы сказать, что с самого своего возникновения, проходя чрез все метаморфозы, жизнь стремилась произвести известные и определенные формы, и что, например, орниторинкс или кактус, ящерица или офрис, или даже сам человек не могли не появиться. Не правдоподобнее ли будет допустить, что проблема, которую в каждый момент ставила жизнь, была сама по себе неопределенной и допускала многие решения?

Иллюзия, против которой я борюсь, обязана своею правдоподобностью просто одному недоразумению. Известно, что прогресс цивилизации узнается по той постепенной нивелировке, которую эта цивилизация устанавливает на территории все более и более

обширной, так что когда-нибудь, вероятно, весь земной шар¹ будет занят одним устойчивым и определенным социальным типом, вместо тысячи различных социальных типов, чуждавшихся друг друга или враждовавших между собою, которыми был он занят прежде. Но это водворение всеобщего однообразия, совершающееся на наших глазах, указывает ли оно хотя сколько-нибудь на общее направление различных обществ к какому-нибудь полюсу? Нисколько, потому что очевидная для всякого причина его состоит в залитии большей части самобытных цивилизаций волнами одной из них, прилив которой постоянно движется вперед непрестанно расширяющимися потоками подражания. Чтобы видеть, до какой степени независимые цивилизации далеки от стремления добровольно сходиться и сближаться, сравним между собою две цивилизации, дошедшие до своего предела и на нем остановившиеся, например, Византийскую империю средних веков с Китайской империей в ту же эпоху. Та и другая цивилизация к этому времени уже принесли все свои плоды и достигли крайнего предела своего возраста. И любопытно узнать, больше ли походили они друг на друга в этом состоянии своего окончательного развития, чем в прошедшее время? Вовсе нет, и, по-видимому, вернее будет противоположное. Сравните между собою Святую Софию с ее мозаикой и пагоду с ее фарфором, мистические миниатюры манускриптов и плоскую живопись китайских ваз, жизнь мандарина, занятого литературными пустяками и время от времени показывающего примеры трудолюбия, и жизнь византийского епископа, со страстью занимающегося богословскими тонкостями, перемешанными с дипломатическим лукавством, и так далее. Мы видим полнейший контраст между идеалом усовершенствованного садоводства, многочисленного семейства и не особенно строгой нравственности, любезным сердцу одного из этих народов, и идеалом христианского спасения, монастырского безбрачия и отшельнического самоисправления, грезившегося другому. Трудно даже назвать одним и тем же словом *религия* — почитание предков, на котором она основывается у одного народа, и почитание божественных личностей или святых, составляющих душу верований другого. Но если мы спустимся к древним векам греков и римлян, культуры которых слились и амальгамировались в Византийской империи, то найдем здесь семейную организацию, представляющую как бы сколок с китайской. В самом деле, в древнейшей арийской и

¹ Однако впоследствии мы увидим, что *обычай*, т. е. исключительное подражание, должен окончательно одержать верх над *модой*, т. е. подражанием прозелитическим, и что вследствие этого закона произойдет в разных цивилизациях раздробление человечества на отдельные государства, не столь многочисленные, но более обширные, чем теперь, и это может быть окончательным состоянием обществ подобно настоящему и прошедшему.

семитической семье мы встречаем, как и в семье китайской, не только культ домашнего очага и почитание душ предков, но и те же самые обряды, придуманные в честь мертвых, как например, приношение съестного, пение гимнов, сопровождаемое коленопреклонением, даже совершенно одинаковые фикции, как например, усыновление, с целью достигнуть, наперекор случайной бесплодности женщин, главной задачи — продолжения в семье религии домашнего очага.

Но мы пришли бы к опровержению этой истины, если бы вместо того, чтобы сравнивать два самобытных народа на двух последовательных фазах их истории, стали проводить параллель между двумя классами или двумя общественными слоями каждой из них. Правда, путешественник, посетивший несколько европейских стран, даже самых отсталых, заметит больше несходства между людьми из простого народа, оставшегося верным своим старым обычаям, чем между представителями высших классов; но это потому, что высшие классы прежде всех подвергаются действию надвигающейся моды, и замечаемое здесь сходство находится, очевидно, в близком родстве с подражанием. Наоборот, когда два народа оставались герметически закупоренными друг от друга, то представители их дворянства или духовенства, наверное, будут больше отличаться один от другого по своим понятиям, вкусам и привычкам, чем их земледельцы или ремесленники.

Причина этого в том, что чем больше какой-нибудь народ или класс цивилизуется, тем более выступает он из того тесного русла, в котором протекало его развитие, придавленное гнетом материальных потребностей, всюду совершенно одинаковых, и наконец выходить на широкий простор жизни эстетической, где корабль искусства носится по воле ветров, дующих из родного прошедшего. Если бы цивилизация была лишь полным растворением органической жизни в социальной среде, то этого бы не происходило; но можно сказать, что жизнь, растворяясь таким образом, стремится прежде всего освободиться от себя самой, разорвать свой собственный круг и расцвести лишь для того, чтобы засохнуть, как будто для нее нет ничего более важного и желательного, чем освободиться от самой себя. Поэтому все излишнее, вся роскошь, вся область изящного, под которым я разумею в частности изящное, создаваемое для себя всякой эпохой и всяким народом, все это составляет для каждого общества то, что есть в нем наиболее социального, и оно-то и дает смысл, *raison d'être* всему остальному, всему необходимому, всему полезному. Мы сейчас увидим, что исключительно подражательное происхождение сходств будет становиться все более и более бесспорным по мере того, как мы переходим от второго порядка этих двух явлений к первому. Художественные привычки глаза, возникшие из древних индивиду-

альных художественных прихотей, обратились в свехорганические потребности, которым художник обязан дать удовлетворение и которые одни только ограничивают область его фантазии; но это ограничение, не имеющее ничего жизненного, как нельзя более изменчиво с временем и местом. Вот почему глаз грека, начиная с известной эпохи, имел потребность видеть колонны ионической и коринфской формы, между тем как глаз египтянина в эпоху древней империи требовал колонны четырехгранной, а в эпоху средней — колонны, заканчивавшейся в виде цветочной почки лотоса. Здесь, в этой сфере чистого или скорее почти чистого искусства, (потому что архитектура всегда оставалась промышленным искусством), моя формула, рассматривающая подражание, как единственную причину истинных социальных сходств, прилагается даже буквально.

Она прилагалась бы еще точнее в скульптуре, живописи, музыке и поэзии. В самом деле, идеи вкуса и его суждения, с которыми сообразуется искусство, не могут считаться предсуществовавшими; они не имеют ничего постоянного и однообразного, подобно телесным потребностям или чувственным восприятиям, предопределяющим до известной степени произведения промышленности и заставляющим их повторяться в общих чертах у различных народов. Когда какое-нибудь произведение одновременно относится и к промышленности, и к искусству, то на основании сказанного следует ожидать, что оно, будучи подобно в своих промышленных чертах другим произведениям иностранного происхождения, возникшим на своей родине самостоятельно, будет отличаться от них своею эстетическою стороною. Вообще, этот разностный элемент в глазах положительно мыслящего человека кажется весьма мало важным; но не этими ли только подробностями разнятся между собою памятники, сосуды, домашняя утварь, песни и эпические произведения различных цивилизаций? И не эти ли подробности, характеристические оттенки, эти обороты речи, этот особый колорит, этот стиль или манера всего более важны для художника? Это наглядные и в то же время самые глубокие отличительные черты данной цивилизации — здесь стрелка свода, там фронтоны, тут закругление, какая-нибудь прихотливая форма, господствующая над полезностью, вместо того чтобы ей подчиняться, и в этом отношении вполне соответствующая тем властно определяющим деятельность обществ морфологическим признакам, по которым распознаются живущие типы. Вот почему позволительно отрицать в эстетическом отношении, т. е. с чисто социальной точки зрения, действительное сходство произведений, отличающихся друг от друга только этими подробностями. Например, позволительно утверждать, что небольшой, но грациозный египетский Элефантинский храм не походит на

окруженный колоннами греческий храм, несмотря на видимое их сходство, а следовательно и бесполезно задаваться вопросом, не служит ли это сходство доказательством того, что Греция копировала Египет, как думал Шампольон. В конце концов это опять приводит к тому, что моя формула прилагается всего точнее, когда дело касается сходства произведений наиболее искусственных или иначе — наиболее социальных. Отсюда можно по наведению заключить, что если бы речь шла всегда о сходстве произведений, внушенных исключительно социальными побуждениями, абсолютно чуждыми жизненным отправлениям, то этот принцип оправдывался бы во всей его строгости.

Среди эстетиков немало было разговоров о предполагаемом законе развития изящных искусств, в силу которого они будто бы вращаются по одному и тому же кругу и неопределенное число раз появляются в новом издании. К несчастью, никому еще не удавалось никогда формулировать этот закон сколько-нибудь определенно, не натываясь постоянно на противоречившие ему факты; то же замечание относится в некоторой, хотя и значительно меньшей степени — как этого и нужно ожидать после всего предыдущего — и к так называемым законам разных религий, языков, форм правления, законодательству нравственности, науки. Вполне разделяя этот предрассудок нашей эпохи, Перро, в своей «Истории искусства», был принужден согласиться, что развитие архитектурных орденов в Египте и Греции не проходило через аналогичные фазы. Без сомнения как там, так и здесь каменная колонна наиболее древних веков, заменяя собою деревянный столб, начала с более или менее верного подражания ему и долгое время сохраняла на себе следы этой подделки; при этом в той и другой стране, в украшениях капителей воспроизводились местные растения — аканта (медвежья лапа) в одной, лотос или пальма в другой. Без сомнения также, греческая или египетская колонна, цельная и по всей длине однообразная вначале, оказалась потом подразделенною на три части: капитель, стержень или ствол и основание. Без сомнения, наконец, отделка капители в Греции и всей колонны в Египте постепенно усложнялась, обременялась новыми украшениями.

Из этих трех аналогий первая указывает только еще раз на основной принцип — инстинктивную подражательность социального человека, а третья представляет главнейшее следствие этого принципа — постепенное накопление не противоречащих друг другу изобретений, благодаря сохранению и распространению каждого из них путем лучеобразно-разливающегося подражания, фокусом которого оно становится. Что касается до второй, то она есть одна из функциональных аналогий, о которых я говорил выше. В самом деле, это подразделение колонны на три части почти прямо внушено было

свойствами употребляемых материалов и законом тяжести, как только потребность в безопасности заставила строить жилища известной высоты. Если кому-нибудь угодно видеть долю истины в этих псевдозаконах развития религии, политики и проч., которые я сейчас мимоходом разобрал, то он легко убедится, что она разлагается окончательно на сходства, входящие в три предыдущие категории. Если же в них найдется что-нибудь, чего нельзя будет подвести сюда, то это укажет на вмешательство подражания. Например, точки сходства между христианством и буддизмом, а в особенности между христианством и культом Кришны настолько многочисленны, что некоторым весьма авторитетным ученым казались достаточными для того, чтобы утверждать существование исторической филиации между этими родственными религиями. Догадка эта еще менее удивительна, если речь идет о прозелитических религиях.

Кроме того — и в этом знаменательные различия обнаруживаются вполне — у греков «пропорциональность в размерах колонн изменялась всегда одинаково; так, отношение высоты ствола колонны к ее диаметру шло, все более и более возрастаая. Дорические колонны Парфенона оказываются выше таких же колонн древнего Коринфского храма, но они ниже римских дорических колонн. Не так было в Египте: там с течением веков формы не стремились вытягиваться и утончаться. Шестнадцатигранная колонна с пучкообразными продольными полосами Бени-Гассаи не толще колонн значительно позднейших памятников». Встречаются даже следы развития, как раз обратного эллинскому. «Таким образом, — говорит в заключение приведенный выше автор, — в ходе египетского искусства замечаются прихотливые колебания. Ход этот менее правилен, чем ход искусства классического; он, по-видимому, не управлялся столь же строгой внутренней логикой».

Я скажу более: отсюда следует, что искусство не позволяет заключить себя в какую-нибудь формулу, потому что эта формула, если только она существует, по-видимому, то прилагается, то как будто не прилагается, и это как раз в тех случаях, когда речь идет о самых важных, о самых выразительных и самых глубоких отличительных признаках с точки зрения знатока. Что касается до рассматривания колонны с точки зрения ее полезности, то внешние условия очень тесно ограничивают поле архитектурной изобретательности, властно ставя пред последней известные основные идеи, как бы темы, допускающие лишь незначительные изменения. Но раз пройдено это ущелье, чрез которое все школы должны были проходить почти параллельными путями, каждая из них направилась по особой дороге, они разбрелись в разные стороны, и хотя не сделали совершенно

независимыми, но стали подчиняться каждая внушениям своего собственного гения. С этих пор совпадений больше не обнаруживается и начинают пробиваться несходства¹. Тогда начинает преобладать влияние мастеров, прошедших или настоящих, вносящих изменения в родное искусство. Этим путем и могут быть объяснены «прихотливые колебания» египетской архитектуры, а если развитие архитектуры греческой представляется более прямолинейным, то не иллюзия ли это? Если не ограничиваться двумя или тремя замечательными веками, если обнять весь процесс развития греческого искусства с самого отдаленного его начала до последних его выражений в византийскую эпоху, то не ясно ли будет всякому, что возрастающая потребность в высоте колонн, замеченная Перро, с известной эпохи начала уменьшаться? Эта зрительная потребность есть следствие изящных и утонченных вкусов художников, породивших и взрастивших ее, подобно тому, как поколения основательных строителей сделали всеобщей и долговечной на берегах Нила привычку к массивности и прочности, хотя и здесь дело не обходилось без вмешательства других вкусов, если появлялся иногда архитектор более оригинального темперамента, менее склонный сообразоваться с национальным гением, чем заниматься его преобразованием. Но насколько выиграли бы все эти рассуждения, если бы их иллюстрировать примерами, заимствованными из высших областей искусства — живописи, поэзии, музыки!

¹ Встречается ли где бы то ни было что-нибудь подобное египетскому обелиску? Нет, и это потому, что обелиск не соответствовал такой по преимуществу естественной потребности, как двери, окна, колонны в качестве подпор, но отвечал потребности всецело социальной.

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО?

То, что я разумею под словом *общество*, достаточно ясно следует из предыдущего, но важно еще точнее определить это основное понятие.

Что такое общество? На этот вопрос отвечают вообще так: это — группа индивидов, оказывающих друг другу взаимные услуги. Из этого определения, столь же ложного, как и ясного, возникали все смещения, очень часто происходившие между так называемыми животными обществами, или многими из них, и единственными настоящими обществами, в числе которых, в известном отношении, заключается и небольшое число животных обществ.

Это чисто экономическое понятие, устанавливающее социальную группу на представлении о взаимной помощи, можно было бы с выгодой заменить чисто юридическим понятием, по которому сообщественниками или сотоварищами какого-нибудь индивида были бы не все те, кому он полезен или кто ему полезен, но все те, и только те, кто имеет на него известные права, установленные законом, обычаем и допускаемый приличиями, или на которых он имеет аналогичные права, соединенные со взаимностью или без нее. Но мы увидим, что эта точка зрения, хотя она и предпочтительнее первой, слишком суживает понятие о социальной группе, почти так же, как предыдущая без меры его расширяет. Наконец, возможно было бы также понятие о социальной связи чисто политическое или чисто религиозное. Разделять со всеми одни и те же верования или работать сообща над осуществлением одного и того же политического плана, общего всем сообщественникам и глубоко отличного от их частных потребностей разного рода, при достижении которых они могут содействовать друг другу или нет — все равно, — это было бы своего рода образцом истинных социальных отношений. Но известно, что такое единое уми и сердец отличает лишь очень совершенные общества, а затем известно также, что возникновение социальной связи возможно и без этого: такова, например, связь между европейцами разных национальностей. Следовательно, данное определение слишком ис-

ключительно. Сверх того, сходство политических задач и верований, о которых здесь говорится, единомыслие, овладевающее десятками и сотнями миллионов людей, не возникает внезапно, *ex abrupto*; каким же образом оно происходит? — Оно возникает лишь мало-помалу, постепенно, путем подражания. Итак, вот где всегда следует его отыскивать.

Если бы отношения сообщественников состояли главным образом в обмене услуг, то не только следовало бы признать, что животные общества заслуживают это название, но что они-то и суть общества по преимуществу. Пастух и земледelec, охотник и рыболов, булочник и мясник, без сомнения, оказывают друг другу услуги, однако гораздо меньшие, чем взаимные услуги, оказываемые друг другу разного пола термитами. Но и в самых животных обществах наиболее совершенными были бы не высшие из них, каковы общества пчел, муравьев, лошадей или бобров, но самые низшие, как, например, общество сифонофоров, где разделение труда доведено до такой степени, что одни едят за других или переваривают за них пищу. Трудно было бы придумать более важную услугу! Но говоря без шуток, и не выходя из пределов человечества, мы должны были бы прийти к заключению, что степень социальной связи между людьми пропорциональна степени их взаимной полезности. Владелец дает кров и корм рабу, господин покровительствует крепостному и защищает его в возмещение обязательных функций, исполняемых рабом и крепостным на пользу рабовладельца и господина; здесь несомненная взаимность услуг, взаимность, обуславливаемая, правда, силой, но ведь не важно, преобладает или нет экономическая точка зрения и следует ли принимать в расчет, что она все более и более должна одерживать верх над точкой зрения юридической. Таким образом, спартанец и илот, господин и раб, равно как воин и индусский торговец оказались бы в более тесной социальной связи, чем могла существовать между разными свободными гражданами Спарты, между феодальными владельцами даже одной и той же страны, между илотами, или между крепостными одной деревни, несмотря на одинаковость нравов, языка и религии!

Несправедливо думали иные, что, цивилизуясь, общества оказывают предпочтение экономическим отношениям над юридическими. Думать так — значит забывать, что всякого рода труд, всякая служба, всякий обмен основываются на настоящем договоре, гарантируемом законодательством, постоянно стремящимся все к большей и большей регламентации, и все более и более усложняющимся, причем к накопившимся предписаниям закона присоединяются обычаи, имеющие силу закона, и множество разных обрядностей всякого рода, начиная с простейших, но общих для всех форм вежливости, вплоть

до избирательных и парламентских обычаев¹. Общество представляет скорее взаимное распределение обязательств или соизволений, прав и обязанностей, чем взаимную помощь. Вот почему сообщество может устанавливаться между существами или подобными, или мало различающимися друг от друга. Экономическое производство требует специализации способностей, а эта специализация, доведенная до конца, согласно не выраженному явно, но логически неизбежному желанию экономистов, сделала из рудокопа, из рабочего, из ткача, из адвоката, из медика, и проч. столько же различных человеческих видов. Но, к счастью, известный перевес юридических отношений, совершенно неосновательно отрицаемый, препятствует этому дифференцированию выражаться слишком резко и даже принуждает его с каждым днем значительно ослабевать. Правда, что право в этом случае не более как один из видов склонности человека к подражанию. Разве с утилитарной точки зрения мы смотрим, когда говорим крестьянину о его правах, когда его учим, рискуя увидеть, что все сельское население бросит наконец соху и заступ, а земледелие и скотоводство — эти два питавшие нас сосца — окончательно иссякнут? Конечно, нет, но преклонение пред «равенством» одержало верх над этим соображением. Нам желательно было поднять до уровня высшего общества те классы, которые, несмотря на непрерывный обмен услуг, не составляли его части во многих отношениях; и мы поняли, что для этого необходимо *ассимилировать их, привив к ним заразу подражания* членам высшего общества, или, лучше сказать, составить их умственное и *социальное* существо из понятий, желаний и слов, короче — из всех элементов, подобных тем, которые составляют дух и характер членов этого класса общества. Если самые различные существа, акула и маленькая рыбка, служащая ей зубочисткой, человек и его домашние животные могут очень хорошо служить друг другу; если иногда даже наиболее различные между собою существа могут сотрудничать в одном общем деле, как охотник и его собака, как лица разного пола, часто столь не сходные между собою; то напротив, необходимым условием, без которого два существа не могли бы принять на себя взаимных обязанностей или признать за собою взаимные права, является то, что у них должен быть общий им запас идей и традиций, общий язык или общий переводчик и все тесные сходства, образуемые воспитанием, т. е. одною из форм сообщения подража-

¹ Ошибочно думать, что господство *церемоний, церемониальное ведомство*, как говорит Спенсер, постепенно клонится к упадку. Рядом с устаревшими приемами, носящими название церемоний, действительно приходящими в упадок, существуют другие церемонии, остающиеся в полной силе, носящие название формальностей, постепенно размножающиеся и приобретающие все большее значение.

ния. Вот почему завоеватели Америки, испанцы и англичане, никогда не признавали прав туземцев, а эти последние — прав завоевателей. Различие рас играло здесь гораздо меньшую роль, чем различие языков, нравов, религий, и действовало только в союзе с этой последней причиной несовместности¹. Вот почему, наоборот, прочная цепь взаимных прав и обязанностей соединяла, от самой высокой ветки до самого глубокого корня, всех членов феодального дерева, этого в высшей степени юридического общественного устройства. В самом деле, здесь, в XII в., благодаря христианской пропаганде, от императора до раба было полное умственное сходство, полная ассимиляция. Исключительно по причине этого сходства, а вовсе не благодаря сети прав, феодальная Европа, от края до края, составляла одно настоящее общество — *христианство*, не менее тесное, как и существовавшее в лучшие дни римской империи — *римство* (*romanitas*). Но может быть нужно доказательство противного? Вот оно: китайские и индусские переселенцы на Антильских островах прочно связаны со своими белыми господами не только взаимными услугами, но и письменными договорами; однако между ними никогда не возникало настоящей социальной связи, потому что им никогда не удавалось ассимилироваться. Здесь имеется соприкосновение двух или трех цивилизаций и взаимное их пользование друг другом, есть два или три отдельных пучка изобретений, подражательно распространяющихся каждый в своей среде; но здесь нет общества в истинном значении этого слова.

Индусское деление на касты основывалось главным образом на экономическом понятии об обществе. Эти касты оставались совершенно отдельными расами, хотя и в сильной степени содействовавшими друг другу. Поэтому стремление подчинить нравственное значение прав утилитарному значению услуг и работ, далеко не означая собою высокого уровня цивилизации, теряет свою силу по мере улучшения человечества и успехов крупной промышленности². По правде сказать, цивилизованный человек нашего времени стремится обойтись

¹ В XVI и XVII столетиях, когда военное и гражданское сословия были весьма несходны между собою, войска, останавливаясь в деревнях, считали для себя все позволительным в отношении поселян — своих или чужих, все равно, — насиловали, грабили, убивали и проч., сообразно с тогдашними правами, но в отношениях *друг к другу*, между собой, они тщательно уже остерегались этого.

² В своем замечательном сочинении по Кинематике Рело (Releaux), директор промышленной Академии в Берлине, замечает, что успехи промышленности с каждым днем все яснее обнаруживают поверхностность и ошибочность мысли о той важности, какую экономисты приписывали разделению труда. «Принцип *машинного* производства, говорит он, находится, по крайней мере отчасти, в противоречии с принципом разделения труда... В наиболее усовершенствованных новейших машинах обыкновенно стремятся переменить рабочих, управляющих различными аппаратами, чтобы прерывать скучное однообразие работы». Только машинная работа может специализироваться все более и более, но обрат-

без помощи другого. Он все менее и менее обращается за помощью к другому человеку, резко отличающемуся от него, к профессиональному специалисту, и все более и более обращается за содействием к порабощенной им природе и ее силам. Разве социальный идеал будущего не есть воспроизведение в широких размерах античного города, где рабы, как это часто говорилось и до тошноты надоело, будут заменены машинами, а небольшая группа равноправных граждан, не перестающих подражать друг другу и взаимно ассимилироваться, — независимых, но и бесполезных друг для друга, по крайней мере во время мира, — будет представлять все цивилизованное человечество? Экономическая солидарность устанавливает между трудящимися скорее жизненную, чем социальную связь; никакую рабочую организацию никогда нельзя будет сравнить в этом отношении даже с самым несовершенным организмом. Юридическая солидарность имеет исключительно социальный характер, но почему? Потому, что она предполагает сходство, обуславливаемое подражанием. И когда это сходство существует, хотя бы и не было признанных прав, — то мы имеем уже начинающееся общество. Людовик XIV не признавал никаких прав на себя со стороны своих подданных, и подданные его разделяли с ним это заблуждение; однако он находился с ними в социальной связи, потому что король и его подданные были продуктами одного и того же классического и христианского воспитания, потому что с него не сводило глаз и старалось ему подражать все население, начиная с Парижа до последнего уголка Прованса, и потому что он, сам того не ведая, подчинился влиянию своих придворных, подвергаясь, так сказать, подражательной *диффузии*, взамен расходящейся от него *лучистой* подражательности.

Повторяю, мы находимся в более тесных социальных отношениях с теми, на кого мы всего более походим по тождеству занятий и воспитания, хотя бы они были и нашими соперниками, чем с теми, в ком мы наиболее нуждаемся. Это ясно замечается между адвокатами, литераторами, лицами судебного сословия и во всех вообще профессиях. Поэтому есть полное основание называть обществом, в обыкновенном разговорном смысле, группу людей, одинаково воспитанных, хотя бы и различных по идеям и чувствам, но обладающих одинаковыми средствами к жизни, видящихся и взаимно друг на друга влияющих в местах удовольствия и развлечения. Что касается служащих на одной фабрике, в одном и том же магазине и проходящих друг на друга в целях взаимной помощи или сотрудничества, то они составляют

ное происходит с трудом рабочего, делающимся, по словам Рело, тем более машинальным, чем лучшей «работницей» становится машина.

общество коммерческое, промышленное, но никогда не общество без всякого эпитета, т. е. просто только общество.

Одно дело — *народ*, этот своего рода надорганический организм, состоящих из каст, из классов или сотрудничающих профессий, и другое дело — *общество*. Мы ежедневно видим это в наше время, когда сотни миллионов людей постоянно готовы в одно и то же время *денационализироваться* и все более и более *социализироваться*. Мне не кажется убедительным, чтобы эта многосторонняя однообразность, к которой мы идем (язык, образование, воспитание, и проч.), была тем, что способно обеспечить исполнение бесчисленных обязанностей, которые разделили между собою ассоциировавшиеся индивиды, или ассоциировавшиеся народы. Кто знает, не будет ли крестьянин менее искусным земледельцем, сделавшись образованным; не будет ли солдат при том же условии менее дисциплинированным, чем теперь, а может быть и менее храбрым? Но люди, указывающие на эти угрожающие возможности приверженцам прогресса во что бы то ни стало, обыкновенно смотрят на дело не с точки зрения последних, о которой они и сами, может быть, даже не имеют никакого понятия. Они желают только наиболее тесных социальных отношений, а вовсе не самой прочной и самой совершенной государственной организации, какая возможна, потому что это для них совершенно безразлично. Строго говоря, они удовлетворились бы социальной жизнью без всяких границ, небольшими социальными организмами. Остается узнать, в какой мере цель эта желательна. Мы еще остановимся на этом вопросе.

Неустойчивость и беспокойное состояние наших новейших обществ должны бы были казаться необъяснимыми в глазах экономистов и всяких вообще социологов, видящих основу общества во взаимной полезности. В самом деле, взаимность услуг, оказываемых друг другу различными классами наших наций и различными нациями между собою, очевидна для всякого и возрастает с каждым днем, благодаря соревнованию в нравах и законах, возрастает со всею возможною в человеческом смысле быстротою. Но мы обыкновенно забываем, что индивиды этих классов и этих народов стремятся к подражательной ассимиляции гораздо более быстрой, по встречающей пока в нравах и даже законах раздражающие препятствия, раздражающие, пожалуй, тем более, чем менее они способны обезнадеживать.

Буду ли я в социальной связи с другими людьми, если они принадлежат к тому же физическому типу, обладают теми же органами, теми же чувствами, как и я? Буду ли я в социальной связи с необученным глухонемым, очень сходным со мною по устройству тела и наружности? Нет. Наоборот, лафонтеновские животные: лисица, ле-

бедь, кошка и собака¹, несмотря на разделяющее их расстояние, живут в сообществе, потому что говорят одинаковым языком. Можно есть, пить, переваривать пищу, ходить, кричать, не понимая данных актов, потому что все это — чисто жизненное дело. Но для того, чтобы говорить, необходимо понимать разговор; это доказывается примером глухонемых, которые немые только потому, что глухи. Следовательно, я начинаю чувствовать себя в социальной связи, хотя, правда, слабой и недостаточной, со всяким говорящим человеком, хотя бы и на чуждом мне языке, но при условии, что оба наши языка кажутся мне имеющими одинаковый источник. Социальная связь будет становиться теснее по мере того, как будут присоединяться к названной и другие общие черты, непременно подражательного происхождения.

Отсюда вытекает следующее определение социальной группы: это — собрание существ, поскольку они готовы подражать друг другу или поскольку они, не подражая друг другу теперь, походят друг на друга, поскольку общие им черты являются старинными копиями с одного и того же образца.

II

Необходимо ясно отличать социальную группу от социального типа, каким он представляется в данное время, в данной стране, воспроизводясь более или менее несовершенно, неполно в каждом

¹ В *Умственной эволюции у животных* Ромэнса есть чрезвычайно любопытная глава, посвященная влиянию подражания на образование и развитие инстинктов. Влияние это гораздо больше и гораздо распространеннее, чем думают. Подражают друг другу не только индивиды одного и того же вида, родственные или неродственные между собою — для многих птиц необходимо, чтобы их матери или подруги узнавали их по пению — но и особи различных видов, заимствуя друг у друга полезные или ничего незначащие особенности. И здесь-то обнаруживается глубокая потребность подражать ради самого подражания — этот первый источник наших искусств. Здесь мы замечаем, что дрозд до такой степени подражает пению петуха, что обманывает куриц. Дарвин полагал, что пчелы заимствовали у шершня остроумную идею сосать известные цветы, прокусывая их снаружи. Между птицами и насекомыми встречаются гениальные особи, причем в животном мире гений может даже рассчитывать на некоторый успех; и лишь благодаря отсутствию языка эти социальные попытки часто пропадают даром. Не только один человек, но и всякое животное, поскольку оно сравнительно духовно, жаждет социальной жизни, как условия *sine qua non* для развития своего умственного существа. Почему же? Потому, что функция мозга, мысль, отличается от других функций тем, что она не есть простое приспособление к определенной цели определенными средствами, но приспособление ко многим неопределенным пока целям, которые должны определиться более или менее случайно, благодаря самому средству, служащему для их достижения, средству могущественному, состоящему в подражании всему внешнему. Эта бесконечная внешность, эта внешность, срисовываемая, изображаемая, подражаемая со стороны чувства и разума, прежде всего есть природа во всем ее целом, оказывающая на мозг и на мускульную систему животного постоянное и непрерывное влияние; а потому и по преимуществу это — социальная среда.

из членов этой группы. Из чего же состоит этот тип? Из известного числа потребностей и идей, созданных многими тысячами изобретений и открытий, накопившихся в течение веков; потребностей, более или менее согласных между собою, то есть более или менее содействующих торжеству преобладающего желания, составляющего душу данной эпохи и данного народа; из идей и верований, более или менее гармонирующих взаимно, то есть логически связных между собою или по крайней мере не противоречащих вообще друг другу. Это двоякое согласие, всегда неполное, не свободное от диссонансов, устанавливающееся с течением времени между случайно возникшими сходными предметами, можно сравнить с тем, что называют *приспособлением* органов какого-нибудь живого тела. Но оно имеет то преимущество, что не отмечено таинственностью, отличающей этот последний вид гармонии, и в простых и ясных терминах означает лишь соответствие средств с целью, или следствий с причиной — этих двух соответствий, окончательно сводящихся к одному, последнему. Что значить несовместимость, разногласие двух органов, двух образований, двух характеров, принадлежащих двум различным видам? Мы об этом не знаем ничего. Но когда не совместимы две идеи, то это значит — мы уже знаем это, — что одна из них заключает в себе отрицание того, что утверждает другая. Точно также, когда они совместны, то это значит, что они не заключают, или кажется, что не заключают такого отрицания. Наконец, когда они более или менее согласны, то это значит, что одна из них, более или менее многосторонне, заключает в себе утверждение большей или меньшей части того, что утверждает вторая. Утверждать и отрицать — нет ничего более определенного и ясного, как эти два духовных акта, к которым сводится вся жизнь духа; нет ничего более понятного, как эта их противоположность. Ею разрешается противоположность желания и отвращения, противоположность между *velle* и *nolle*. Итак, социальный тип, то, что называют частной цивилизацией, есть настоящая система, более или менее связная теория, внутренние противоречия которой укрепляются взаимно или с течением времени приводят к взрыву и принуждают ее разорваться на двое. Если это так, то мы ясно понимаем, почему существуют чистые и прочные типы цивилизации, и типы смешанные и слабые; почему, сильно обогатившись новыми изобретениями, возбуждающими новые желания или новые верования и расстраивающими соответствие между старыми желаниями или старыми верованиями, наиболее чистые типы повреждаются и кончают тем, что распадаются; иначе говоря, почему не все изобретения обладают способностью неопределенно *накапливаться* и почему многие из них неспособны *заменять* другие, например, те, которые возбуж-

дают желания и верования, явно или неявно противоречивые во всей логической точности этого слова. Таким образом, в волнообразных колебаниях истории происходят только непрерывные сложения и вычитания количеств веры или количеств желания, возбуждаемых открытиями и усиливающих или ослабляющих друг друга, подобно интерферирующим волнам.

Таков национальный тип, повторяющийся, говорим мы, во всех членах данной нации. Его можно сравнить с очень большой печатью, отпечаток с которой получается всегда по частям и на различных сургуцах, так что восстановить ее в целости можно было бы не иначе, как сливлив между собою все эти отпечатки.

III

Собственно говоря, то, что я определил выше, будет не *общество*, как обыкновенно его понимают, а совершенно особая *социальная группа*, не *societas*, а *socialitas*. Общество, на различных его ступенях, есть всегда ассоциация, а ассоциация для социального, *подражательного*, так сказать, общества — то же самое, что организация для жизни, или то же самое, что молекулярное строение для упругости эфира. Эти новые аналогии нужно прибавить к тем, которые уже представили мне в таком большом числе три великие формы Всеобщего Повторения. Но, может быть, не мешало бы для лучшего понимания относительного общества, единственного, какое представляется нам на его различных ступенях социальной действительностью, вообразить себе некоторое гипотетическое, абсолютное и совершенное социальное общество (*socialitas*). Оно состояло бы из городской жизни и притом столь интенсивной, что передача всем мозгам города какой-нибудь счастливой мысли, возникшей по какому-нибудь поводу в одном из них, совершалась бы мгновенно. Эта гипотеза аналогична с одною из гипотез физиков, утверждающих, что если бы упругость эфира была совершенной, то световые или другие возбуждения передавались бы через него без всякого промежутка времени, мгновенно. С своей стороны и биологи могли бы, конечно, придумать какую-нибудь абсолютную раздражимость, воплощенную в некоторой идеальной протоплазме, которая могла бы служить им для оценки большей или меньшей жизненности действительно существующих протоплазм.

Исходя отсюда, если мы хотим, чтобы аналогия выдерживалась во всех трех областях, мы должны были бы рассматривать жизнь как простую организацию раздражимости протоплазмы, а вещество — как простую организацию упругости эфира, подобно тому как общество есть не что иное, как организация подражательности.

Действительно, почти бесполезно замечать, что мнение Томсона, принятое Вюрцем, о происхождении атомов и молекул, то есть известная, совершенно вероятная и правдоподобная гипотеза об атомах-вихрях, вполне отвечает одному из требований нашей точки зрения, равно как и протоплазматическая теория жизни, допускаемая в настоящее время всеми. Масса детей, выросших вместе, получивших одинаковое воспитание в одинаковой среде, и еще не разложившаяся на классы и профессии — вот первоначальный материал общества. Из этого хорошо перемешанного *теста* общество *лепит*, путем неизбежной и насильственной дифференцировки, нацию. Известная масса протоплазмы, то есть молекул, способных к организации, но не организованных, совершенно сходных, вполне ассимилированных между собою в силу неизвестного нам способа воспроизведения, путем которого они произошли — вот первоначальный материал жизни. Из него построила она клеточки, ткани, особей и виды. Наконец, однородная масса эфира, состоящая из элементов, обладающих совершенно сходными колебаниями и могущих ими обмениваться — вот, если верить философии наших химиков, первоначальный материал вещества, или материи. Из него построены все тела и тельца, как ни разнородны они между собою. Действительно, всякое тело есть не что иное, как полное согласие до последней степени разнообразных и соподчиненных колебательных движений, независимо воспроизводящихся отдельными, но переплетающимися между собою рядами; подобно тому, как всякий организм есть не что иное как полное согласие элементарных *недрообразований*, разнообразных, но гармоничных между собою, отдельных, но переплетающихся взаимно линий тканевых элементов; подобно тому, как нация есть согласие преданий, нравов, системы воспитания, стремлений, идей, подражательно распространяющихся различными путями, но иерархически соподчиненных и братски взаимносодействующих.

Таким образом, здесь имеет приложение закон стремления к разнообразию. Но бесполезно заметить, что то однородное, на которое он действует в трех вышеуказанных случаях, хотя и действительно таково, но только при поверхностном взгляде, и что наша социологическая точка зрения, путем продолжения аналогий, привела бы нас к допущению в протоплазме элементов с весьма индивидуализированными физиономиями, хотя и скрывающихся под одинаковой для всех маской; что даже в самом эфире атомы обладают такими же индивидуальными чертами, какие можно заметить у учеников одной школы, как бы ни строга была ее дисциплина. Душа всего сущего — разнородность, а не однородность. Что может быть невероятнее или нелепее, как сосуществование бесчисленных элементов, рожденных

сходными от вечности? Сходными не рождаются, но ими делаются. Сверх того, врожденное разнообразие элементов не есть ли единственное возможное оправдание их *отличности* друг от друга (*alteritas*)?

Мы охотно пошли бы и дальше: без этой первоначальной и основной разнородности никогда не было бы и не могло бы быть той однородной внешности, под которую она прячется. В самом деле, всякая однородность есть сходство в частях, а всякое сходство есть следствие ассимиляции, произведенной добровольным или насильственным повторением того, что было вначале индивидуальным новшеством. Но этого недостаточно. Когда то однородное, о котором я говорю, — эфир, протоплазма, уравненная, нивелированная народная масса — стало разнообразиться, чтоб организовать, то сила, заставившая его выйти из прежнего состояния, опять не та ли же самая причина, по крайней мере, если судить по тому, что происходит в наших обществах? Вслед за прозелитизмом, ассимилирующим известный народ, идет деспотизм, пользующийся им и иерархически его организующий; но деспот и апостол одинаково непокорны друг другу, и каждый из них находится под нивелирующим или аристократическим игом другого. Для возможности раскола или индивидуального возмущения, восторжествовавшего теперь, необходимы были миллионы и миллиарды других, загложивших, правда, в тени; но это не мешало им быть рассадником великих новшеств в будущем. Эта роскошь на изменение, это излишество в живописных причудах и прихотливых узорах, которые с таким великолепием развертывает природа, пользуясь сурово-простым аппаратом своих законов, повторений, вековых ритмов, может иметь только один источник — мятежную оригинальность элементов, плохо укрощаемых всякого рода игами, врожденную и глубокую разницу, пробивающуюся через все законодательные «равнения» и появляющуюся в переодетом виде на вполне гладкой и приличной поверхности вещей.

Мы не будем продолжать этих последних рассуждений, отклонивших нас от нашего предмета. Я хотел только показать, что за законами, то есть за сходственными фактами, будь то в природе или в истории, мы не должны забывать об их скрытых индивидуальных и своеобразных агентах. Оставляя, таким образом, их в стороне, мы можем вывести из предыдущего следующий полезный урок: ассимиляция, соединенная с состоянием «равнения» членов какого-нибудь общества, вовсе не окончательный предел прежнего социального прогресса, как это обыкновенно думают, но, напротив, отправная точка нового социального прогресса. Всякая новая форма цивилизации начинается с того же самого: однообразные, полные равенства, первые христианские общины, где епископ был одним из «верных»,

как всякий другой, и где папа не отличался от епископа; франкские полчища, где военная добыча распределялась поровну между князем и его содружинниками; мусульманское общество при своем возникновении и проч. — таковы всегда ее начала. Первые калифы, nasledовавшие Магомету, являлись перед судебными трибуналами и вели тяжбы, как простые магометане; равенство всех сынов пророка перед кораном не обратилось еще в простую фикцию, во что суждено неизбежно обратиться когда-нибудь и равенству французов или европейцев перед законом. Затем, постепенно, как необходимое условие прочной организации, стало проникать в арабский мир глубокое неравенство, идя почти тем же путем, каким образовалась церковная иерархия католичества или выстроилась феодальная пирамида средних веков. Прошедшее служит порукой за будущее. Равенство есть не что иное, как переход от одной иерархии к другой, подобно тому как свобода есть лишь переход от одной дисциплины к другой. Но отсюда не следует, что уверенность и сила, знание и безопасность каждого гражданина не возрастают постоянно с течением веков.

Взглянем теперь на высказанную сейчас мысль с другой стороны. Однородные, основанные на равенстве общины, говорим мы, предшествуют появлению церкви и государств по той же причине, по которой ткани предшествуют образованию органов; и кроме того — причина, по которой ткани и общины, раз образовавшись, организуются, устраиваются иерархически, та же именно, как и причина самого их образования. Разрастание ткани, еще не разноразвившейся и ничем не использованной, указывает на известное честолюбие, на особого рода жадность зародыша, таким образом распространившегося, подобно тому как основание какого-нибудь клуба, кружка, братства равных говорит о честолюбии предпримчивого ума, положившего ему начало, чтоб распространить таким образом свою личную мысль, свой личный план. И вот, чтобы распространиться еще больше или защититься от оказавшихся или предвидимых врагов, община уплотняется, переходя в иерархическую корпорацию, как ткань — в орган. Для живого или социального существа действовать или совершать отправления является условием *sine qua non* сохранения и расширения материнской идеи, носимой им в себе, для которой вначале достаточно бывает лишь размножаться в виде однообразных экземпляров, чтобы развиваться таким образом некоторое время. Но чего желает прежде всего *социальность* точно также, как и *жизненность* — так это распространяться, но не организоваться. Организация есть только одно из средств, целью которого служит распространение, *наследственное, врожденное или подражательное* повторение.

Итак, на вопрос, поставленный нами вначале: Что такое общество? мы дали ответ: общество — это подражание. Нам остается теперь спросить: что же такое подражание? Здесь социолог должен предоставить слово психологу.

IV

1. Мозг, по превосходному выражению Тэна, совмещающему в себе мнения об этом вопросе самых выдающихся психологов, есть орган, *повторяющий* чувствующие центры, причем и сам он составлен из элементов, взаимно повторяющих друг друга. Действительно, при виде стольких клеток, стольких сходных и перепутанных между собою волокон, нельзя было бы и прийти к другому мнению. Впрочем есть и прямое доказательство этого; многочисленные наблюдатели показали многими опытами, что удаление одного из мозговых полушарий и даже вырезка значительной части вещества другого влечет за собою лишь изменение в напряжении, но не отражается вредно на целостности интеллектуальных отправлений. Следовательно, вырезанная часть не была в сотрудничестве с оставшеюся; обе они могли только копировать и взаимно подкреплять друг друга. Отношения их не были экономическими и утилитарными, но подражательными и социальными, в том смысле, в каком я понимаю это последнее слово. Какова бы ни была функция клеточки, вызывающая мысль (может быть, очень сложное колебательное движение?), нельзя сомневаться в том, что она воспроизводится, что она умножается внутри мозга с каждым мгновением нашей умственной жизни и что каждому отдельному понятию соответствует отдельная клеточная функция. И лишь это беспредельное и неиссякаемое продолжение перепутанных между собою лучеиспусканий, изобилующих интерференциями, составляет то память, то привычку, смотря по тому, остается ли многостороннее повторение, о котором здесь идет речь, заключенным в нервной системе, или, выступая из нее, добирается и до системы мускульной. Память, если угодно, есть чисто нервная привычка; привычка же есть мускульная память.

Таким образом всякий акт восприятия, пока он заключает в себе акт памяти, то есть всегда, — предполагает некоторую привычку, бессознательное подражание самому себе. Это очевидно не имеет ничего социального. Когда нервная система раздражена довольно сильно, чтобы привести в движение группу мускулов, тогда проявляется привычка в собственном смысле, появляется другое подражание себе со стороны себя, нисколько не более социальное. Я хотел бы, скорее, сказать *пред-социальное* или *под-социальное*. Это не значит, что идея

есть недозрелое действие, как иные полагали; действие есть только искание идеи, приобретение прочной уверенности. Мускул работает только для того, чтобы обогатить нерв и мозг.

Но если идея или запомненный образ отложился первоначально в душе благодаря разговору или чтению, если привычный акт имел причиною то, что мы видели или узнали об аналогичном действии другого, то эта память и эта привычка будут фактами одновременно и социальными, и психологическими; а это и будет тот вид подражания, о котором так много я говорил выше. Это последнее есть память и привычка не индивидуальные, но коллективные. Как всякий человек может смотреть, слушать, ходить, стоять, писать, играть на флейте, а тем более, что-нибудь изобретать, придумывать — лишь благодаря многочисленным и упорядоченным мускульным воспоминаниям; так и общество не могло бы жить, не могло бы сделать шага вперед, измениться, не обладая сокровищем рутины, обезьянства и совершенно бараньей стадности, непрерывно возрастающих с каждым следующим поколением.

2. В чем состоит внутренняя природа этого воздействия одной мозговой клеточки на другую, составляющего умственную жизнь? Мы не знаем об этом ничего¹. Но разве мы лучше знаем сущность воздействия одной личности на другую — воздействия, составляющая социальную жизнь? Не лучше. Действительно, если мы возьмем этот последний факт сам по себе, во всей его чистоте и силе, то окажется, что он сведется к одному из самых таинственных явлений, изучаемых в наше время со страстным любопытством нашими философами-алиенистами, — к гипнотизму.

Пересмотрите современные работы Рише, Бине, Фере, Бони, Бернгейма, Дельбефа, и вы придете к убеждению, что я вовсе не фантазирую, рассматривая социального человека как настоящего сомнамбула. Я полагаю, напротив, что следую самому строгому научному методу, стремясь объяснить сложное — простым, сочетание — его элементами, желая уяснить сложную и запутанную социальную связь, в том виде, в каком мы ее знаем, с помощью социальной связи в ее самом чистом виде и в то же время приведенной к самому простому ее выражению, какое столь счастливо осуществилось, к назиданию социолога, в состоянии сомнамбулизма. Представим себе человека,

¹ В то время как предыдущие и последующие соображения в первый раз появились в печати (в ноябре 1874 г.) в «Revue philosophique», еще только начинали говорить о гипнотических внушениях; мне ставили тогда в упрек идею о всеобщем социальном воздействии, которая была затем так сильно поддержана Бернгеймом и другими, и называли эту мысль парадоксом, с которым никак нельзя согласиться. В настоящее время нет ничего популярнее этого взгляда.

совершенно устраненного от всякого внесоциального влияния; допустим, что он не видит окружающих естественных предметов, что ни одно из его чувств не получает никаких самопроизвольных впечатлений и что он находится в сообщении только с подобными себе, а для упрощения вопроса положим сначала, что только с одним из себе подобных. Не будет ли такой гипотетический человек самым удобным субъектом для изучения, посредством опыта и наблюдения, самых существенных черт социальных отношений, освобожденных таким образом от всякого, осложняющего их, влияния явлений порядка естественного и физического? Но разве гипнотизм и сомнамбулизм не представляют совершенно точного осуществления этой гипотезы? Поэтому читатель не должен удивляться тому, что я перехожу теперь к обзору главнейших явлений этого странного состояния и к обнаружению их среди социальных явлений, где они встречаются разом и в увеличенных, и в уменьшенных размерах, в явном виде и в скрытом. Может быть, при помощи таких сопоставлений мы лучше поймем этот факт, считающийся аномальным, если нам удастся обнаружить, до какой степени он общепринят, и лучше уясним себе общий факт, если посмотрим на его отличительные черты в том выпуклом виде, в каком представляются они в упомянутой кажущейся аномалии.

Социальное состояние, как и состояние гипнотическое, есть не что иное, как сон, сон по приказу и сон в деятельном состоянии. Не иметь никаких идей, кроме внушенных, и считать их самопроизвольными — такова иллюзия, свойственная как сомнамбулу, так равно и социальному человеку. Чтобы судить о верности этой социологической точки зрения, не следует иметь в виду нас самих, потому что допустить справедливость этой истины в приложении к нам самим значило бы как раз просмотреть то, что она утверждает, а следовательно отыскать аргумент против нее. Но надо думать при этом о каком-нибудь древнем народе принадлежащем к какой-нибудь цивилизации, совершенно отличной от нашей — о египтянах, о спартамцах, о евреях... Разве эти люди не считали себя автономными, подобно нам, будучи — конечно не замечая этого — совершенными автоматами, пружина которых заводилась их предками, их политическими вождями, их пророками, если они не заводили друг друга сами? Что отличает наше современное и европейское общество от этих чуждых нам и первобытных обществ, так это то, что у нас такое магнетизирование сделалось, так сказать, взаимным — по крайней мере в известном отношении; и так как мы, гордясь своим равенством, несколько преувеличиваем эту взаимность, а кроме того и забываем, что при взаимодействии это магнетизирование, этот источник всякой веры и всякого повиновения становится всеобщим, то мы тщетно тешим себя мыслью, что мы ме-

нее верующи, менее послушны и кротки, одним словом — менее подражательны, чем наши предки. Это — заблуждение, и мы его раскроем. Если бы далее это было верно, то это несколько не уменьшило бы справедливости того, что отношение оригинала к копии, художника к своему произведению, апостола к неопиту, прежде чем сделаться взаимным или попеременным, как это мы видим обыкновенно в нашем уравненном мире, необходимо должно было в начале быть односторонним, не возвращающимся обратно, не взаимным. Отсюда — касты. Такая односторонность и бесповоротность, о которых мы говорим, существуют даже всегда и в самых уравненных обществах, именно в основе социальных отношений, в семье. Действительно, отец всегда есть и всегда будет первым господином, первым жрецом и первым образцом для сына. Всякое общество, по крайней мере в настоящее время, начинается с этого.

Следовательно, в начале всякого древнего общества а fortiori должно было существовать в широких размерах проявление авторитета некоторых царственно-величавых и недопускающих возражений личностей. Правда ли, что их царение опиралось преимущественно на террор и обман, как это утверждают? Нет, такое объяснение явно недостаточно. Они могли царствовать, благодаря своему *обаянию*. И только представление о магнетизере может уяснить нам весь глубокий смысл этого слова. Магнетизеру нет надобности лгать для того, чтобы магнетизируемый слепо ему верил; ему нет надобности в запугивании, чтобы ему беспрекословно повиновались. Он обаятелен — вот и все. На мой взгляд, это означает, что в магнетизируемом имеется некоторая потенциальная сила верования и желания, заключающиеся, в немобилизованном виде, во всякого рода воспоминаниях, спящих до поры, до времени, но не мертвых; что эта сила ждет не дождется проявиться в действии, подобно воде пруда, всегда готовой из него вылиться; и что вследствие исключительных обстоятельств один только магнетизер умеет отомкнуть необходимое для ее выхода отверстие. Почти то же надо сказать и о всяком обаянии. Всякий поддается обаянию другого настолько, насколько это соответствует его потребности утверждать или желать чего-нибудь существенного для него. Магнетизеру нет также надобности говорить для того, чтобы ему верили и повиновались; для него достаточно какого-нибудь действия, какого-нибудь хотя бы и совершенно почти незаметного жеста. Это движение тотчас же воспроизводится вместе с мыслью или чувством, знаком которого оно служит. «Я даже думаю, говорит Маудсли (*Патология духа*), не мог ли бы сомнамбул достигнуть того, чтобы бессознательно, благодаря *бессознательному подражанию* телодвижениям, читать в душе того лица, мускульные движения

которого он инстинктивно и с совершенной точностью копирует». Заметим, что магнетируемый подражает магнетизеру, но не наоборот. Только в так называемой бодрственной жизни и только между людьми, не оказывающими, по-видимому, никакого магнетического действия друг на друга, происходит это *взаимное подражание*, это взаимное очарование, называемое *симпатией* в смысле Адама Смита. Поэтому, если я поставил, как основу и начало общества, не симпатию, а обаяние, то это потому, как уже сказано выше, что одностороннее должно было предшествовать взаимному. И хотя это могло бы показаться удивительным, но без века авторитета никогда еще не бывало века относительного братства. Но возвратимся назад. Почему в сущности удивляет нас одностороннее и пассивное подражание сомнамбула? Всякое действие любого из нас внушает окружающим нас людям, свидетелям этого, почти неотразимое желание подражать нашему действию; и если эти последние иногда противятся такому стремлению, то это потому, что оно тогда нейтрализуется в них антагонистическими воздействиями, возникшими из представившихся им воспоминаний или из внешних впечатлений. Внезапно лишенный, при помощи сомнамбулизма, этой силы противодействия, сомнамбул может служить нам как указание на пассивную подражательность социального существа, поскольку оно социально; иначе сказать, в какой мере находится оно в сообщении исключительно лишь с подобными себе и, прежде всего, с одним из себе подобных.

Если бы социальное существо не было в то же время и существом естественным, чувствующим и открытым для впечатлений внешней природы, а также и для влияний обществ, посторонних с его собственным, то оно было бы совершенно неспособно к изменению. Подобные сообщежители навсегда оставались бы неспособными изменить самопроизвольно тип идей или традиционных потребностей, заложенных в них воспитанием, родителями, вождями, жрецами, представляющими в свою очередь копию с прошедшего. Некоторые из известных нам народов стоят замечательно близко к условиям моей гипотезы. Вообще, все возникающие народы, как и дети в раннем возрасте, остаются совершенно индифферентными, нечувствительными ко всему тому, что не касается человека, человеческого вида, похожего на их собственный, человека своей расы, своего племени¹. «Сомнамбул — по словам Маудсли — видит и слышит только то, что входит в содержание его сна». Иначе сказать, вся сила его верования

¹ Таким образом первый источник всяких социальных революций есть знание, наука, внесоциальное исследование, открывающее окна социального фаланстера, в котором мы живем, и озаряющее его светом, идущим из вселенной. Лишь при этом свете исчезают призраки. Но в то же время и трупы, вполне сохранявшиеся здесь до сих пор, рассыпаются в прах.

и желания сосредоточивается около одного и единственного полюса. Не таково ли как раз и действие повиновения и подражания вследствие *ослепления*, очарования, несомненно чисто нервное, эта своего рода бессознательная *поляризация*, производимая любовью и верой?

И сколько великих людей от Рамзеса до Александра, от Александра до Магомета, от Магомета до Наполеона поляризовали таким образом душу своих народов! Сколько раз продолжительная фиксация взора на этой блестящей точке — славе или гениальности какого-нибудь человека повергала в катаlepsию весь народ! Оцепенение в сомнамбулистическом состоянии, как известно, есть только кажущееся; оно лишь скрывает под собой чрезмерное возбуждение. Отсюда те необычайные поступки и ловкость, с которою сомнамбул выполняет их, нисколько не задумываясь. Нечто подобное можно было наблюдать в начале нашего века, когда совсем оцепеневшая и в то же время крайне возбужденная, пассивная и в то же время распаленная лихорадочным огнем, воинственная Франция повиновалась одному лишь жесту своего царственного магнетизера и совершала чудеса. Этот атавистический феномен как нельзя более способен погрузить нас в глубину прошедшего и дать нам понять то действие, какое оказывали на своих современников те великие полубаснословные личности, которых ставят во главе своей истории различные цивилизации и которым их легенды приписывают создание ремесел, открытие научных фактов, установление законов, — каковы например Оаннес в Вавилонии, Кетцалькоатль в Мексике, *божественные династии*, предшествовавшие Менесу в Египте, и проч.¹ Обратим в особенности внимание на то,

¹ В своих глубококомысленных *Этюдах о религиозных и социальных нравах крайнего Востока* сэр Альфред Лиолль (Lyall) (по-видимому подстерегший явление образования племен и кланов в некоторых частях Индии) приписывает преобладающее влияние в первобытных обществах индивидуальному действию замечательных людей; «выражаясь словами Карлейля, говорит он, можно сказать, что крайне запутанная и дикая поросль первобытного общества имеет много разных корней, но герой всегда является в ней главным корнем, питающим в значительной части все остальное. В Европе, где границы национальности постоянны и здания цивилизации укреплены окопами, мы часто склонны считать легендарной громадную часть того, что первобытные расы приписывают своему героическому предку, в деле возникновения их племени и их учреждений. И однако было бы пожалуй трудно преувеличить то впечатление, которое должны были произвести на первобытный мир смелые и увенчавшиеся успехом подвиги, тогда как импульс, сообщаемый свободным развитием сил великого человека, не одолев бы препятствий, представляемых искусственными перегородками... В эти времена, если образовавшаяся на поверхности общества какая-нибудь группа развивалась в клан или колено, или преждевременно распадалась, то это зависело, по-видимому, в очень большой степени от силы и энергии ее основателя». Я ничего не имею прибавить к этим строкам, кроме того, что в новейшие времена уменьшение обаяния великих людей более чем вознаграждается увеличением для них средств действовать, и что будучи столь преобладающим в начале, оно не перестало быть им еще и теперь... Но еще раз скажу: все великие люди обязаны своею силой только великим идеям, которых

что все эти *бого-цари*, это общее начало всех человеческих династий и всех мифологий, были изобретателями или вводителем иностранных изобретений, одним словом — инициаторами. Благодаря глубокому и сильному изумлению, вызванному их первыми чудесами, каждое их слово, каждое их повеление как будто настезь распаивало необъятно широкие ворота, в которые устремлялись все бесчисленные смутные надежды, которые оно порождало, потребность в вере без идеи, потребность в деятельности без средств для действия.

Когда мы говорим о повиновении в настоящее время, то разумею под этим сознательный акт воли. Но первобытное повиновение совсем другое дело. Производящей опыт приказывает сомнамбулу плакать, и тот плачет; здесь не личность только, а весь организм повинует приказанию. Повиновение толпы известным трибунам, армий — известным полководцам иногда почти столь же странно; их доверие — не менее того. «Любопытно видеть, — говорит Рише, — как сомнамбул вызывает отвращение, тошноту, делает вид, что совершенно задыхается, когда к его носу подносят пустую стеклянку, говоря, что это аммоньяк, и как затем без малейшего намека на отвращение вдыхает аммоньяк, когда ему скажут, что это чистая вода». Подобную же странность представляют нам известные, столь же искусственные, как и энергичные, потребности, столь же нелепые, как и глубокие, столь же сумасбродные, как и упорные верования древних народов, не исключая даже самого свободного и самого разборчивого из них, и при том в такую пору его жизни, когда он уже давно прошел свою фазу автократической теократии. Не встречаемся ли мы здесь с чудовищными мерзостями, какова, например, греческая любовь, удостоившаяся чести быть воспетою Анакреоном и Феокритом и возведенная в догмат Платоном; не видим ли мы цивилизованные народы коленопреклоненными пред обожаемыми ими змеями, кошками, быками или коровами; не встречаемся ли с явно противоречащими прямому свидетельству чувств догматами, таинствами, переселениями душ, не говоря уже о таких нелепостях, как искусство авгуров, астрология, чародейство, пользовавшихся единодушным и всеобщим доверием. Не видим ли мы здесь, с другой стороны, как люди с ужасом отрешаются от самых естественных чувств (любовь к отцу у народов, где дядя уважался больше отца, любовная ревность в племенах, у которых господствовала общность жен, и проч.), как они отрицают и презирают естественную красоту или самые поразительные художественные произведения, потому что они противоречат

они были скорее осуществителями, чем изобретателями, и которые изобретены были чаще всего маленькими неизвестными людьми.

вкусам эпохи, далее в наши новейшие времена (живопись Альпов и Пиринеев у Римлян, образцовые произведения Шекспира, готическое искусство, фламандская живопись в нашем XVII и XVIII вв.)? Одним словом — не известно ли доподлинно, что самые очевидные опыты и наблюдения были оспариваемы, самые поразительные истины были отвергаемы всякий раз, как они оказывались в противоречии с традиционными идеями, этими исчадиями обаяния и веры.

Цивилизованные народы льстят себе мыслью, что они освободились от этого *догматического сна*. Заблуждение их легко объясняется. Магнетизация какого-нибудь лица тем быстрее и легче, чем чаще оно ей подвергалось. Это замечание объясняет нам, почему народы подражают друг другу все легче и быстрее, т. е. все с меньшей и меньшей нерешительностью, по мере того как они цивилизуются, а следовательно по мере того как они больше упражняются в подражании. Человечество походит в этом отношении на индивида. Никто не будет отрицать, что дитя есть настоящий сомнамбул, сон которого с возрастом усложняется до того, что оно начинает считать себя разбуженным этой сложностью. Но оно заблуждается. Когда десятилетний, двенадцатилетний мальчик переходит из семейства в училище, то ему сначала кажется, что он освободился от влияния магнетизма, пробудился от того почтительного сна, в котором пребывал до сих пор, благоговей перед своими родителями. Вовсе нет; он становится еще более исполненным благоговения, еще более подражательным, чем когда-либо, и подчиняется влиянию или одного из своих наставников, или скорее кого-нибудь из обаятельных товарищей, так что предполагаемое пробуждение оказывается лишь переменой или наложением одного сна на другой. Когда *магнетизирующая мода* заменяет собою *магнетизирующий обычай*, начинается обыкновенный симптом социальной революции, происходит аналогичное явление, только в более широких размерах.

Прибавим однако, что чем более умножаются влияния примера, чем более они разнообразятся вокруг индивида, тем слабее интенсивность каждого из них и тем определеннее он делает из них выбор, с одной стороны предпочитая одни из них другим, сообразно с свойственным ему характером, а с другой — действуя на основании некоторых логических законов, которые мы изложим в другом месте. Таким образом становится совершенно очевидным, что прогресс цивилизации влечет за собою то следствие, что делает порабощение подражанию все более и более *личным* и в то же время все более и более *рациональным*. Оказывается, что мы находимся в таком же порабощении у окружающих нас примеров, как и наши предки, но только мы лучше усваиваем их, благодаря большей логичности в их выборе, большей

индивидуальности, большей сообразности со своими особыми природными наклонностями и с теми целями, которые преследуем, делая это. Но это впрочем не мешает, как мы увидим, проникновению в нас значительной части нелогичных и предрассудочных влияний.

Часть эта замечательно сильна и очень любопытна для изучения у индивида, внезапно переходящего из бедной примерами среды в относительно богатую всякого рода воздействиями среду. И вовсе нет надобности тогда в столь блестящем и ослепляющем предмете, как слава или гений какого-нибудь человека, чтобы усыпить нас. Не только *новичок*, вступающий на школьный двор, но и какой-нибудь японец, какой-нибудь деревенский житель, очутившийся в Париже, повергается в такое изумление, которое вполне можно сравнить с каталептическим состоянием. Их внимание, вследствие увлечения всем тем, что они видят и слышат, а в особенности действиями окружающих их человеческих существ абсолютно отрешает их от всего того, что они видели и слышали до сих пор, даже от поступков и мыслей, свойственных их прошлой жизни. И это вовсе не потому, что у них исчезла память о прошлом; *она так свежа, как никогда прежде* и находится в полной готовности выступить на сцену и действовать со всею галлюцинационной роскошью в подробностях при малейшем напоминании о далеком отечестве, о прежней жизни, о домашнем очаге. Она пришла только в параличное состояние и потеряла всякую самопроизвольность. В этом необычайном состоянии исключительной и крайне сильной внимательности, при сильном напряжении воображения, остающиеся пассивными, эти изумленные, лихорадочно-разгоряченные существа непреодолимо подчиняются *очарованию* их новой среды; они верят всему, если видят, что в это верят другие, делают все, если видят, что это делают другие; и в этом состоянии остаются долгое время. Думать самостоятельно всегда утомительнее, чем думать при помощи другого. Точно так же, всякий раз как человек начинает жить в одушевленной среде, в обществе, ведущем деятельную и разнообразную жизнь, доставляющем ему зрелища, концерты, разговоры, чтение, постоянно все в новом и новом виде, — он постепенно освобождает себя от всякого интеллектуального усилия; оцепеневший и в то же время перевозбужденный ум его, повторяю, впадает в сомнамбулистическое состояние. Такое умственное состояние свойственно многим горожанам. Движение и уличный шум, выставка товаров в магазинах, непомерное и принудительное беспокойство о своем существовании действуют на них как магнетические пассы. Но разве городская жизнь не есть по преимуществу концентрированная, социальная жизнь?

Если, наконец, даже они сами становятся в свою очередь *примерными*, то разве это также не вследствие подражания? Представьте

себе сомнамбула, простирающего подражание своему медиуму до такой степени, что сам он становится медиумом для третьего, подражающего в свою очередь ему, и так далее... Не в этом ли состоит социальная жизнь? Такой каскад последовательных, сцепляющихся взаимно магнетизаций есть общее правило, а взаимная магнетизация, о которой я сейчас говорил, — только исключение. Обыкновенно какой-нибудь обаятельно-действующий человек дает импульс, отражающийся тотчас же на тысячах людей, копирующих его во всем и заимствующих у него его обаятельность, благодаря которой они сами действуют на миллионы дальше стоящих людей. И только тогда, когда это действие, направленное сверху вниз, истощится, можно будет заметить — в демократические времена — возникновение нового действия: миллионы людей коллективно начинают обмороачивать своих старых медиумов, заставляя их слушаться своей волшебной палочки. Если всякое общество представляет некоторую иерархию, то это потому, что всякое общество представляет *каскад*, о котором я сейчас говорил и которому иерархия должна соответствовать, чтобы *быть устойчивою*.

Повторяю, впрочем, что вовсе не страх, не насилие победителя, а удивление, блеск ощущаемого властного превосходства производят социальный сомнамбулизм. Поэтому-то случается иногда, что и победитель оказывается намагнетизированным со стороны побежденного, подобно тому, как какой-нибудь предводитель дикарей, очутившийся в большом городе, или как какой-нибудь плебей, попавший в аристократический салон нашего века, весь обращающийся в слух и зрение, «очаровывающийся» или «робеющий», несмотря на всю свою гордость. Но ведь глаза и уши у него только и существуют, что для всего занимательного, а потому он их раб, и всегда. Действительно, своеобразная смесь анестезии с гиперэстезией чувств есть преобладающая черта в гипнотике; поэтому он копирует все обычаи этого нового мира, его язык, его произношение. В таком положении очутились германцы в Римском мире. Они забывают немецкий язык и говорят по латыни, пишут гекзаметром, моются в мраморных римских банях и называют себя патрициями. В том же положении были и сами римляне, вступившие в побежденные их оружием Афины. То же надо сказать о гиксах, завоевавших Египет и обращенных в рабство его цивилизацией. Но какая надобность копаться в истории? Оглянемся вокруг себя. Тот род внезапного паралича мысли, языка, рук, то глубокое расстройство во всем существе, то невладение собою, которое называют *робостью*, заслуживало бы особенного изучения. Оробевший от чьего-нибудь взгляда перестает быть самим собою, становится сговорчивым и податливым; он чувствует надобность

и хочет противиться, но достигает лишь того, что кое-как, неловко оправляется, делается в состоянии нейтрализовать внешний толчок, но не может возвратить себе способность произвести толчок в свою очередь. Может быть, согласится со мной, что это своеобразное состояние, через которое в большей или меньшей степени проходили все мы в известном возрасте, представляет очень значительное сходство с сомнамбулистическим состоянием. Но когда робость прошла, когда, как говорится, чувствуют себя, как дома, то значит ли это, что кончилась и гипнотизация? Далеко нет! Быть в обществе «как дома», это значит попасть в тон, поддаться настроению этого общества, говорить его своеобразным языком, копировать ухватки его людей и, наконец, беспрепятственно отдаться на волю всем этим многочисленным потокам влияний, окружающих нас, с которыми мы тщетно боролись прежде, и до такой степени всему этому подчиниться, что потерять даже всякое сознание о своем плене и рабстве. Робость есть сознательная магнетизация, а следовательно, неполная, и может быть сравниваема с тем полусном, который предшествует глубокому сну и в котором гипнотик говорит и движется. Это есть *возникающее социальное состояние*, представляющееся всякий раз при переходе из одного общества в другое или при входе во внешнюю социальную жизнь после выхода из семьи. Вот, может быть, почему люди, называемые дикими, т. е. особенно неподатливые ко всякой ассимиляции и истинно неспособные к социальной жизни, остаются боязливыми во всю свою жизнь, остаются мало поддающимися гипнозу субъектами: и наоборот, кто никогда не чувствовал неловкости, никогда ничем не затруднялся, кто никогда не испытывал застенчивости в собственном смысле, ни во время появления своего в светской гостиной, ни при вступлении на двор училища, кто не чувствовал подобного же столбняка во время своего первого публичного появления в качестве ученого или художника всякого рода (потому что смущение, производимое на нас мыслью о посвящении себя новому делу, служению, ужасающая трудность предстоящего копирования всякого рода обрядностей — все это вполне сходно с *робостью*, с *застенчивостью*), тот не принадлежит ли к числу в высшей степени способных к социальной жизни, к числу превосходных копиистов, т. е. лишенных всякого призвания, всякой любимой идеи, обладающих удивительной китайской или японской способностью весьма быстро выливаться в форму, представляемую окружающей их обстановкой, представляющих из себя также и первосортных гипнотиков, чрезвычайно легко поддающихся усыплению? Под именем уважения застенчивость, по всеобщему признанию, играет в социальном отношении громадную роль, дурно иногда понимаемую, но никогда не преувеличиваемую.

Уважение — это не страх, не любовь и не сочетание того и другого, хотя бы оно было и *любимым страхом* со стороны того, кто его испытывает. Уважение прежде всего есть *впечатление примера* одного лица на другое, физиологически *поляризованное*. Без сомнения, надо различать сознаваемое нами уважение от такого, в котором нам стыдно признаться перед самими собой. Но приняв во внимание это различие, мы увидим, что все, кому мы подражаем, пользуются и нашим уважением, и что всем, кого уважаем, мы и подражаем или стремимся подражать. Нет более верного признака перемещения социального авторитета, как отклонение в потоке подражания. Светский человек, употребляющий слова рабочего, подражающий его небрежности, и светская женщина, воспроизводящая напевы известной актрисы, питают к рабочему или актрисе гораздо больше уважения, чем они думают. Да и какое общество могло бы прожить хоть бы один день без всеобщего и непрерывного кругообращения уважения под обеими указанными формами?

Но я не хочу настаивать более на предыдущем сопоставлении. Как бы то ни было, я надеюсь, что по крайней мере дал почувствовать, что этот существенный социальный факт, каким он мне представляется, требует для своего понимания знания бесконечно деликатных мозговых явлений и что социология, по-видимому столь понятная, столь неглубокая при первом взгляде, держится своими корнями за психологию, за самую сокровенную и темную для нас физиологию. *Общество — это подражание, а подражание — род гипнотизма* — так можно выразить вкратце содержание этой главы. В том, что касается второй части положения, я прошу читателя разделить это преувеличение. Я должен также устранить одно возможное возражение. Пожалуй, мне скажут, что подчиняться влиянию — это не значит всегда следовать примеру того, кому мы повинемся или кому мы верим. Но верить в кого-нибудь — не значит ли это всегда верить в то, во что он верит или по-видимому верит? Повиноваться кому-нибудь — не значит ли это всегда желать того, чего он хочет или по-видимому хочет? *Изобретения не делаются по приказу*, и нельзя убеждением заставить сделать открытие. Быть доверчивым и послушным и быть им в высокой степени, как гипнотик или как человек в качестве социального существа — это значит прежде всего быть подражателем. Чтобы придумать что-нибудь новое, чтобы открыть что-либо, чтобы пробудиться на мгновение от своего сна семейного или национального, индивид должен хоть на короткое время вырваться из общества. И в то время, как он обладает этой столь редкой храбростью, он является скорее сверхсоциальным, чем социальным существом.

Еще одно последнее слово. Мы сейчас видели, что у сомнамбулов или у квазисомнамбулов память чрезвычайно свежа, а равно и привычки (мускульная память, как сказали мы выше), между тем как доверчивость и послушание доведены до крайней степени. Другими словами у них подражание самим себе (в самом деле, память и привычка не есть что-нибудь иное) столь же заметно, как и подражание другим. Нет ли связи между этими двумя явлениями? «Мы не можем это яснее понять, — настойчиво говорит Маудсли, — как предположив, что в нервной системе есть врожденное стремление к подражанию». Если это стремление присуще последним нервным элементам, то позволительно делать догадку, что отношения одной клеточки к другой, внутри того же самого мозга, пожалуй могли бы представлять аналогию со странным отношением между двумя мозгами, из которых один действует обворожительным образом на другой, и подобно этому состоят в частной поляризации верования или желания, заключенных в каждом из этих элементов. Таким образом могли бы, пожалуй, получить объяснение некоторые странные факты, как, например, самопроизвольное размещение образов в сновидении, сочетающихся между собою, следуя известной логике, очевидно подчиняясь власти одного из них, особенно важного и задающего тон всему, что без сомнения зависит от преобладающего значения того нервного элемента, в котором он пребывал или из которого вышел¹.

ГЛАВА 4

ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ?

Археология и статистика

Чтобы самым естественным путем прийти к установлению законов подражания, займемся двумя совершенно несходными между собою областями исследований, пользующимися в наше время большим почетом, именно работами археологов и статистиков. Мы сейчас покажем, что эти исследователи, по мере того как они продвигаются по пути своих полезных и плодотворных изысканий, против своей воли оказываются вынужденными смотреть на социальные явления почти с такой же точки зрения, как и наша, и что в этом отношении общие, сразу бросающиеся в глаза, выводы этих наук, или лучше этих двух столь различных методов, представляют замечательное согласие. Займемся сперва археологией.

I

Если в какой-нибудь галло-римской гробнице или в пещере каменного века археолог отыщет рядом с разною домашнею утварью человеческие черепа, то утварь он возьмет себе, а черепа отошлет к антропологу, потому что сам он занимается только цивилизациями, тогда как товарищ его — только расами. Разумеется, области их занятий могут соприкасаться или даже вторгаться одна в другую, но тем не менее они совершенно различны, так же различны, как горизонтальная и вертикальная линии, даже в общей их точке пересечения. Действительно, один из них знать не хочет и нисколько не заботится о биографии изучаемого им Неандертальского или Кроманьенского человека, а хлопочет лишь о том, чтобы распознать в том или другом черепе, в том или другом скелете один и тот же расовый признак, размножившийся путем воспроизведения и наследственности, но начавшийся с какой-нибудь индивидуальной особенности, до которой ему хочется, но часто не удается добраться; в свою очередь другой, часто также на три четверти не зная имен этих, обратившихся теперь

¹ Этот взгляд согласуется с основной мыслью, развиваемой Поганом (Paulhan) в его глубоко продуманной книге об умственной деятельности (1889).

в прах покойников, завещавших ему свое имущество и тем как бы загадавших ему загадку, ищет здесь лишь указаний на ремесленные или художественные приемы, на догматы и священные обряды, на житейские потребности или характеристические верования, насколько говорит об этом содержимое гробницы; ищет слов и грамматических форм, словом — всего, что передается и лучеобразно распространяется подражанием, исходя от какого-нибудь одного, почти всегда неизвестного изобретателя, и временным носителем чего был этот, извлеченный теперь из земли, мертвец, представлявший собою просто лишь место пересечения нескольких таких лучей подражания. По мере своего погружения в глубь прошедшего, археолог все более и более теряет из виду всякую индивидуальность; за пределами XII в. ему уже редко приходится иметь дело с манускриптами, хотя, впрочем, и самые эти рукописи, по большей части официальные бумаги, интересуют его преимущественно своим безличным характером. Еще далее, предметом его догадок являются уже только здания и их развалины, и наконец — один только горшечный или бронзовый мусор, кое-какое оружие или кремневые инструменты. И каково же бывает наше удивление при виде этого богатства данных, обилия выводов и бесценных указаний, извлекаемых из недр земли этими бескорыстными кладоискателями нашего времени — в таком с первого раза непривлекательном виде, и находимых ими всюду, где удалось им покопаться своим заступом — в Италии, Греции, Египте, Малой Азии, Месопотамии или Америке! Было время, когда археология, подобно нумизматике, являлась простою служанкою прагматической истории, когда нынешние работы египтологов могли бы цениться лишь настолько, насколько они подтверждают какой-нибудь отрывок папируса; но в настоящее время их роли совершенно переменились. Теперь историки оказываются лишь второстепенными проводниками и помощниками раскопщиков, сообщающих нам то, о чем первые умалчивают; указывающих нам, так сказать, на все подробности флоры и фауны тех стран, который рисуют нам эти пейзажисты, говорящих нам о всей роскоши и гармоничной правильности жизни, совершенно пропадающей в этой живописи. Благодаря им, мы теперь знаем, из какого сплетения своеобразных идей, профессиональных и гиератических тайн и секретов — с особыми в каждом случае потребностями могло составиться то, чему летописцы присваивают имя Римлянина, Этруска, Грека, Египтянина или Перса; они же дают нам возможность разглядеть, как под грудой разных насилий, называемых нашествиями, завоеваниями, революциями и считаемых за выдающиеся исторические события — как подо всем этим изо дня в день неопределенно распространялись и друг на друга отлагались осадки истинной ис-

тории и каким образом шло наслоение последовательных открытий, распространявшихся по всему свету, подобно заразе. Таким образом, они ставят нас на такую точку зрения, с которой нам гораздо лучше видно, что все эти несходные между собою, насильственные явления, нагроможденные неправильными рядами, подобно грядам гор, просто служили лишь для того, чтобы облегчить или затруднить, стеснить или расширить, в более или менее плохо разграниченных местностях, правильное и спокойное распространение тех или других гениальных идей. И подобно тому как Фукидид, Геродот, Тит-Ливий являются в глазах антиквариев лишь простыми проводниками, хотя и полезными, но очень склонными ко лжи; так и герои первых — вожди, государственные люди, законодатели могут считаться лишь бессознательными слугами, часто только мешающими делу тех бесчисленных и неизвестных изобретателей, которых открывают нам вторые, определяющие так старательно время появления, описывающие самую колыбель этих изобретателей бронзы, весла и паруса, ткацкого искусства или письма. Отсюда не следует, впрочем, что великие полководцы не обладали иногда новыми и блестящими идеями, представляющими собою настоящие изобретения в широком смысле этого слова, но «их изобретения никогда не назначались для подражания». Все эти планы кампаний и разного рода мирные договоры, все эти законы, постановления, государственные перевороты, и как бы еще их не называли, занимают свое место в истории лишь настолько, насколько они способствовали внесению одних или вытеснению других родов изобретений, всегда назначенных для мирного распространения путем подражания. История не занималась бы военными упражнениями при Марафоне, при Арбеллах или при Аустерлице и смотрела бы на них лишь как на ловко сыгранные шахматные партии, если бы одержанные здесь победы не имели всем известного влияния на распространение в Азии или Европе греческих наук и искусств, или французских учреждений. История, в том виде, как ее обыкновенно понимают, в сущности есть не что иное, как содействие или препятствие, оказываемое со стороны изобретений, не назначенных для подражания¹ и имеющих лишь временную полезность, — совокупности изобретений, назначенных для неограниченного никакими пределами подражания и вместе с тем полезных. Что же касается до «непосредственного влияния» на возникновение последних, то первые способствовали этому не более, чем поднятие Пиринеев могло вызвать появление серны

¹ Если же им подражали, то только против воли их авторов; таково, например, было обходное движение при Ульме, которое немцы сумели скопировать и так ловко употребить против племянника Наполеона.

или поднятие Андов — снабдило крыльями кондора. Но косвенное их действие, без всякого сомнения, значительно: так как всякое изобретение в конце-концов не что иное, как особого рода встреча в чьем-нибудь мозгу разнородных подражаний, то все то, что открывает новые отверстия для различных подражательных течений, тем самым стремится увеличить число шансов встречи подобных случайностей¹.

Но я должен отклониться в сторону, чтобы предупредить одно возражение. Мне могут сказать: вы преувеличиваете человеческую стадность и ее социальное значение, так же как и значение изобретающего воображения. Человек изобретает не ради удовольствия изобретать, но отвечая на сознаваемую потребность. Гений рождается, когда настает его час. Поэтому необходимо отмечать главным образом потребности, а не изобретения; так что цивилизация есть смена потребностей, равно как накопление и последовательная смена ремесел и искусств. С другой стороны, человек и подражает вовсе не ради удовольствия подражать: то своим предкам, то чужеземцам, своим современникам. Из всех изобретений, доступных для подражания, из всех открытий или теоретических идей, доступных для усвоения (т. е. умственного подражания), он подражает и усваивает чаще всего или все более и более те, которые кажутся ему полезными или истинными. Таким образом, социальный человек характеризуется не склонностью к подражанию, а стремлением к пользе или истине; поэтому цивилизация могла бы быть определена, как возрастающая утилизация работ, возрастающая проверка идей, что гораздо лучше определения ее как возрастающей ассимиляции мускульной и мозговой деятельности.

Чтобы ответить на это, я напомним прежде всего, что потребность в каком-нибудь предмете не может предшествовать представлению о нем, а потому никакая социальная потребность не могла предшествовать изобретению, которое только и позволило сообразить, какие продукты, орудия и способы пользования могут удовлетворить ее. Правда, что это изобретение было ответом на какое-нибудь смутное желание, как, например, идея электрического телеграфа была ответом на давно поднятый вопрос о более быстром письменном сношении; но телеграф сделался социальным явлением не прежде, как идея эта получила особый вид, причем возникшее желание распространилось и укрепилось, да и сам он, между прочим, разве не развивался постепенно путем изобретения, или целого ряда более ранних изоб-

¹ Пример косвенного влияния подражания на изобретение: вследствие все более и более распространяющейся привычки ездить на воды, оказалось весьма выгодным отыскивать новые минеральные источники, а потому в *одной только Франции* в промежуток времени от 1863 до 1888 года появилось 234 новых источника.

ретений, какими, в данном случае, были учреждение почт, а затем устройство оптического телеграфа? Я не исключаю даже физических потребностей, которые также становятся общественными силами, лишь специализировавшись аналогичным образом, как я имел уже случай заметить. Слишком очевидно, что потребность курить, пить кофе, чай и пр. явились только после открытия кофе, чаю, табаку. Возьмем другой пример из тысячи подобных же: «Одежда не вытекает из чувства стыдливости, — справедливо замечает Винер (*Перу*), — напротив того, стыдливость появляется вслед за появлением одежды: иначе сказать, платье, скрывающее ту или другую часть человеческого тела делает неприличным обнажение этой части, так как ее привыкли видеть закрытою». Другими словами, потребность в одежде, поскольку она представляется общественной потребностью, имеет причину изобретения платья, и платья известного рода. Следовательно, далеко не будучи простым результатом социальных нужд, изобретения являются их причиной, и я не думаю, что я преувеличил их значение.

Если вообще изобретатели в данный момент направляют свое воображение в сторону, указываемую им неясными потребностями общества, то не надо забывать, что общество — повторяю — было настроено в смысле этих потребностей предшествующими изобретателями, подчинявшимися в свою очередь косвенному влиянию более древних изобретателей, и так далее, до тех пор пока мы не дойдем до возникновения всякого общества и всякой цивилизации; здесь, в виде первоначальных и без сомнения необходимых данных, мы находим с одной стороны самые элементарные, но зато и самые трудные для понимания, внушения, возникающие из очень немногих врожденных и часто жизненных потребностей; а с другой — что гораздо важнее — какие-нибудь чисто случайные открытия, сделанные из удовольствия открывать и представляющие не более как игру какого-нибудь от природы творческого воображения. Сколько языков, сколько религий, поэтических произведений и даже промыслов начались именно таким образом!

Вот что можно сказать по поводу изобретений. То же самое относится и к подражанию. Не все то, что мы делаем — делаем по привычке или по моде; не всему мы верим только из предрассудка или полагаясь на слово; это несомненно, хотя доверчивость, покорность и пассивность народов далеко превосходит допускаемые пределы. Но если мы подражаем с разбором и обдуманно, если мы делаем только то, что кажется особенно полезным, если верим в то, что кажется наиболее истинным, то люди всегда поступали так же при выборе действий и мыслей для подражания. Без сомнения, эти действия были наиболее способны удовлетворить и развить те нужды, первый заро-

дыш которых заложило в нас подражание другим, предшествующим изобретениям¹; равным образом и эти мысли наилучше согласовывались со сведениями, приобретенными нами от других мыслей, также воспринятых нами вследствие их подтверждения другими идеями, дошедшими до нас раньше, или впечатлениями наших чувств — осязания, зрения и других, которые мы приобрели уже самолично, производя опыты или научные наблюдения, следуя примеру первых наблюдателей-экспериментаторов. Таким образом, подражания, подобно изобретениям, оказываются последовательными звеньями цепи, опирающимися одно на другое, если не каждое на самого себя; и если восходить по этой второй цепи точно так же, как по первой, то мы логически придем, наконец, к подражанию, так сказать *родившемуся из самого себя*, к умственному состоянию первобытных дикарей, среди которых, как у детей, удовольствие подражать ради подражания является побудительной причиной большинства поступков, и именно всех тех, которые относятся к социальной жизни. Таким образом, я нисколько не преувеличил важности подражания.

II

Итак, слабое и причудливое изобретающее воображение, рассеянное там и сям в мире пассивной *подражательности*, воспринимающей и увековечивающей все капризы этого воображения, подобно тому как волнение озера распространяет удар крыла какой-нибудь птицы, — вот картина первобытного общества, как она представляется нашему уму. И мы думаем, что она вполне подтверждается исследованиями археологов. «Тэйлор справедливо замечает, — говорит Мэн в своих *Institutions primitives*, — что главнейший результат новой науки — сравнительной мифологии — заключается в том, что она ясно показала, как *бесплодна* была в первобытные времена та способность ума, которую мы считаем главнейшим условием умственной плодотворности, т. е. воображение. Сравнительное право неизбежно приводит к тому же заключению, чего и можно было ожидать вследствие

¹ В выборе своей карьеры и своего учения, своих действий и идей, всегда скопированных с другого, руководствуются не только характером потребностей или предначертанным планом, но также еще характером соответствующих законов страны, например, запрещением известного промысла или свободного обмена, или обязательного обучения той или другой отрасли знания. Но законы влияют на подражание в сущности точно так же, как потребности и намерения. Эти последние управляют нами подобно первым, и между тем и другим родом управления существует лишь та разница, что один является внешним, а другой внутренним тираном. Сверх того, законы суть лишь выражение потребностей или намерений, преобладающих в правящем классе в данный момент, потребностей и намерений, всегда объяснимых указанным способом.

значительной устойчивости законов и обычаев». Это замечание требует лишь обобщения. Например, что может быть проще изобретения Фортуны с рогом изобилия или Венеры с яблоком в руках? Однако же Павзаний берет на себя труд объяснить нам, что первый из этих атрибутов был придуман самостоятельно Бупалом, одним из древнейших скульпторов Греции, а второй Канахусом, скульптором эгинским. От незначительной идеи, мелькнувшей в уме этих двух людей, происходят, следовательно, все бесчисленные статуи Фортуны и Венеры с указанными атрибутами.

Другая столько же важная, но менее замеченная услуга археологов заключается в том, что, по их исследованиям, человек в древние эпохи далеко не был столь герметически замкнутым в своих традициях и местных обычаях, как это допускали до сих пор; что он гораздо более был склонен к подражанию всему внешнему и восприимчив в отношении чужеземных мод, как-то: украшений, оружия, даже учреждений и промыслов. Поистине поражаешься, когда видишь, что известное из древних веков такое бесполезное вещество, как амбра, привозится с берегов Балтийского моря, ее местонахождения, к оконечностям южной Европы, и когда убеждаешься в сходстве украшений могил того же времени в весьма отдаленных друг от друга местах и при том населенных различными расами.

«В одну и ту же очень отдаленную от нас эпоху, — говорит Мори (*Journal des savants*, 1882 г.), — по приморским провинциям Малой Азии, в Архипелаге и Греции было распространено одно и то же искусство, насколько можно судить по его произведениям, что мы заметили только недавно. В этой школе по-видимому воспитывались и этруски. Каждая нация изменяла заимствованные принципы соответственно с своим гением». Наконец, в доисторические времена, даже самые первобытные, мы с удивлением замечаем, что кремневые орудия, рисунки, костяные инструменты, повсюду были одного и того же вида, почти на всем протяжении земного шара¹.

По-видимому всякий законченный археологический период характеризуется преобладающим обаянием какой-нибудь одной

¹ В поразительном сходстве топоров, наконечников стрел и другого рода оружия или инструментов, открытых в Америке и на Старом континенте, можно было бы видеть с первого взгляда факт простого совпадения, легко объяснимый одинаковостью человеческих потребностей, касающихся войны, охоты, одежды и пр. Но мы знаем уже, какие возражения можно сделать против такого объяснения. Припомним тот факт, что в Мексике были найдены полированные топоры, наконечники стрел, даже идола из нефрита или почечного камня, горной породы абсолютно неизвестной на всем материке Америки. Не доказывает ли это, что начатки цивилизации были занесены из Старого континента в Новый в эпоху *каменного века*? Для позднейших веков это занесение сомнительно. (См.: *Nadaillac. L'Amérique préhistorique*. С. 542).

цивилизации, покрывавшей своими лучами и сообщавшей свой оттенок всем другим, соперничествовавшим с нею или зависевшим от нее цивилизациям, почти так же как всякий палеонтологический период представляется царством одного какого-нибудь главного вида животных — моллюска, пресмыкающегося, толстокожего.

Археология может сообщить нам еще, что люди всегда были гораздо менее оригинальными, чем они это думают, льстя самим себе. Обыкновенно мы не замечаем того, на что не обращаем внимания, и не обращаем внимания на то, что видим постоянно. Вот почему лица наших соотечественников, среди которых мы живем, поражают нас своим несходством и своими резко различными чертами, хотя они принадлежат к одной и той же расе, особенности которой не заметны для наших глаз; и вот почему, путешествуя по свету, мы находим, как раз наоборот, что все арабы, все китайцы, все негры как нельзя более похожи один на другого. Скажут, может быть, что истина занимает середину между этими двумя противоположными впечатлениями. Но здесь, как почти и везде, этот метод золотой середины оказывается ошибочным. Действительно, причина иллюзии, до некоторой степени ослепляющей человека, неотлучно живущего среди своих сограждан, не омрачает глаз путешественника по чужим странам. Поэтому есть полное основание допустить, что впечатления этого последнего будут вернее, чем первого, и это ясно показывает нам, что у индивидов одной и той же расы черты сходства, обуславливаемые наследственностью, всегда преобладают над чертами различия. Если мы перейдем от *жизненного* мира к миру социальному, та же самая причина объяснит нам следующие явления: когда мы рассматриваем на наших выставках картины или статуи наших художников и скульпторов, когда читаем в библиотеке текущую литературу, когда наблюдаем манеры и жесты, слышим остроути наших друзей и знакомых в наших салонах, нам всегда прежде всего бросается в глаза кажущееся различие, но отнюдь не их сходство. Но когда в музее Кампана мы бегло осматриваем произведения этрусского искусства, когда в первый раз проходим по галереям голландской, венецианской, флорентийской или испанской живописи и видим картины одного и того же века и одной и той же школы, когда в наших архивах мы рассматриваем средневековые манускрипты или когда в музее древнего искусства представляются нашим глазам египетские усыпальницы, — нам кажется тогда, что перед нами многочисленные, трудно различимые копии одной и той же модели и что, собственно говоря, в прежнее время все рукописи, все школы живописи, скульптуры и архитектуры, словом, все способности жить социально в одно и то же время и в одной и той же стране до такой степени походили друг на друга, что их легко принять одно

за другое. Заметим еще раз, что это вовсе не ошибочное представление, и мы должны были бы по аналогии прийти к заключению, что и в наши дни мы бесконечно больше подражаем, чем выдумываем вновь. Археологические исследования в этом отношении могут служить хорошим уроком. Лет через сотню, наверное, почти все эти романисты, художники, особенно поэты, копирующие по большей части Виктора Гюго, подобно настоящим обезьянам из рода *лемуров*, и оригинальностью которых мы наивно гордимся, будут признаны, и вполне справедливо, за рабских копировщиков друг друга.

В предыдущей главе мы пытались установить, что всякое или почти всякое социальное сходство происходит от подражания, как всякое или почти всякое жизненное сходство имеет своею причиной наследственность. Этот столь простой принцип был не явным образом единогласно принят за путеводную нить археологами нашего века, в полном мрака лабиринте их обширных подземных раскопок, и по услугам, какие он уже оказал им, можно догадываться о тех, которые он способен еще им оказать. Открыта старая этрусская гробница, украшенная фресками: как определить ее век? Что служит содержанием живописи? Эти вопросы разрешают, отыскивая часто едва заметные, почти неуловимые черты сходства этих рисунков с другими рисунками заведомо греческого происхождения, откуда непосредственно заключают, что Греция была уже предметом подражания для Этрурии в ту эпоху, когда сделан был этот склеп. Объяснять это сходство случайным совпадением не приходит на ум. Такого положение, служащее путеводителем в этих вопросах, и в руках проницательных людей никогда не обманывающее. Слишком часто, правда, увлекаемые предрассудками натуралистов нашего времени, ученые не ограничиваются тем, что, основываясь на этом сходстве, заключают о подражании, но выводят из этого заключение о родстве. Например, когда при раскопках, произведенных в Эсте, в Венеции, найдены были вазы, урны и другие предметы, представляющие странное сходство с такими же предметами, добытыми при раскопках в Вероне, Беллуно и в других местах, то Мори склонен был думать, что строители этих различных гробниц принадлежали к одному народу — предположение, по-видимому, ничем неоправдываемое; но он позаботился прибавить: «или по крайней мере к народностям, соблюдавшим одинаковые погребальные обряды и имевшим одинаковые ремесленные приемы», что совершенно не одно и то же. Во всяком случае, весьма вероятно, что так называемые северные или венецианские этруски, если только в их жилах была этрусская кровь, сильно смешивали ее с кельтической. Между прочим, Мори замечает по этому поводу о влиянии, которое цивилизованная нация всегда обнаруживала, даже без завоевания,

на своих соседей, варваров. «Галлы Цизальпинской Галлии, — говорит он, — видимо подражали работе этрусской». Таким образом сходство художественных произведений ничего не говорит в пользу единокровности и указывает только на подражательную восприимчивость.

Чтобы связать неизвестное с известным во всем, что касается форм, стилей, сцен, надписей, состоящих из фигур, языков, одежды и пр., археологам приходится отыскивать тайну исчезнувших поколений в самых отдаленных, в самых недоступных для взора непосвященного аналогиях; и они научились находить всюду самые неожиданные сближения, из которых одни достоверны, а другие правдоподобны, причем вероятность их колеблется в очень широких пределах. Этим они отлично воспользовались для расширения и углубления области человеческой подражательности и были в состоянии почти безошибочно проследить, в запутанном пучке подражаний разным народам, цивилизацию каждого данного народа, даже самую своеобразную на первый взгляд. Они знают, что арабское искусство, отличающееся столь резкими чертами, является однако ж простым смещением персидского и греческого; что греческое искусство заимствовало те или другие приемы от египетского и, может быть, из других источников, и что, наконец, египетское искусство произошло или сложилось из многочисленных заимствований в Азии или даже в Африке. Этому археологическому разложению цивилизаций нельзя поставить заранее никакого предела; нет социальной частицы, которую археологическая химия не побоялась бы разложить на более простые атомы. Пока работы археологов свели число неразложимых центров цивилизации к трем или четырем в Старом Свете и к одному или двум в Новом; и центры эти расположены, как это ни странно, здесь на плоскогорьях (Мексика, Перу), там при устье или по берегам больших рек (Нил, Эфрат, Ганг, китайские реки), хотя громадные водные пути, по справедливому замечанию де Кандоля, в Америке встречаются не реже и оказываются не более вредными для здоровья, чем в Европе и Азии, и хотя в этих последних частях света также имеются пригодные для жизни плоскогорья. Таким образом в этом обнаруживается произвол первых цивилизаторов или вносителей цивилизации в выборе места разбивки их палаток. И быть может наши цивилизации, зародившиеся здесь, до самой своей смерти будут носить неизгладимый отпечаток этого первобытного каприза!

Благодаря археологам, мы знаем, где и когда появилось в первый раз новое открытие, до какой границы и до какой эпохи распространялись его лучи и какими путями дошло оно от места своего появления в свое второе отечество. Они возводят нас, если не до первого

горна, из которого вышла бронза или железо, то по крайней мере до первой страны, до первого века, где, справедливо изумляя мир, появились: искусство делать своды, живопись масляными красками, книгопечатание, а в эпоху еще более древнюю — ордена греческой архитектуры, финикийская азбука и проч.

Все их любопытство¹, вся их деятельность уходят на то, чтобы проследить данное изобретение во всех его изменениях и многочисленных переодеваниях, чтобы узнать в монастыре — атриум, в римской церкви — преторию римского магистрата, в курульном кресле — этрусский стул; или же на то, чтобы определить границы той области, где данное изобретение постепенно распространялось и которых оно не могло переступить по неизвестным причинам, определить которые тоже предстоит им (закрывающимся, по нашему мнению, всегда в конкуренции соперничавших изобретений), или, наконец, на изучение результатов столкновения различных изобретений, встречавшихся, по мере своего распространения, в каком-нибудь одаренном изобретательностью мозгу.

Одним словом, эти ученые может быть бессознательно принуждены бывают смотреть на социальный мир прошлого с точки зрения, все более и более приближающейся к той, на которую, как я думаю, должен стать сознательно и добровольно социолог. В отличие от историков, видящих в истории только действия и столкновения индивидов, т. е. руки, ноги и мозги, и в этих мозгах идеи и желания самого разнообразного происхождения, среди которых то здесь, то там мелькают и новые, уже свои собственные, личные, смешанные в одну кучу с чужими, представляющими простые копии; в отличие от этих плохих истолкователей действительности, не умевших уловить истинную связь между жизненными и социальными явлениями, усмотреть ту точку, начиная с которой они расходятся без разрыва, — археологи создают настоящую социологию, потому что отрываемые ими покойники сами по себе не говорят им ничего, и их исследованию подвергаются лишь одни дела этих мертвецов, архаические следы их идей и потребностей, так что они, согласно идеалу Вагнера, слышат, так сказать, только музыку прошедшего, не видя оркестра. Я знаю, что в их глазах это ограничение является жестоким лишением; но время, разрушившее трупы и память о художниках, мастерах и писателях, чьи надписи они разгадывают, чьи фрески, торсы, черепки ваз, стерты надписи

¹ Я знаю, что любопытство антиквариев часто пусто и суетно. Самые великие из них, такие как Шлиманн, по-видимому, более занимаются открытием того, что касается какого-нибудь знаменитого человека: Гектора, Приама, Агамемнона, чем судьбами главнейших изобретений прошлого. Но импульс и личная цель работников — одно, чистый результат и окончательная польза работы — другое.

они с таким трудом объясняют, оказало им ту услугу, что сохранило для них все то, что было в человеческих делах истинно социального, уничтожив все, что было в них жизненного, отвергнув как нечистое, все телесное и тленное, что заключалось некогда в оболочке, вполне достойной воскресения.

Таким образом, упрощенное и преобразованное, содержание истории состоит для них просто в появлении и развитии, в столкновении или взаимном содействии оригинальных идей, оригинальных потребностей, одним словом — изобретений, которые и становятся таким образом на место великих исторических личностей, являясь действительными двигателями человеческого прогресса. Доказательством того, что эта чисто идеальная точка зрения вполне справедлива, служит ее плодотворность. Действительно, лишь смотря на вещи с этой точки зрения, современный филолог, мифолог, вообще археолог различных специальностей, может, повторяю, развязывать гордые узлы, освещать все темные места истории и, не отнимая у последней ее картинности и красоты, придать ей характер теории. И если история находится теперь на пути к тому, чтобы сделаться наукой, то не археологу ли она обязана этим?

III

Да, ему, а также и статистику. Этот последний, подобно первому, смотрит на человеческие дела вполне отвлеченно и объективно: он не занимается индивидами, Петром или Павлом, но их произведениями или лучше их деяниями, проявлением их нужд и идей, каковы: фабричная промышленность, продажа и купля какого-нибудь товара, преступления и наказания, просьбы о разводе, подача голосов за то или за другое, и даже рождение, бракосочетание, смертность — все, чем обнаруживается индивидуальная жизнь и что соприкасается также известными сторонами с социальной жизнью; на сколько распространение известных примеров, известных предрассудков оказывает влияние на возрастание, более или менее ускоренное или замедленное, числа рождений или браков, на степень плодovitости последних, на смертность новорожденных. Если археология представляет собою собрание и классификацию однородных произведений, возможно точнейшее сходство которых является главным требованием, то статистика есть исчисление однородных деяний — самых однородных, насколько возможно. Искусство состоит здесь в выборе единиц, которые тем лучше, чем более они сходны и равны между собою. Чем занимается статистика, подобно археологии, как не изобретениями и не *подражательными воспроизведениями* их? Только одна име-

ет дело с изобретениями большею частью мертвыми, истощившимися вследствие самого своего распространения, а другая с изобретениями живыми, часто новыми и современными, которым предстоит еще распространяться и постоянно развиваться, или остановиться, и клониться к упадку. Одна представляет собою социальную палеонтологию а другая — социальную физиологию. В то время как первая говорит нам, как далеко и с какою быстротою финикийские корабли развозили греческую посуду по берегам Средиземного моря и еще далее, вторая сообщает нам, до каких островов Океании, насколько близко к северному или южному полюсу развозят теперь британские корабли английские ситцы и, сверх того, какое число аршин его они вывозят и продают таким образом ежегодно. Необходимо заметить однако, что область изобретений, по-видимому, более свойственна археологии, область же подражания — статистике. Насколько первая занимается восстановлением взаимной связи последовательных открытий, настолько вторая стремится главным образом определить распространение каждого из них. Область археологии более философична, область статистики более научна.

Правда, метод этих двух наук совершенно обратный; но это касается их внешних рабочих условий. Одна долго изучает разбросанные по разным местам образчики одного и того же искусства, прежде чем решиться строить предположение о происхождении и эпохе основного ремесла, из которого оно развилось; она должна изучить все индоевропейские языки, прежде чем связать их с их общим отцом — арийским языком, или с их старшим братом — санскритским; вообще она лишь с большим трудом восходит от изобретений к их источнику. Другая, почти всегда знающая источники и измеряющая их развитие, переходит от причин к следствиям, от открытий к их более или менее значительным успехам в зависимости от времени и места, или страны. Она сообщит вам, посредством последовательных записей, что с тех пор как открытие паровых машин стало распространять и постепенно усиливать во Франции потребность в каменном угле, добыча этого продукта в этой стране следовала совершенно правильной прогрессии, и с 1759 до 1869 года возросла в 62,5 раза. Она сообщит также, что со времени изобретения свекловичного сахара, или лучше с того момента, когда перестали оспаривать пользу этого изобретения, фабрикация нового продукта потребления возрастала не менее правильно, и с 7 млн кг в 1828 г. (до этого времени она почти не двигалась по указанной уже причине) через тридцать лет достигла 150 млн кг (Мориц Блок). Я выбираю примеры самые неинтересные, и однако ж не присутствуем ли мы, благодаря этим сухим цифрам, при возникновении, постепенном росте и укреплении новой потребности, новой привычки

в обществе? Вообще, нет ничего поучительнее хронологических таблиц статистиков, где из года в год они показывают нам постепенное увеличение или уменьшение какого-нибудь потребления, или какого-нибудь специального производства; усиление или ослабление какого-нибудь политического мнения, как оно выразилось при подаче голосов; усиление или ослабление потребности оградить себя от случайностей, как оно выразилось в страховании от пожаров, или в книжках сберегательных касс и проч.; т. е. показывают в сущности всегда судьбы какого-нибудь верования или какого-нибудь желания, заимствованного и скопированного.

Каждая из этих таблиц или, лучше, каждая из представляющих их графических кривых являются своего рода историческою монографией, а все они вместе представляют наилучшую историю, какую только можно написать. Синхронические таблицы, дающие сравнения по странам или по провинциям, представляют обыкновенно гораздо менее интереса. Рассмотрим, как материал для философского размышления, французскую карту преступности по департаментам и графическую кривую возрастания рецидивов за пятидесятилетний период. Или сопоставим отношение городского населения к сельскому, по департаментам, с относительными числами того же городского населения по годам. Замечая, например, что с 1851 до 1882 г. отношение, о котором идет речь, увеличилось с 25 до 33 %, т. е. с четверти до трети, следуя правильной и непрерывной прогрессии, вы принуждены будете допустить влияние на это явление определенной социальной причины, между тем как сопоставление отношения в 26 % в одном к отношению в 28 % в другом из соседних департаментов не дает вам ничего особенного. Насколько поучительна таблица, представляющая прогрессирование гражданских похорон за десять лет в Париже и в провинции, на столько сравнение числа таких погребений во Франции, Англии и Германии в данный момент, относительно говоря, не имеет никакого значения. Я не считаю бесполезным сведение о том, что в 1870 г. во Франции было подано 14 млн частных телеграмм, в Германии 11 млн и в Англии 24 млн. Но говорю, что гораздо поучительнее то, что во Франции число депеш с 9 тыс. в 1851 г. возросло до 4 млн в 1859 г., до 10 млн в 1869 г., затем до 14 в 1879 г.; и что нельзя следить за возрастанием этого числа, сначала весьма быстрым, а затем довольно медленным, не вспоминая при этом того, как растет всякое живое существо. Отчего же такая разница? Оттого, что вообще одни лишь кривые, а не карты, хотя бывает много исключений, имеют отношение к подражательному прогрессированию.

Статистика, как мы видим, идет более естественным путем, чем археология, и она совершенно в другом роде точна в сведениях одного

и того же, впрочем, характера, доставленных нам ею. Она представляет собою также, по преимуществу, социологический метод, и только не имея возможности прилагать ее к вымершим обществам, мы прилагаем к ним по необходимости метод археологический. Скольких медалей и заурядных мозаик, надгробных надписей, урн охотно не променяли бы мы на статистику промышленности и торговли или даже преступности в Римской Империи! Но чтобы оказать все ожидаемые от нее услуги, чтобы победоносно ответить на ироническое недоверие, предметом которого она является, необходимо, чтобы статистика, подобно археологии, ясно сознавала как свою действительную полезность, так в то же время и свою действительную недостаточность, чтобы она знала, куда идет, куда должна она идти, и не теряла бы из вида опасности путей, ведущих к ее цели. Сама по себе она есть метод, крайне несовершенный, и допускается только в виду необходимости. Лишь одна психологическая статистика, отмечающая усиление или ослабление в индивидах специальных верований, специальных нужд, создаваемых обыкновенно каким-нибудь новатором, будь она практически возможна, могла бы сообщить глубокий смысл цифрам, доставляемым обыкновенной статистикой¹.

Эта последняя вовсе не взвешивает, она только считает действия, предметы купли, продажи, фабрикации, потребления, преступления, процессы и пр. Но только достигнув известной степени напряженности, то или другое растущее желание переходит в действие, или какое-нибудь ослабевающее желание вдруг обнаруживает под собою и приводит в действие сдерживавшееся до этого момента противоположное желание. То же самое нужно сказать и о верованиях. Чрезвычайно важно, рассматривая работы статистиков, не забывать, что в каждом факте, измеряемом статистически, имеются внутренние качества, верования и желания, и что очень часто явления, представляемые равными числами, имеют весьма различный вес.

В известные эпохи нашего века число посетителей церквей оставалось одним и тем же, между тем как вера постоянно уменьшалась; может также случиться, что в то время как какое-нибудь правительство начинает терять свое обаяние, то и привязанность к нему его сторонников может уменьшиться вдвое, хотя число их останется почти без изменения, как это можно заметить по результатам подачи

¹ Согласно статистике железных дорог, омнибусов, увеселительных пароходов и пр., их сборы правильно уменьшаются еженедельно по пятницам; это свидетельствует очевидно о предрассудке, очень распространенном, но уже и сильно ослабевшем, относительно опасности предпринимать что-то ни было в этот день. Следя из года в год за изменениями в этом периодическом понижении, можно было бы легко определить степень наклонности к упомянутому нелепому предрассудку.

голосов накануне внезапного переворота. Отсюда становится ясной ошибка тех, кто возлагает слишком много надежд или, напротив, приходит в уныние при виде статистических данных о результатах выборов. Приведенные в исполнение подражания многочисленны, но что они значат в сравнении с подражаниями желательными! То, что называют желаниями населения, например, маленького города или какого-нибудь класса в данный момент, складывается исключительно из стремлений, к несчастно еще неисполнимых, подражать во всех отношениях такому-то более богатому городу или такому-то высшему классу. Эта совокупность обезьяньих желаний составляет потенциальную энергию общества. Для того, чтобы превратить ее в деятельную энергию, достаточно будет какого-нибудь торгового договора, нового открытия, а также политической революции, которая делает доступными незначительнейшим кошелькам или незначительнейшим людям ту или другую роскошь, ту или другую власть, до этих пор принадлежавшую лишь счастливым баловням судьбы и ума. Она имеет, следовательно, большую важность, и было бы хорошо постоянно следить за ее изменениями как в крупных, так и мелких явлениях; но незаметно, чтобы рутинная статистика занималась этим и обсуждала это странное колебание, хотя во многих косвенных проявлениях, приблизительная оценка этой энергии может иногда и не превышать ее сил. С этой точки зрения, археология оказывается выше в тех и сведениях о погребенных обществах, которыми мы обязаны ей; ибо, если она с меньшею подробностью и точностью посвящает нас в их деятельность, то она вернее очерчивает нам их стремления. Фреска из Помпеи гораздо лучше открывает нам психологическое состояние провинциального города во времена Римской Империи, чем все тома статистиков, говорящие нам о нынешних желаниях главного города какого-нибудь французского департамента.

Прибавим, что, появившись на свет почти только вчера, и статистика не успела еще выпустить все свои разветвления, между тем как ее более старая сородича разветвилась уже во всех направлениях. В самом деле, существует археология языков или сравнительная филология, описывающая нам особо каждый корень и его судьбу, каждую шутку или остроту случайно слетевшую с античных уст и затем начавшую повторяться и распространяться, благодаря поразительному благоговению пред нею бесчисленных поколений людей. Существует археология религий или сравнительная мифология, занимающаяся отдельно каждым мифом и его бесконечными подражательными изданиями, как филология — каждым словом; археология юридическая, политическая, этнологическая, наконец художественная и промышленная, которая подобным же образом посвящает целые монографии каждой

идее или фикции права, каждому учреждению, каждой черте нравов, каждому типу или созданию искусства, каждому промышленному процессу и свойственной каждому из этих предметов силе воспроизводиться подражанием. Вот сколько разных быстро развивающихся наук! Но чтобы иметь статистические сведения действительно и исключительно только социологического характера, нам следует довольствоваться пока лишь статистикой промышленной и торговой, а также судебной, не говоря о некоторых смешанных сведениях, захватывающих в одно и то же время и мир физиологический, и социальный, какой-ва статистика населения, рождаемости, браков, смертности, болезней и пр. Политическую статистику мы знаем еще только в зародыше — в виде избирательных листов. Что касается статистики религиозной, которая могла бы графически представить нам годовое движение относительного распространения различных сект и служить, так сказать, термометром, показывающим изменение веры в их последователях; а также статистики языкознания, которая должна была бы объяснить нам не только сравнительное распространение различных областных наречий, но, в каждом из них, успех или упадок каждого слова, каждой формы речи, то мы еще боимся вызвать улыбку читателя, продолжая говорить об этих гипотетических науках.

Но мы уже довольно сказали, чтобы оправдать утверждение, что статистик рассматривает человеческие действия с той же точки зрения как и археолог, и что эта точка зрения согласна с нашей. Прежде чем двинуться дальше, резюмируем сказанное в двух словах, рискуя исказить его упрощением. Среди этой бессвязной смеси исторических фактов, сна или загадочного кошмара, ум тщетно ищет какого-нибудь порядка, и не может найти его, так как не желает видеть его там, где он действительно находится. Иногда он придумывает его и, смотря на историю как на поэму, отрывок которой не может быть понят без связи с целым, он отсылает нас, для разъяснения этой загадки, к тому моменту, когда свершатся окончательные судьбы человечества и когда будут в совершенстве познаны его источники самые отдаленные; так что оставалось бы лишь повторить знаменитое изречение: Ignorabimus (нам не суждено познать). Но заглянем за названия и даты сражений и революций, — что увидим мы? Мы увидим известного рода желания, вызванные или доведенный до крайнего возбуждения изобретениями или практическими начинаниями, каждое из которых появляется в одном каком-нибудь месте и оттуда, подобно светящему шару, непрестанно изливает свои лучи, гармонически пересекающиеся с тысячами других аналогичных волнений, многочисленность которых никогда не бывает беспорядком; мы увидим особого рода верования, появившиеся вместе с открытиями и

теоретическими предположениями и точно также лучеобразно распространяющиеся с тою или другою скоростью в тех или других пределах. Порядок, в котором возникают, развиваются и сменяют друг друга эти изобретения и открытия, не имеет ничего произвольного и случайного в широком смысле; но с течением времени вследствие неизбежного уничтожения тех, которые мешают друг другу (то есть в сущности тех, которые более или менее *противоречат* друг другу некоторыми из своих неявных стремлений), в образуемой ими совместной группе водворяется полное согласие и связность. Если мы таким образом будем смотреть на исторический процесс как на распространение волн, расходящихся из определенных фокусов, и как на осмысленное распределение этих фокусов с системой окружающих их волн, то всякая нация, город, всякий, так сказать, самый скромный эпизод исторической поэмы станет живым и индивидуальным целым, являясь поучительным зрелищем в глазах философа.

IV

Если эта точка зрения верна, если она в самом деле может лучше осветить социальные факты, на сколько они поддаются измерению и вычислению, то отсюда следует, что социологическая статистика должна была бы стать на нее не помимо своей воли, но вполне сознательно, и это избавило бы ее, как избавило бы и археологию, от блуждания ощупью и от ненужного записывания того, что не имеет значения. И мы сейчас перечислим главнейшие следствия, которые получились бы отсюда. Во-первых, владея пробным камнем для определения того, что ей принадлежит и что не принадлежит, сознавая, что в ее ведении находится обширная область человеческой подражательности во всей ее целостности, но ничего другого кроме этой области, она предоставила бы, например, натуралистам заботу о собирании таких статистических сведений, которые по своим результатам прямо относятся к антропологии; таковы сведения об освобождении от военной службы в различных французских департаментах или таблицы смертности (я не говорю о рождаемости, потому что здесь окружающие примеры могуче влияют на сокращение или увеличение плодовитости расы). Это — чистая биология, все равно как разные графические методы для наблюдения болезненных явлений при помощи миографа, сфигмографа, пневмографа, которые представляют собою механических статистиков, считающих сокращения мускулов, биения пульса, или дыхательные движения.

Во-вторых, статистик-социолог никогда не упустил бы из виду, что его собственная задача состоит в измерении особых верований, особых желаний и в употреблении наиболее целесообразных прие-

мов, чтобы возможно лучше уловить эти столь трудно поддающаяся наблюдению черты; он помнил бы, что исчисление деяний, насколько возможно сходных между собою (это условие худо соблюдается между прочим и статистикой криминальной), а, за недостатком их, исчисление произведений, например, предметов торговли, также сходных между собою, должно постоянно стремиться к одной конечной цели, или лучше, к следующим двум: 1) к тому, чтобы посредством записывания действий или результатов получить кривую возрастания, стояния на одной высоте или упадка каждой новой или старой потребности, по мере того как они распространяются и укрепляются, или отвергаются и искореняются; 2) к тому, чтобы посредством удачных сближений полученных таким образом рядов чисел, путем выставления на вид сопутствующих им изменений, указать на препятствие, или на большее или меньшее содействие, которое оказывают друг другу эти разнообразные распространяющиеся или уже окрепшие потребности или идеи (смотря по тому, состоят ли они, как это всегда и бывает, из положений, в большей или меньшей степени подтверждающих или отрицающих друг друга), не пренебрегая в то же время и влиянием, которое могут оказать на них пол, возраст, темперамент, климат, время года, естественный условия, сила которых между прочим измеряется физической и биологической статистикой, если таковая существует. Другими словами, для социологической статистики важно: 1) определить подражательную силу, свойственную каждому изобретению в данное время и в данной стране; 2) указать на благоприятные или вредные следствия, вызванные подражанием каждому из них и, следовательно, повлиять на тех, кто познакомится с этими числовыми данными, вызвав в них склонность следовать или не следовать тем или другим примерам. В конце концов, указать или влиять на подражания — вот сущность исследований этого рода. Пример того, каким образом достигалась вторая из этих целей, можно видеть в медицинской статистике, примыкающей к социальной науке, поскольку она дает для каждой болезни число выздоровевших больных, вследствие применения к ним различных приемов и разных средств, открытых в древности или в новейшее время. Она несомненно способствовала, например, повсеместному распространению оспопрививания или лечению чесотки посредством лекарств, убивающих производящих ее насекомых. Статистика преступлений, самоубийств, сумасшествий, показывая, что городская жизнь в широких размерах увеличивает эти недуги, была бы также способна умерить, хотя бы и в слабой степени, широкий подражательный поток, увлекающий жителей деревень в город. Бертильон уверяет даже, что статистика браков могла бы служить поощрением к более широкому распространению этого очень древнего

изобретения, завещанного нам предками — заметим в скобках, более оригинального, чем это думают, — так как она указывает нам меньшую смертность женатых в сравнении с холостыми в том же возрасте. Но мы не будем останавливаться на этом щекотливом предмете.

Из этих двоякого рода задач, на которые я сейчас указал и которые кажутся мне чрезвычайно важными для статистика, вторая могла бы быть разрешена только после первой. Пожалуй, не лишне будет остановиться на этом. Например, часто замечается стремление определить, насколько влияют на преступные склонности те или другие карательные меры, или другие религиозные понятия, то или другое воспитание; но при этом не заботятся о том, чтобы предварительно определить силы этих склонностей, предоставленных самим себе, как они проявляются во время народных возмущений в странах, где нет ни жандармов, ни священников, ни наставников, заявляя себя пожарами, резней, грабежом, совершенно сходными между собою повсюду и мгновенно вызывающими подражание во всей стране, из конца в конец. Но поступать таким образом не значит ли ехать задом наперед?

Первая предварительная операция должна, следовательно, состоять в начертании картины главных потребностей, врожденных или приобретенных, начиная с социальной потребности жениться или делаться отцом, главных верований старых или новых, или, что то же самое — совокупности явлений, представляющих по частям один и тот же тип и выражающих с большею или меньшею точностью его внутренние силы. Для этого может служить преимущественно торговая и промышленная статистика, которая становится весьма интересной, если ее рассматривать под этим углом зрения. Каждый сделанный или проданный предмет не соответствует ли, в самом деле, известного рода потребности или особенной идее? Успешное его производство или продажа в данное время и в данном месте, не говорят ли о его двигательной силе, т. е. скорости его распространения, а равным образом как бы и о его массе, т. е. о его важности? Статистика промышленности и торговли является, следовательно, главным основанием всех других. Но было бы еще лучше, если бы это было практически возможно, приложить в более широком масштабе, к живым, тот метод исследования, которым пользуется археология в отношении мертвых: именно — точную и полную опись, из дома в дом, всего движимого имущества страны с указанием изменений в количестве каждого рода движимостей из года в год; словом, получить настоящую фотографию нашего социального состояния, снятую с такою же заботливостью, с какою описывают и перечисляют мертвецов в Египте, Италии, Малой Азии, Америке раскапыватели прошлого, доставив нам превосходную картину вымерших цивилизаций.

Но за неимением этой воображаемой мною инквизиторской переписи и за отсутствием тех стеклянных домов, какие она предполагает, достаточно и торговой или промышленной статистики, возможно полной и систематизированной, в особенности статистики книжной торговли, открывающей нам внезапные изменения в относительном количестве ежегодно печатаемых книг того или другого содержания, так как уже из этой статистики мы можем почерпнуть необходимые для нас данные. Судебная статистика с теоретической точки зрения следует только за этой, и надо сознаться, что несмотря на свой более глубокий интерес особого рода, она ниже ее еще в другом отношении: единицы, исчисляемые ею, недостаточно сходны или однородны. Если мне говорят, что такой-то «железный» завод приготовил в этом году миллион стальных рельсов, что такая-то мануфактура изготовила 10 000 кип ситцу, — то я понимаю, что это единицы, соответствующие однородным потребностям. Но как бы тщательно ни подразделяли, например, кражи или тяжбы, никогда не удастся избежать соединения в одной группе довольно разнородных деяний, внушенных разнородными потребностями и идеями, имеющими не одинаковое происхождение, а следовательно относящимися к различным разрядам деяний. Но все-таки можно было бы, например, отвести отдельную графу для убийств женщин с разрезыванием их на части, для отравлений стрихнином и для других преступлений недавнего изобретения, которые действительно образуют одну группу и представляют характерные преступные идеи. Чтобы надлежащим образом подразделить преступления и злодеяния, следовало бы классифицировать их главным образом по способам исполнения; тогда бы видно было, какова в данном случае сила подражания. Пришлось бы спуститься до мелочей. Если бы можно было классифицировать преступления по роду получаемой посредством их добычи или избегаемой при их помощи нужды, то получился бы особый, но столь же естественный отдел, который в новой форме воспроизводил бы отдел промышленных продуктов и услуг, доставляющих честным людям такое же удовлетворение путем обмена.

V

Определивши отчетливо область социологической статистики, начертавши графические кривые, представляющие распространение, а также утверждение каждой отдельной потребности, каждого отдельного мнения в продолжении известного периода лет и в известном числе стран, исследователь должен наконец истолковать эти гиероглифические кривые, иногда живописные и причудливые, как профиль гор, чаще же волнообразные и грациозные, как формы

жизни. Или я сильно ошибаюсь, или наша точка зрения окажет нам здесь очень большую помощь. Линии, о которых идет речь, всегда бывают или восходящие, или горизонтальные, или нисходящие; если они неправильны, то их всегда можно разложить таким же образом на три вида прямолинейных элементов — восходящие, горизонтальные и нисходящие. По Кетлэ и его школе, горизонтальность таких линий должна была бы считаться самым желанным явлением для статистика; открытие этой горизонтальности должно быть заветным его желанием и величайшим для него торжеством. Согласно его воззрениям, ничто так не свойственно социальной физике, как однообразное повторение из года в год одинаковых чисел не только рождений и браков, но также преступлений и судебных процессов в течение значительного периода времени. Но какое заблуждение думать, что эти числа действительно повторяются с однообразною правильностью! Эта иллюзия теперь разрушена и разрушена именно статистическими данными о преступности, показывающими непрерывное возрастание числа преступлений за последние полвека. Если читатель потрудится последовать за нами, то он узнает, что, не уменьшая несколько значения горизонтальных линий, мы должны приписать восходящим линиям, верным признакам распространения известного рода подражания, более важное теоретическое значение, и вот почему.

Уже только по одному тому, что какая-нибудь новая идея, какой-нибудь новый вкус укоренился где-либо в устроенном известным образом мозгу, нет причины, чтобы это нововведение не стало более или менее быстро распространяться в неопределенном числе других мозгов, предполагаемых вообще одинаковыми и находящимися во взаимном сообщении. Оно распространилось бы *мгновенно* и во *всех* мозгах, если бы их сходство было полным и если бы они сообщались друг с другом с полною и абсолютною свободой. К этому-то идеалу, по счастью недоступному, мы и идем большими шагами, как можно в этом убедиться по столь быстрому распространению телефонов в Америке, чуть не на другой день их появления. И он уже почти достигнут в том, что касается нововведений законодательных, законов и декретов, в прежнее время применявшихся только с трудом, последовательно и медленно в различных провинциях государства, а теперь приводимых в исполнение во всем государстве из конца в конец — в самый день их обнародования. Здесь нет уже никакого препятствия этому. Недостаток сообщения в социальной физике играет такую же роль, как недостаточная упругость в физике. Это вредит подражанию в такой же степени, как несовершенная упругость препятствует волнообразному движению распространяться мгновенно. Но распространение путем подражания некоторых известных изобретений

(железных дорог, телеграфов и пр.) стремится, к выгоде всех других изобретений, уничтожить этот недостаток единения между умами. А что касается различия умов, то оно равным образом сглаживается тоже вследствие распространения потребностей и идей, зародившихся от раньше бывших изобретений, и действует таким образом в смысле облегчения распространения будущих изобретений, по крайней мере тех из них, которые не будут противодействовать ему.

Следовательно, идея и потребность, будучи раз пущены в обращение, сами собою стремятся распространиться все более и более, следуя именно геометрической прогрессии¹. Это и есть их идеальная схема, с которой должна была бы согласоваться и их графическая кривая, если бы они могли распространяться, не сталкиваясь между собою. Но так как эти столкновения рано или поздно неизбежны и так как они должны происходить все чаще и чаще, то с течением времени каждая из этих социальных сил может встретить такое препятствие, которого она временно не в состоянии будет одолеть; достигнуть случайно, а вовсе не вследствие естественной необходимости, того неподвижного на некоторое время состояния, значение которого, по-видимому, так плохо поняли вообще статистики.

Стояние на одной высоте здесь, как и везде, вероятно, означает равновесие, взаимное и равное противодействие конкурирующих сил. Я далек от отрицания теоретического интереса этого состояния, так как каждое такое равновесие представляет равенство сил. Видя, например, что потребление того или другого вещества, кофе или шоколада, перестает возрастать среди известной нации, начиная с такого-то момента, я заключаю, что данная потребность равна силе соперничающих потребностей, которыми при данных средствах к жизни пришлось бы пожертвовать для более широкого удовлетворения первой. Этим определяется и цена каждого продукта. Но разве каждая из годовых цифр возрастающих рядов, каждая из их *ступеней* не выражала, в свою очередь, уравнения между силою потребности, о которой идет речь в данное время, и силою соперничающих потребностей, которые, в то же время, препятствовали ее дальнейшему развитию? Если при этом возрастание остановилось скорее на одной, чем на другой точке, если горизонтальная линия не выше и не ниже в каждом случае, то не является ли причиной этого настоящая историческая случайность, т. е. то обстоятельство, что противоположные изобретения, откуда развились потребности, неблагоприятные для

¹ В то же время они стремятся укорениться, и их поступательный прогресс ускоряет их прогресс в глубину. И нет, заметим мимоходом, энтузиазма или фанатизма в настоящем или прошлом, нет такой исторической силы, которую нельзя было бы объяснить при помощи этих подражаний себе или другому.

первой, преградившие ей путь к дальнейшему движению, появились в таком-то месте скорее, чем в другом, в такую-то эпоху скорее, чем в другую и, наконец, появились вместо того, чтобы не появляться!

Прибавим еще, что горизонтальные линии всегда служат признаком неустойчивого равновесия. После более или менее приблизительной, более или менее продолжительной горизонтальности, кривая начинает восходить или нисходить, а соответствующий ей ряд — возрастать или убывать, вследствие того, что возникает новое изобретение, способствующее или тормозящее, подтверждающее или противоречащее. Что касается до нисходящих рядов, то они, как это легко видеть, являются простым следствием победоносного *возрастания* других потребностей, заставляющих общественное мнение или вкус, некогда бывшие в силе, склоняться к упадку; поэтому они заслуживают внимание теоретика лишь как *обратное изображение* возрастающих рядов, существование которых они неизбежно предполагают. Отметим также, что в тех случаях, когда статистику удастся захватить какое-нибудь изобретение в момент его зарождения и отмечать ежегодно числовое течение его судеб, он представляет нашим взорам линии, всегда восходящие, по крайней мере до известной эпохи, и восходящие даже *очень правильно* в продолжение некоторого гораздо более краткого времени. Если эта совершенная правильность не сохраняется постоянно, то это происходит от причин, которые мы скоро укажем. Но когда дело идет об изобретениях очень древних, каков, например, моногамический и христианский брак, имевших время завершить свой прогрессивный период и, так сказать, наполнить до краев соответствующий им бассейн подражания, то не следует удивляться, если статистика, не присутствовавшая при их дебютах, вычерчивает для них едва изгибающиеся горизонтальные линии. Что годовое число браков находится почти в постоянном отношении к величине населения (исключая, например, Францию где наблюдается медленное пропорциональное уменьшение), и что даже влияние брака на преступность или самоубийство выражается ежегодно почти равными цифрами, то в виду сейчас сказанного, в этом ровно ничего нет удивительного. В этом отношении древние учреждения, *вошедшие в плоть и кровь* народа, действуют подобно естественным причинам, каковы климат, темперамент, пол, возраст, время года, влияющим с таким поразительным однообразием (хотя, впрочем его преувеличивают; оно гораздо меньше, чем это вообще думают) как на человеческие дела, так и еще более на жизненные явления, каковы болезнь и смерть. И однако ж, даже здесь, что находим мы в основе этих однообразных рядов? Посмотрим, хотя это будет и небольшим отступлением. Статистика, например, открыла, что в возрасте от одного до

пяти лет во французских департаментах по берегам Средиземного моря, смертность всегда бывает *в три раза больше*, чем в остальной Франции, или, по крайней мере, в департаментах наиболее здоровых. Объяснение этого явления заключается, по-видимому, в чрезвычайной жаре провансальского климата в летнее время, что столь же вредно для первых дней жизни ребенка (еще открытие статистики, противоречащее предрассудку), как зима для стариков. Как бы то ни было, но климат входит сюда как постоянная причина, всегда равная самой себе. Но что такое климат, как не номинальная сущность, которой выражается известная группировка следующих реальных предметов: солнца, светового лучеиспускания, стремящегося неопределенно расстаться в безграничном пространстве, преградой чему является останавливающая его земля; ветров, т. е. отдельных частей циклонов, более или менее определенных, стремящихся беспрестанно расширяться и распространиться по всему земному шару и останавливаемых только цепями гор или другими сталкивающимися с ними циклонами; высоты места, т. е. проявления подземных сил, постоянно стремящихся разрушить земную кору, к счастью не поддающуюся этому; широты, т. е. следствия вращательного движения земного шара еще жидкого и его напрасных усилий сжаться еще более; свойств почвы, т. е. частиц, сродство которых, всегда не вполне насыщенное, продолжает проявлять свою силу, причем притяжение их, обнаруживающееся на всяком расстоянии, стремится привести их к невозможному взаимному соприкосновению; наконец, в известной степени — флоры, т. е. различных растительных видов и разновидностей, из которых каждый, не довольствуясь собственным участком, наводнил бы своими представителями весь земной шар, если бы конкуренция всех прочих не обуздывала его жадности.

Все что сказано о климате, мы могли бы сказать также и о возрасте, поле и других влияниях естественного порядка. В общем, все внешние реальности, — физические или жизненные — представляются нам одинаково в виде беспредельных, еще неосуществившихся и часто неосуществимых желаний, взаимно поощряющих или парализующих друг друга. То, что называют в них постоянством, неизменностью законов природы, реальностью по преимуществу, в существе своем есть только их бессилие идти далее по их вполне естественному пути и осуществляться более полным образом. То же самое наблюдается и в тех постоянных (по крайней мере временно) влияниях социального порядка, которые открывает нам или думает, что открывает, статистика. Действительно, социальные реальности, идеи и потребности не менее честолюбивы, чем другие, но на них-то и разлагаются при анализе все эти социальные сущности, называемые нравами, учрежде-

ниями, языком, законодательством, религией, науками, промышленностью и искусством. Самые древние из этих существей, те, которые вышли из отроческого возраста, перестали уже расти, но молодые из них развиваются, как это видно по непрерывному увеличению наших бюджетов, которые росли, растут и все будут расти вплоть до окончательной катастрофы, которая сделается отправною точкою новой прогрессии, осужденной на такую же развязку, и так далее без конца. Не восходя дальше 1819 г., мы видим, что с этого времени до 1866 г. косвенные налоги во Франции очень правильно возрастали с 544 до 1323 млн франков. Если 37 млн людей имеют возрастающие потребности, потому что они все более и более копируют одни других, то для удовлетворения этих потребностей они должны производить и потреблять все более и более, и их общественные издержки неизбежно будут возрастать пропорционально их частным издержкам¹.

Если бы наша европейская цивилизация, подобно китайской, уже в давнем прошедшем дала все, что она способна была дать по части изобретений и открытий, если бы, живя процентами со старого капитала, она состояла бы исключительно из старых потребностей и старых идей, без малейшего, хотя бы самого ничтожного прибавления, то вероятно только тогда, на основании предыдущего, могло бы исполниться желание Кетлэ.

Только тогда, примененная ко всем видам нашей социальной жизни, статистика везде пришла бы к однообразным рядам, идущим горизонтально и совершенно сходным с пресловутыми «законами природы». И может быть только потому, что природа гораздо древнее нас, что она сколько хотела имела времени для приведения к этому состоянию исчерпанной изобретательности все принадлежащие ей цивилизации — я хочу сказать жизненные типы (представляющие, как известно, настоящие общества клеточек), в ней и замечается та неподвижность или то вращение на одном месте, за что ее так восхваляют. Вот где причина замечательной, вызывавшей столько удивления, правильной периодичности чисел, доставляемых статистикою, так сказать, социолого-психологическою, которая упорно стремится подчеркнуть факт всегда одинакового влияния возраста и пола на преступность или на *заклучение браков*. Можно было, конечно, заранее быть уверенным в этой правильности, как можно не сомневаться в том, что, если бы подразделяли обвиняемых на нервных, желчных, лимфатиков, сангвиников, или может быть даже на блондинов и брю-

¹ Эта прогрессия не составляет привилегии нашего времени. «При прежнем государственном строе, говорит Деланг («Une famille de finance au XVIII siècle»), откуп представлял для правительства постоянно возрастающий приход от ста до ста шестидесяти миллионов».

нетов, то ежегодное участие каждой из этих категорий в ежегодно совершаемых преступлениях оказалось бы всегда одно и то же. Но было бы гораздо важнее заметить, что совершенно такая же статистическая правильность замечается в явлениях по-видимому совершенно другого рода. Например, почему, уже с полвека по крайней мере, подсудимые, осуждаемые исправительною полицией, апеллируют почти в 45 случаях из 1000, тогда, как правительственный прокурор, в тот же период времени, апеллирует следуя отношению беспрестанно убывающему? Уменьшение в числе прокурорских протестов является прямым результатом беспрестанно возрастающей профессиональной подражательности; но как объяснить доказываемое числами постоянство апелляционных жалоб осужденных? Заметим, что подсудимый, задавая себе вопрос, должен ли он апеллировать, не сообразуется вообще с тем, как поступают или как поступили бы в таком случае подобные ему; такого примера он всего чаще не знает. Еще менее справляется он со статистикой, в которой он мог бы найти лишь доказательство того, что апелляционные суды все более и более склоняются к подтверждению решений судов первой инстанции. Но так как надежда на успех и боязнь неудачи совершенно равны (т. е. поводы надеяться и бояться, судя по обстоятельствам дела, имеют в среднем одинаковый *годовой* вес), то склониться на то или на другое заставляет его только большая или меньшая природная смелость. Здесь входит, следовательно, в качестве дополнительного веса, перетягивающего чашку весов, известная доза смелости и уверенности, составляющая часть среднего темперамента осужденных и которая, как таковая, выражается неизбежно однообразным относительным числом их апелляций.

Ошибка Кетлэ объясняется исторически. Первые попытки статистики применены были к народонаселению, т. е. к рождаемости и смертности в различные возрасты жизни в разных местах, у обоих полов, а также и к бракам; а так как эти проявления причин климатических и физиологических или очень древних социальных естественно давали место правильным повторениям почти одинаковых чисел, то это и подало повод к ошибочному обобщению этого наблюдения, впоследствии опровергнутому. Только благодаря этому и оказалось возможным, что статистика, в которой всякая правильность выражает в сущности только подражательное подчинение масс фантазиям или мыслям выдающихся людей, была призвана для подтверждения модного предрассудка, по которому главные явления социальной жизни управляются не волями и умами людей, а мифами, известными под названием законов природы!

Однако ж, уже и статистика народонаселения должна была открыть глаза. Цифра населения не остается неизменной ни в какой

стране; она возрастает или уменьшается с медленностью или быстротою своеобразно различной, при переходе от народа к народу, от века к веку; как объяснить это по гипотезе социальной физики и как объясним мы это сами? Вот потребность несомненно очень древняя, потребность быть отцом, степень повышения или понижения которой в обществе красноречиво выражается годовою цифрою рождений. И вот, несмотря на всю древность этой потребности, статистика показывает нам, что она подвержена громадным колебаниям, а историческая справка позволяет нам заметить в прошедшем, например в прошедшем нашей Франции, непрерывную смену постепенного обезлюдения и заселения территории. Это показывает, что в настоящем случае древность потребности чисто кажущаяся. Одно дело — желание инстинктивное и природное, и другое дело — желание социальное, подражательное и рассудочное — вот какие две стороны нужно видеть в желании быть отцом. Первое желание может быть постоянно, но второе, прививающееся к первому при всяком значительном изменении нравов, законов или религии, подвержено вековым колебаниям и обновлениям. Ошибка экономистов состоит в смешении первого со вторым или лучше в рассматривании исключительно первого, тогда как для социолога важно одно только второе. Итак, в этом последнем смысле существует столько же различных и новых потребностей отцовства, сколько существует различных преемственных мотивов, вследствие которых человек, принадлежащий к обществу, желает иметь детей. И всегда, в корне каждого из этих мотивов, как объяснение его происхождения, мы находим практические открытия или теоретические соображения. Испанец или Англосаксонец Америки плодovit, потому что ему нужно населить Америку; не будь открытия Колумба, сколько бы миллионов людей не существовало! Англичанин-островитянин плодovit, потому что ему предстоит населить целую треть земного шара; и это помимо других причин является прямым следствием целого ряда счастливых предприятий морских и военных или по преимуществу частных, которыми он добыл себе свои колонии.

В Ирландии введение картофеля возвысило количество населения с 3 млн в 1766 г. до 8 млн 300 тыс. в 1845 г. Древний ариец желал потомства, чтобы не погасло пламя его очага и каждый день поливалось священной жидкостью, так как религия убеждала его, что это погашение было бы несчастьем. Набожный христианин мечтает быть главою многочисленной семьи, чтобы послушно исполнить библейскую заповедь: «множитесь». Иметь детей для римлянина первых веков значило доставлять воинов республике, которая без этого не была бы тем сплетением изобретений и военных и политических

учреждений этрусского, сабинского, латинского и всякого другого происхождения, которым воспользовался Рим. Для работника в рудниках, на железных дорогах, ситцевых фабриках иметь детей значит доставлять новые руки этим промышленностям, возникшим благодаря новейшим изобретениям. Христофор Колумб, Уатт, Фультон, Стефенсон, Ампер, Пармантье, холостые или женатые — все равно могут считаться величайшими размножателями человеческого рода, какие только когда-либо существовали. Но остановимся на этом; сказанного уже достаточно, чтобы меня поняли. Возможно, что с тех пор как появились на свете отцы, люди смотрят на своих, уже существующих детей, одними и теми же глазами; но вероятно совершенно иначе относятся они к детям, имеющим родиться, смотря по тому, видят ли они в них, подобно древнему *pater familias*, домашних рабов, не имеющих никаких прав перед ними, или, подобно нынешнему европейцу — господ или надоедливых кредиторов, к которым, пожалуй, придется попасть когда-нибудь в кабалу.

Таков результат различия нравов и законов, созданных идеями и потребностями. Очевидно, что это было следствием индивидуального почина, действующего заразительно (т. е. социально) на подражателей. Без сомнения, уже тысячи веков тому назад, когда род человеческий представлялся до смешного малым числом индивидов, он перестал бы прогрессировать, по примеру бизонов и медведей, если бы время от времени, с течением истории, не появлялся какой-нибудь гениальный человек, чтобы хлестнуть, как бичом, по воспроизводительной способности, то открывая новые пути для человеческой деятельности в виде промышленности или колонизации, то воодушевляя или лучше возвращая молодость народу, возбуждая особым образом его ревность или прививая ему веру в Провидение, пекущееся и о полевых птицах, что делают религиозные новаторы, подобные Лютеру. При каждом ударе этого рода, можно сказать, возрождалась новая потребность отцовства, в социальном смысле, и, прибавляясь или замещая предыдущие, — чаще прибавляясь, чем замещая, — вступала в свою очередь на свойственный ей путь развития.

Теперь, возьмем какую-нибудь одну из этих чисто социальных потребностей воспроизведения в самом ее начале и проследим ее судьбу. Для нашей цели будет все равно — держаться того или другого примера; во всяком случае мы одинаково выведем общий закон, который скоро и сформулируем. Положим, что среди какого-нибудь населения, с давнего времени сделавшегося неподвижным, потому что желание иметь детей вполне уравнивалось в нем более сильным страхом нужды, которую повлекло бы за собою дальнейшее размножение — среди этого населения распространяется вдруг известие,

что одним из соотечественников открыт и завоеван большой остров, могущий доставить новые средства увеличить семью, не только не впадая в нищету, но даже богатея. С появлением этого известия и по мере того, как оно распространяется и укрепляется, общее желание отцовства удваивается, т. е. к бывшему до этого желанию присоединяется такое же новое. Но оно осуществляется не сразу. Оно вступает в борьбу с целой толпой укоренившихся обычаев, старых привычек, вследствие чего появляется общее убеждение, что в этой далекой стране нельзя акклиматизироваться, что там придется умереть от голода, лихорадки и тоски по родине. Проходит много лет, прежде чем это противодействие повсеместно побеждается. Тогда устанавливается переселенческое движение, и свободные от всякого предрассудка переселенцы начинают обнаруживать излишек своей плодovitости. Это момент, когда вступает в силу и до известной степени удовлетворяется наклонность к размножению в геометрической прогрессии, этому закону удовлетворения не только потребности воспроизведения, но и всякой вообще потребности. Но момент этот не продолжителен. Скоро, вследствие самого возрастания благосостояния, сопровождающего прогресс плодovitости, эта последняя начинает замедляться, каждый день встречая все более препятствий со стороны потребностей в роскоши, в досуге, в мечтательной независимости; эти потребности, порожденные ею самою, достигнув известной степени напряжения, ставят ультрацивилизованному человеку следующую дилемму: «Выбирай между радостями, доставляемыми тебе нами, и радостями многочисленной семьи; кто хочет первых, должен отказаться от вторых».

Отсюда неизбежная остановка указанного прогрессирования; затем, если цивилизация усиленно продолжается, начинается уменьшение населения, с которым была знакома Римская империя и с которым познакомится когда-нибудь и новая Европа и даже Америка: но это уменьшение никогда не заходило и никогда не зайдет очень далеко, так как, перейдя за известный предел, оно произвело бы обратное движение цивилизации, — уменьшило бы потребность в роскоши, что снова подняло бы уровень населения.

Следовательно, если не появляется ничего нового, то после нескольких колебаний, неизбежно устанавливается состояние равновесия, продолжающееся до нового толчка судьбы или гения.

Мы можем безбоязненно обобщить это замечание. Так как оно оказалось применимым к такой первобытной, по-видимому, потребности, как потребность отцовства, то с какою еще больше легкостью могло бы оно быть применено к так называемым потребностям в роскоши (которые очевидно все следуют за всяким открытием).

Рассмотрим, например, потребность в передвижении с помощью пара. Сдерживаемая сначала опасением катастроф и привычкою к домоседству, потребность эта победоносно вышла из борьбы и широко развернулась в наше время, встретившись теперь лицом к лицу с другими, более опасными противниками, отчасти созданными или вскормленными ею же самою; я разумею потребность во множестве разнообразных удовольствий цивилизованной жизни, требующих таких издержек, при которых удовольствие путешествовать не могло бы развиваться неопределенно. С меньшей ясностью, но не с меньшей точностью, то же замечание можно применить также к потребностям высшего порядка, каковы потребности в равенстве, политической свободе и, прибавим, в истине. Эти последние, в том числе и третья, довольно еще новы. Первая является детищем гуманитарной и рационалистической французской философии XVIII в., провозгласители и отцы которой хорошо известны. Вторая выросла на почве английского парламентаризма, назвать изобретателей и последовавших за ними пропагандистов которого было бы тоже не трудно, не забираясь далеко в прошедшее. Что же касается до потребности в истине, то эта мука, если верить Дюбуа-Реймону, не была известна классической древности, и этот пробел объясняет ее научную и промышленную неразвитость, столь странную при ее необыкновенной даровитости; потребность в истине является плодом, свойственным христианству, этой религии духа, потребовавшей веры еще больше, чем дел, заставившей верить в события, считаемые ею за исторические и тем научившей своих последователей ценить истину. Таким образом, христианская религия сама породила свою великую соперницу, ставшую новой преградой на пути ее до сих пор триумфального шествия, — науку, родившуюся лишь вместе с XVI в. Велика была тогда любовь к истине, но она ютилась лишь в малом числе «верных», и с тех пор стала выступать из этого тесного круга и продолжает распространяться все больше и больше. Но уже по некоторым признакам легко заметить, что не следует очень рассчитывать на то, что двадцатое столетие будет так же мучиться от бескорыстной любознательности, как три предшествовавшие ему века. И почти наверное можно предсказать, что не далек тот день, когда потребность в благосостоянии, которую чрезмерно разовьет дочь науки, промышленность, погасит пламя науки и расположит новые поколения в видах социальной необходимости согласиться на какую-нибудь удобную и безразличную иллюзию, отказавшись от свободного и личного культа обезнадеживающей истины. И, по всей вероятности, ни жажда политической свободы, уже заметно уменьшившаяся, ни наша нынешняя страсть к равенству не избегнут этой судьбы. Быть может, то

же следует сказать и о личной собственности. Не принимая в этом отношении всех идей Лавелэ, должно однако признать, что этой потребности, имевшей вначале первостепенное цивилизующее значение и возникшей из совокупности изобретений, касающихся земледелия, предшествовала потребность в общественной собственности (*пуэблос* Северной Америки, русский *миф*, индуcский коммунизм и проч.); правда, что она еще не перестает расти до наших дней на счет этой последней, что доказывается постепенным разделом всего, остававшегося еще неразделенным, как например, выгонов во французских деревнях, но дальше ей идти некуда, и как скоро она вступит в борьбу с потребностью лучшего питания и вообще благосостояния, мы тотчас же увидим, как она отступит пред этой своею соперницей, порожденной ею же самою.

Не только всякая социальная потребность, но и всякое новое верование, постепенно распространяясь, проходит описанные выше фазы, прежде чем достигнуть окончательного покоя. Следовательно, повторяя предыдущее в кратких словах, можно сказать, что всякому зарождающемуся верованию, всякой потребности всегда необходимо сначала с большим трудом пробиться на свет сквозь сеть привычек и противоположных верований, затем, победив это препятствие, распространяться после своей победы до тех пор, пока новый враг, вызванный ее триумфом, не преградит ей пути и не противопоставит ее распространению непреодолимого препятствия. Этими новыми врагами для данной потребности будут большею частью привычки, вызванные прямо или косвенно ею же самою; так — для данного верования, всегда отчасти, как известно, ложного, врагами будут противоречащие ему в известном отношении идеи, которые будут выведены из него или открыты с его помощью в другом месте; ими будут ереси или учения, возникшие из догмата, но противоположные догмату и стремящиеся остановить его победоносное движение в мире; ими будут научные теории или их промышленные приложения, внушенные предшествующими теориями, применение или верность которых они ограничивают и тем мешают их успеху¹.

¹ Когда верование или желание перестает распространяться, оно может продолжать укореняться в своей ограниченной таким образом области; в пример можно привести религию или революционную идею после их завоевательного периода. — К тому же постепенное укоренение, о котором мы говорим, представляет, подобно постепенному распространению, за которым следует, такие же отчетливо выраженные фазы. Верование, при своем появлении, еще оспариваемое, является сознательным суждением, а зарождающаяся потребность, при тех же обстоятельствах, представляет еще только намерение, хотение. Затем, благодаря единодушию, которое все более и более увеличивает в каждом убеждение и желание, — суждение переходит в правило, в догмат, в почти бессознательное квази-представление; намерение переходит в страстное желание или потребность в собственном

Медленный прогресс при возникновении, быстрый и равномерный ускоренный в середине, наконец возрастающее замедление этого прогресса вплоть до его конца: таковы три возраста всех этих истинных социальных существ, какими я называю изобретения или открытия. Ни одно из них не избегает этого, как не избегает подобной же или лучше точно такой же необходимости всякое живое существо. Слабое восхождение, относительно быстрое достижение вершины, потом новое медленное падение и приближение наклона к горизонтальности — таков вкратце профиль всякого холма; это и есть его графическая кривая. Таков закон, который, будучи принят к руководству статистиком и вообще социологом, избавил бы его от многих иллюзий, каково, например, убеждение в том, что население России, Германии, Соединенных Штатов или Бразилии всегда будет увеличиваться так же быстро, как теперь; или полные ужаса вычисления тех сотен миллионов русских или немцев, с которыми, через сотню лет, придется сражаться французам; или уверенность в том, что потребность путешествовать по железным дорогам, писать письма, посылать телеграммы, читать газеты и заниматься политикой будет идти во Франции все так же разрастаясь, как было в прошедшем; последнее заблуждение может обойтись дорого. — Все эти потребности прекратятся, как прекратились когда-то, не оставив следа, потребности в татуировке, в людоедстве, в кочевой жизни, бывшие в минувшие времена столь распространенными модами, как прекратилась в более близкое к нам время страсть к аскетизму и монашеской жизни. В самом деле, рано или поздно, но всегда наступит момент, когда приобретенная потребность, полагаясь на свою силу, начинает пренебрегать даже врожденными потребностями, среди которых всегда имеются более сильные, чем она. Вот причина, почему наиболее самобытные цивилизации, развивавшиеся совершенно свободно, перестают все-таки, начиная с известного момента, как мы уже сказали об этом выше, усиливать свои особенности. Можно было бы даже думать, что они стремятся затем к их сокращению, но это было бы заблуждение, легко объяснимое частыми соприкосновениями их между собою и перевесом влияния одной из них над другими. Отсюда является неизбежное замедление усвоения путем подражания и кажущийся возврат к природе, потому что столкновение двух соприкасающихся цивилизаций потрясает в каждой из них искусственные

смысле, до тех пор пока quasi-представление, встречая все чаще и чаще противодействие со стороны более сильных и противоположных непосредственных представлений, не потеряет наконец своей силы, а приобретенная потребность, которой все более и более противостоят другие врожденные и более энергичные потребности, в свою очередь не ослабнет и не замрет в глубине человеческого сердца.

потребности, которыми они различаются и вследствие которых становятся, и укрепляет потребности первобытные, в отношении которых они сходны. Не следует ли отсюда, что течением промышленного или художественного прогресса в конце концов верховным образом управляют органические потребности, подобно тому как течением мысли в конечном анализе управляет внешняя действительность? Нет; заметим, что никакая нация не могла долго развивать свою цивилизацию и достигнуть ее предельного разрастания, иначе как оставаясь в высшей степени консервативной, привязанной, подобно египтянину, китайцу, греку, к своим особенным традициям, при наличности которых лучше выражается эта расхотимость. Этим мы и закончим наше ввводное предложение.

Если мы теперь спросим себя, которая из трех указанных фаз всего важнее в теоретическом отношении, то легко ответить, что это вторая, но ни в каком случае не состояние неизменности, представляющей простой предел третьей, хотя статистики и придают ему повидимому такую большую цену. Между округленной вершиной горы и незаметным склоном ее подошвы существует направление, лучше чем всякая другая часть, выражающее действительную энергию поднявших гору сил, прежде чем обнажилась ее вершина и нагромодилось основание. Таким образом промежуточная фаза, о которой мы говорим, наиболее способна обнаружить энергию подъема, возбужденную в человеческом сердце соответствующим нововведением. Эта фаза была бы единственная, и она поглотила бы другие, если бы подражание, действующее с разбором и рассудком, всегда и везде заменяло бы собою подражание необдуманное и механическое. Итак, очевидно, что, по мере того как происходит эта замена, какому-нибудь новому фабрику необходимо меньший промежуток времени для того, чтобы войти в употребление, как нужен меньший же промежуток времени и для того, чтобы совсем остановиться в своем распространении.

Остается показать теперь, каким образом, применяя предыдущий закон, можно читать и бегло разъяснять графические кривые, даже самые сложные, самые неприступные с первого взгляда; действительно, между ними мало таких, которые бы близко соответствовали обрисованному мною социальному типу, потому что мало таких изобретений, которые, распространяясь и интерферируя с другими, не заимствовали бы от какого-нибудь из них или сами не сообщали бы ему известного улучшения, ускорявшего их успех, или не встречали бы преграды в других и, сверх того, не претерпевали бы вредных толчков от случайностей физических или физиологических, каковы голод или эпидемия, не говоря о случайностях политических. Но в таком случае,

если не в общем, то по крайней мере в частностях проявится все-таки наша типичная форма. Оставим в стороне возмущающее влияние случайностей — естественных, революционных или военных. Не будем заниматься ни восхождением кривой краж вследствие дороговизны хлеба, ни понижением кривой пьянства вследствие появления филоксеры. Не обращая внимания на эти внешние случайности, которые всегда легко отделить, мы заметим, что какая-нибудь кривая, — особенно, если она была проведена на основании правил, установленных несколькими страницами раньше, — начиная с момента, когда были побеждены первые препятствия, приняла ясно обозначенное восходящее движение под определенным углом, и мы можем быть уверенными, что всякое восходящее отклонение к вертикальному положению укажет на появление вспомогательного открытия, улучшения, последовавшего в соответствующее время, а всякое отклонение к горизонтальному положению укажет, напротив, как это следует из нашего вышеприведенного закона, столкновение с неприятным открытием¹. И если мы изучим отдельно каждое из последовательных улучшений, то заметим, что само оно, согласно закону, о котором мы говорим, употребило известное время на поступление в обращение, потом стало распространяться сначала очень быстро, затем слабее и, наконец перестало более распространяться. Нужно ли напоминать при этом о том, не только быстром, но почти чудесном развитии, которое по истечении пробного времени вызывалось в торговле тканями, в телеграфной деятельности, в производстве стали, каждым улучшением ткацкого станка, электрического телеграфа, приготовления стали и пр.? И каждое из них не обязано ли новому изобретателю, опиравшемуся на изобретения прежних? Но когда открывается неожиданный выход местной промышленности, например, железной, благодаря уничтожению внутренних таможен или международному договору, удвоившему или утроившему сбыт ее произведений, не видим ли мы в этом простое счастливое стечение двух подражательных течений, источником одного из которых является Адам Смит, а другого, если верить мифологии, Тубал-Каин или

¹ Или же понижение, например, будет только кажущимся. При прежнем режиме, как в наши дни, потребление табаку шло, постоянно прогрессируя, доказательством чего служило постоянное возрастание числа свидетельств, оплаченных главными плантациями. С 13 млн в 1730 г. они достигли в 1753 г., когда вдруг было обнаружено уменьшение поступлений, до 26 млн. Сперва думали о понижении потребления, но скоро констатировали, что казна была просто жертвою организованного грабежа в огромном размере. Смотри по этому предмету книгу Delahante «Une famille de finance au XVIII^e siècle». Т. 2. С. 312 и след. — Отметим прогрессирование потребления табаку — 13 млн в 1730 г. превратились в 1835 г. в 74 млн, потом в 153 млн в 1855 г., в 290 млн в 1875 г.. Это движение однако ж стремится замедлиться. Надо заметить, что индейцы Америки, научив нас употреблению табака, совершенно бросили в наше время привычку курить и нюхать.

все равно какой-нибудь другой первый предок наших металлургов? Вы видите, в такое-то время, что кривая пожаров или разводов начинает вдруг подыматься; вы ищите и находите для объяснения первого явления, распространившегося в стране, в соответствующее время, изобретение страховых обществ, для объяснения второго — непосредственно предшествующее ему законодательное изобретение, предоставляющее бедным людям дешевый суд.

Когда, в виде исключения, неправильная статистическая кривая не поддается предыдущему анализу и не может быть разложена на частные кривые или на отрезки кривых, то это значит, что она сама по себе не имеет значения, и построена на основании, может быть, любопытного, но нисколько не поучительного сосчитывания несходных между собою единиц, произвольно сгруппированных вместе несходных деяний и предметов; но однако и здесь тотчас же оказался бы порядок, как только мы открыли бы в них присутствие какого-нибудь определенного желания или верования. Рассмотрим таблицу издержек, ежегодно затрачиваемых на общественные работы французским правительством с 1833 г. до наших дней. Трудно себе представить что-нибудь более извилистое и неправильное, чем ряд этих годовых цифр, хотя в общем он представляет замечательную прогрессию, но вовсе не непрерывную. Я замечу только, что с 1843 до 1849 г. эти цифры, сразу возросши, долго держались на очень высоком уровне ок. 120 млн, с которого затем очень быстро стали спускаться. Это внезапное возрастание, как известно, произошло вследствие постройки железных дорог, предпринятой в эту эпоху. Приходится сказать, говоря об этом времени, что подражательное лучераспространение этого изобретения встретило во Франции подражательные лучераспространение других открытий, гораздо более древних, составлявших совокупность другого рода общественных работ (дорог, мостов, каналов и пр.). Несомненно, что нарушение правильности ряда произошло от того, что в дело это вмешалось государство, что оно монополизировало этот новый вид работы и тем нарушило непрерывность прогрессии, которую не замедлила бы произвести, предоставленная самой себе, частная инициатива, и произвела в ней перерывы, всегда характеризующие собою те вспышки коллективной волны, которые называются законами. Но, несмотря на все, за этими скачками цифр, доставляемыми истолкователю-статистику вмешательством государства, существует скрываемая ими от нас очень естественная и бесспорная правильность. Почему, в самом деле, принят был закон 11 июня 1842 г., предписывавший постройку нашей первой железнодорожной сети, если не потому, что раньше этого дня идея о железных дорогах циркулировала уже в обществе и что уверенность, сперва

слабая и оспаривавшаяся, в пользу этого нового открытия, равно как и желание, сначала только из любопытства, увидеть осуществление его, безмолвно гарантировали успех?

Вот постоянная и правильная прогрессия, которую скрывает вышеупомянутая картина и которая одна дает ей объяснение. Действительно, не вследствие ли непрерывного течения этой двойной прогрессии доверия и желания по ее нормальной кривой, мы были свидетелями того, как в эти последние годы палата приняла план Фрейсине, и издержки на общественные работы снова возрасли ужасающим образом? Не ясно ли теперь, что если бы нам случайно вздумалось измерить приблизительно в числах эту прогрессию общественного мнения, то мысль, что мы найдем в ней картину, подобную предыдущей, конечно менее всего соответствовала бы цели? Гораздо важнее было бы, разумеется, изобразить годовое возрастание числа путешествий, путешественников и перевозки товаров по железным дорогам.

VI

Сказав таким образом о предмете, цели и средствах социологической статистики, рассматриваемой как тщательное изучение подражания и его законов, я должен сказать и о ее вероятных судьбах. Особого рода жадность, которую она скорее развила, чем удовлетворила, эта жажда социальных данных, математической точности и полного беспристрастия еще только зарождается и имеет перед собою будущность. Она еще только в своей первой фазе. И прежде чем достигнуть, как всякая другая потребность, своего рокового предела, она вполне основательно может мечтать об огромных завоеваниях.

Рассмотрим какую-нибудь графическую кривую, например кривую рецидивов преступности за пятьдесят лет. Не имеют ли эти линии своей особенной физиономии; не напоминают ли они силуэта гор, долин или лучше, так как дело идет о движении — потому что в статистике очень часто говорят *движение* преступности, или рождений, или браков, — извилин, внезапных падений, внезапных подъемов, какие мы видим, например, в полете ласточки? Я останавливаюсь на этом сравнении и спрашиваю себя, не правдоподобно ли оно? Почему, спрошу я, статистические чертежи, постепенно проводимые на этой бумаге последовательными накоплениями преступлений и злодейств, передаваемых для разбирательства в суды, из судов, в виде годовых отчетов, в статистическое бюро Парижа, а из этого бюро в сброшюрованных томах в разные другие учреждения, почему эти силуэты, выражающие и передающие глазам груды и ряды фактов, сосуществующих или последовательных, почему одни они считаются

символическими, тогда как линия, проведенная на моей ретине полетом ласточки считается явлением неотделимым от самого существа, произведшего эту линию, и которое в сущности состояло из ряда движущихся фигур, было местом фигуры, движущейся в пространстве? Разве, в сущности, здесь менее символизма, чем там? Разве получившееся на моей ретине изображение, эта начерченная на ней *графическая кривая* полета ласточки не есть только выражение совокупности фактов (различных частей тела этой птицы) и последовательности фактов (различных состояний или положений этой птицы), что мы ни в каком случае не можем и не имеем права рассматривать как нечто аналогичное нашему зрительному впечатлению?

Если это так, а философы согласятся в этом со мною без особого труда, то будем продолжать.

Самая осязательная разница, которая существует между графическими кривыми статистиков и зрительными изображениями, состоит в том, что первые стоят труда тому, кто их проводит, а также тому, кто их истолковывает, между тем как вторые образуются в нас без всякого с нашей стороны усилия и очень легко поддаются объяснению. Эта разница состоит еще в том, что первые кривые вычерчиваются чрез долгое время после обнаружившихся явлений и происшедших перемен, выражаемых ими, и вычерчиваются крайне несовершенно, неправильно, с перерывами, не говоря уже о запоздалости, между тем как вторые сообщают нам о том, что только что произошло, и сообщают всегда правильно, без малейших перерывов.

Но если взять отдельно каждую из этих разниц, то легко заметить, что они скорее только кажущиеся, чем действительные, и сводятся к разнице лишь в степени, а не в существе дела. Если статистика продолжает делать успехи, как делала их уже несколько лет, если доставляемые ею нам сведения все улучшаются, ускоряются, приобретают правильность и в то же время умножаются, то может наступить момент, когда из каждого, имеющего совершиться, социального явления, будет, так сказать, автоматически выскакивать цифра, которая сейчас же займет свое место на столбцах статистики, постоянно сообщаемой обществу и распространяемой в рисунках ежедневной прессой. Тогда мы будем в некотором роде осаждаться на каждом шагу, при каждом взгляде на афишу или газетный лист статистическими данными, точными сведениями, выведенными для всех частных явлений настоящего социального строя — для повышений и понижений вексельных курсов, для политического возбуждения или успокоения той или другой партии, для прогресса или упадка того или другого учения и пр. Совершенно также, как открывая глаза, мы осаждаемся со всех сторон эфирными колебаниями, дающими нам знать о приближении

или удалении того, что мы называем тем и другим телом, и о всех прочих вещах того же рода, важных для нас с точки зрения сохранения или развития наших органов, как предыдущие *известия* важны с точки зрения сохранения или развития нашего социального бытия, нашей репутации и состояния, нашей власти и чести.

Следовательно, при допущении, что развитие и улучшение статистики доведено до такой степени совершенства, ее бюро сделались бы совершенно подобными глазу и уху. Как глаз и ухо, они, совершенно освобождая нас от всякого труда, приводили бы в систему собранные вместе сходственные единицы и доставляли бы нам готовые выводы из своих работ в ясном, отчетливом и чистом виде. И конечно, в этом случае, образованному человеку следить за малейшими изменениями религиозного или политического мнения в данный момент было бы не труднее, чем даже при ослабленном годами зрении узнать издали своего приятеля или разглядеть представляющееся препятствие настолько заблаговременно, чтобы на него не наскочить. Будем надеяться, что настанет день, когда депутат или законодатель, призванный преобразовать магистратуру или уголовный кодекс и незнающий (предположим) криминальной статистики, будет столь же редким и столь же несообразным явлением, каким мог бы быть в наше время слепой кучер омнибуса или глухой капельмейстер¹.

Я охотно сказал бы, что наши чувства доставляют нам, каждое отдельно и с их специальной точки зрения, именно статистику внешнего мира. Свойственный им ощущения суть в некотором роде их специальные графические таблицы. Каждое ощущение цвета, звука, вкуса и пр. представляет собою не что иное, как *число*, собрание бесчисленных сходных единиц вибрации, представленных гуртом этою отдельною цифрою. *Аффективный* характер различных ощущений является просто их отличительным знаком, аналогичным разнице, характеризующей цифры нашей нумерации. Что говорит нам звук этого *do*, этого *re*, этого *mi*, если не то, что в окружающем нас воздухе, в такую-то единицу времени, имеется такое-то пропорциональное число так называемых звуковых колебаний? Что значит всякий цвет — красный, голубой, желтый, зеленый и пр., если не то, что эфир обладает таким-то пропорциональным числом так называемых световых колебаний, в такую-то единицу времени? Осязание, как ощу-

¹ По Бургхарду, Венеция и Флоренция были колыбелью статистики. «Флоты, армии, тирания и политическое влияние, все это было записано, как дебет и кредит в главной книге». С 1288 г. мы находим кропотливую статистику в Милане. По правде сказать, всегда должны были существовать во всех государствах, самых беззаботных и невежественных, некоторые зачатки статистики, подобно тому как самые низшие животные имеют чувства в зачаточном состоянии.

щение температуры, также является только статистикой тепловых колебаний эфира, а как ощущение сопротивления и веса, — статистикой наших мускульных сокращений. Только в отличие от ощущений зрения и слуха, ощущения осязания следуют друг за другом без определенных пропорций: гаммы осязания не имеется. В этом — причина относительной низменности последнего чувства. Так поступают статистики, когда они забывают присоединить к доставляемым ими голым цифрам их взаимные или процентные отношения. Что касается до обоняния и вкуса, то их считают, и вполне справедливо, ощущениями совершенно низшего порядка, не потому ли, что, в качестве плохих статистиков, каковыми они являются, не справляясь с нашими элементарными правилами, они удовлетворяются плохо выведенными цифрами, результатами дурно сделанных сложений, где самые разнородные единицы, нервные колебания всех сортов и химические действия сгруппированы кое-как, подобно беспорядку, царящему в плохих бюджетах?

Мы уже замечаем, что газеты начинают давать ежедневно графические кривые, выражающие колебания различных биржевых ценностей и другие изменения, полезные для справок. Эти кривые помещаются пока на четвертой странице, но они стремятся наводнить и прочие, и может быть в недалеком будущем, когда пресыщенное декламацией и полемикой человечество — подобно тому как теперь высоко образованные люди начинают пресыщаться литературой — будет искать в газетах только точных, строгих и разнообразных справочных сведений, — кривым этим предстоит занять очень почетное место. Такого рода листки в социальном отношении сделаются тогда тем, чем являются в жизненном отношении органы чувств. Каждое редакционное бюро будет только слиянием различных статистических бюро, близко подобно тому, как сетчатая оболочка является пучком специальных нервов, приносящих, каждый, свое характерное впечатление, или подобно тому как барабанная перепонка представляет пучок слуховых нервов. В настоящий момент статистика представляет своего рода глаз в зачаточном состоянии, подобный глазу тех низших животных, которые видят им лишь на столько, что могут различить приближение врага или добычи; но и в этом состоянии она оказывает нам уже большие услуги и может избавить нас от больших опасностей.

Аналогия очевидна; она подтвердится еще более, если сравнить роль чувств у всех животных, от самой низкой до самой высокой ступени интеллектуальной лестницы, с ролью газет в процессе цивилизации. У моллюска, у насекомого, даже у четвероногого, чувства не ограничиваются значением *вестников* для рассудка, а представляют

почти самый этот рассудок, будучи тем более важными, чем они менее совершенны. Но их миссия уменьшается, получая более точные пределы, и постепенно совершенствуясь, они подчиняются одно другому, по мере того, как мы приближаемся к человеку. Равным образом, среди цивилизаций, зарождающихся и низших, таких как наша (ибо наши внуки будут третировать нас свысока, как мы третировали нашу низшую братию), газеты не доставляют своему читателю только сведения, способные возбудить мысль; они думают за него, решают за него, читатель сообразуется с ними и руководится ими механически. Верный признак прогресса цивилизации в классе читателей, это постепенно уменьшающееся количество фраз и возрастающее количество фактов, цифр, точных и верных сведений, которые отводятся в газете для этого класса читателей. Идеалом этого рода была бы газета без политических и передовых статей, вся наполненная графическими кривыми, сухими таблицами, заметками и объявлениями.

Как видите, мы не уменьшаем роли и миссии статистики. Однако же, как бы ни важна была предстоящая ей роль, ее преувеличивают, когда возлагают на статистику надежды, о которых мне необходимо сказать в заключение. Видя, что ее числовые результаты получают правильность, обнаруживают более постоянства; по мере того, как она опирается на большее количество чисел, иногда бывают склонны думать, что в отдаленном будущем, если возрастающий прилив населения будет продолжать расти, а большие государства увеличиваться, наступит момент, когда все социальные явления сведутся к математическим формулам. Отсюда выводят ошибочное заключение, что когда-нибудь статистик будет в состоянии предсказывать будущее социальное положение так же верно, как предсказывает астроном будущее прохождение Венеры. Так что статистике предназначено все более погружаться в будущее, как археологии в прошедшее.

Но из всего предыдущего мы знаем, что статистика сосредоточена в области подражания и что область изобретения является для нее запретной. Будущее будет тем, чем будут его изобретатели, которых статистика не знает и появление которых не содержит ничего, что можно было бы формулировать в виде закона. В этом отношении будущее будет похоже на прошедшее; оно не принадлежит также и археологу, открывающему художественные или ремесленные приемы, которые употреблял какой-нибудь древний народ в известную эпоху своей истории, или, говоря точнее, каковы были в предшествующую эпоху приемы, замещенные нынешними. Каким образом вопреки этому будет счастливее статистик? Власть великих людей, этих временных возмутителей предвидимых вперед кривых, не только не будет уменьшаться, но будет все более и более возрастать; возрастание на-

селения только расширит круг подражающих им клиентов; прогресс цивилизации только облегчит, ускорит подражание их примерам и в то же время умножит за известный период число изобретающих гениев. Чем дальше мы идем, тем более, по-видимому, расширяется область непредвиденного, изобилуя всякого рода новостями в правящем классе изобретателей, в то время как в управляемом классе подражателей все однообразнее и монотоннее распространяется предвиденное, но предвиденное, начавшееся только с того, что не было предвидено.

Однако ж, если взглянуть на это пристальнее, прогресс скорее увеличил умение подражать, вызвал подделку изобретений, чем оплодотворил изобретательный гений. Истинное изобретение, то, которое заслуживает этого названия, становится с каждым днем труднее, а в будущем станет с каждым днем еще реже. Поэтому должно наступить время, когда оно окончательно истощится, так как мозг данной расы не способен к беспредельному развитию. Вследствие этого, рано или поздно, всякой цивилизации, азиатской или европейской, все равно, суждено дойти до своего предела, после чего она начнет бесконечно вращаться в своем кругу. Тогда, без сомнения, и статистика будет обладать тем даром пророчества, какой ей теперь обещают. Но нам еще далеко до этого. Все, что можно сказать в ожидании этого, заключается в том, что, так как смысл будущих изобретений в значительной степени определяется направлением предшествующих изобретений и так как участие этих последних, вследствие их накопления, становится все более и более преобладающим, то когда-нибудь из статистики могут быть с некоторою вероятностью выведены предсказания точно так же, как и археология с достаточною вероятностью в состоянии будет пролить свет на источники истории.

VII

Не бесполезно, в виде резюме, заметить, что эта глава является ответом на следующий трудный вопрос: что такое история? Подобно тому как предшествующая ответила на другой: что такое общество? Много раз бесполезно спрашивали, каков отличительный признак исторических фактов, по какому признаку можно узнать человеческие или природные явления, заслуживающие быть отмеченными историком?

История, по мнению ученых, есть собрание наиболее славных деяний; мы же более склонны сказать: деяний, имевших наибольший успех, то есть таких новшеств, которым всего более подражали. Какой-нибудь факт, имевший огромный успех, может не содержать в

себе ничего достойного славы; например, какое-нибудь новое слово, проникающее в язык и завладевающее им мало по малу, не обращает на себя ничьего внимания; равным образом проходят незамеченными и религиозный обряд или новая идея, мало по малу и без шума пролагающая свой путь среди народа, и какой-нибудь ремесленный прием неизвестного изобретателя, распространяющийся по свету.

Никакое явление нельзя считать истинно историческим, если оно не подойдет под одну из следующих трех категорий: 1) прогресс или упадок какого-нибудь вида подражания; 2) появление одной из тех комбинаций разного рода подражаний, которые я называю изобретениями, в свою очередь также вызывающих подражание; 3) действия человеческих личностей, или далее сил животных, растительных, физических, влияющих так или иначе на создание новых условий для распространения каких-нибудь подражаний, ход или значение которых они видоизменяют. Следовательно, с этой последней точки зрения, вулканическое извержение, оседание острова или континента, даже затмение, когда оно причинило поражение суверенной армии и, еще с большим основанием, случайная болезнь или смерть великой личности могут по своей исторической важности равняться или уподобляться какой-нибудь битве, какому-нибудь мирному договору или союзу между государствами. Часто исход какой-нибудь войны, которою решалась участь данной цивилизации, зависел просто от погоды; суровость зимы 1811 г. столько же повлияла на судьбы Франции и России, как и намеченный Наполеоном план кампании. Если смотреть на дело таким образом, то не только прагматическая, но и анекдотическая история вновь может занять надлежащее место, в чем часто отказывали ей многие философы. Не менее верно и то, что *судьба подражаний*, в сущности, есть единственный предмет, интересующий историю, и что в этом заключается и истинное ее определение.

Для каждого отдельного вида подражательности статистика дает возможность вывести нечто в роде эмпирического закона, как бы давая графическое выражение сложного действия многих причин. Поэтому теперь нам предстоит определить общие научные законы (достойные этого названия), управляющие всякого рода подражаниями, и с этою целью исследовать отдельно различные категории деятелей и причин, до сих пор изучавшихся нами в совокупности.

Вопрос в том, по каким причинам некоторые из нововведений (какой-нибудь десяток из сотни неологизмов, мифологических идей, промышленных изобретений и т. д.) быстро усваиваются многими и распространяются в массе, подражающей их авторам? И почему другие, громадное большинство, девяносто из ста, осуждены на забвение? Существуют, конечно, влияния, содействующие и противодействующие распространению и успеху нововведений. В их числе надо отличать влияние причин и деятелей физических от причин и деятелей общественных. Из нашего исследования мы устраним прежде всего все влияния деятелей физических. Например, чисто физические причины обуславливают в странах с климатом теплым успех новых слов, отличающихся обилием открытых, широких гласных, а в странах холодных распространение слов с гласными глухими. В лингвистике, мифологии, промышленности, искусстве, политике существует много особенностей, зависящих от строения гортани или уха расы, от ее мозговых предрасположений, от характера фауны, флоры, небесных явлений ее страны. Все это мы оставим в стороне от нашего исследования. Обращаясь теперь к причинам общественным, мы и здесь должны различать два вида: причины логические и причины нелогические. Различие это имеет большое значение. Под влиянием причин логических человек принимает нововведение, потому что находит его полезнее или истиннее других, т. е. согласнее с целями и принципами, уже ранее принятыми (тоже в силу подражания). В этом случае дело идет единственно о самом изобретении или открытии (давнем или недавнем), независимо от доверия или недоверия к личности его носителей, или к месту и времени его возникновения. Весьма редки, од-

нако, случаи, когда логические причины проявляются в таком чистом виде. Чаще вместе с ними оказывают свою долю влияния и причины внелогические, нами выше намеченные, нередко склоняя подражательность в сторону примера, в логическом отношении худшего, но имеющего преимущество по своему происхождению или по времени возникновения.

Самые простые общественные явления останутся непонятными, если не обращать внимания на эти различия. Лингвистика, например, представляющая теперь безнадежно спутавшийся клубок, легко выяснилась бы, как мне кажется, при свете этих идей, особенно если бы кто-нибудь из филологов-специалистов выбрал бы это для своих работ¹. Лингвисты ищут законов, управляющих образованием и развитием языков. Но доселе они могли формулировать лишь правила, богатые многочисленными исключениями, к какому бы отделу их науки эти правила ни относились, к образованию ли и преобразованию звуков (законы фонетики), или изменению значения, или возникновению новых слов из старых корней, или развитию новых грамматических форм чрез видоизменение прежних и проч. Но откуда это бессилие лингвистики? Единственно от ложного пути, потому что единственно подражания, а отнюдь не изобретения, подчиняются законам в действительном смысле слова. Целый ряд мелких последовательных изобретений накапливается постепенно, чтобы в конце концов образовать или преобразовать язык. Поэтому-то в лингвистике, прежде всего, необходимо отвести широкое место случайности, частным причинам, благодаря которым, например, число корней данного языка поднимается до той или иной цифры; или корни такого-то языка состоят всегда из трех согласных, а в другом языке они всегда односложны; или для данного оттенка мысли всегда избирается данное окончание и т. д. Но отведя должное место изобретательности, а вместе с тем и влияниям законов физиологических и климатических, мы увидим, что остается за всем тем обширное поле для законов лингвистических. В самом деле, независимо от только что упомянутых данных, не скажу порожденных гением, но во всяком случае основных столько же сколько и нерациональных, в жизни языков проявляются в самом широком размере многочисленные мелкие изобретения, возникающие у их неизвестных авторов путем аналогии², т. е. путем подража-

¹ Как мне кажется, *Реньо*, один из выдающихся молодых лингвистов, в работах своих «Опыт эволюционной лингвистики» (1886 г.) и «Происхождение и философия языка» (1888 г.) стал на точку зрения, весьма близкую к моей, только не вполне категорично сформулированную.

² Все филологи признают громадную роль аналогии в области их науки. См. особенно Сайс.

ния себе и другим. Именно с этой стороны и могут быть уловлены законы их образования и развития. Тот римлянин, который для выражения идеи «достойный уважения» впервые прибавил к корню слова *veneratio* окончание *bilis* (уже употреблявшееся, предположим, в слове *amabilis*), или другой римлянин, впервые произнесший *germanicus* по образцу *italicus*, был конечно, сам того не подозревая, изобретателем, но при этом он был и подражателем в своем изобретении. В каждом отдельном случае подобного распространения и постепенного обобщения какого-либо окончания, или какой-либо формы склонения и спряжения, мы находим подражание себе или другим. И в этой мере законы образования и преобразования языков могут быть уловлены и раскрыты. Законы эти, которые должны показать нам, почему из многих почти тождественных способов и оборотов речи, одинаково доступных общему употреблению племени, страны или народа, одерживает победу один определенный способ, эти законы разделяются на два явственно различных разряда. С одной стороны, мы видим постоянную борьбу мелких лингвистических изобретений, которая в конце концов, через устранение одних изобретений и подражание другим, порождает более или менее быстрое, более или менее полное (сообразно духу народа) приспособление языка к условиям внешней действительности и общественным задачам речи. Так, лексикон языка, обогащаясь новыми словами и выражениями, отвечает потребностям большого числа людей и большему разнообразию их способностей и склонностей. Грамматика, через более совершенное и разностороннее спряжение глаголов или через выработку более ясных и логических оборотов речи, делает язык способным выражать более тонкие отношения во времени и в пространстве. Вообще язык становится тем приложимее и тем удобнее, чем более суживаются и разнообразятся гласные (в санскрите мы видим все звуки открытые, широкие, как *a* или *o*; в греческом и латинском появляются *e*, *u*, *y*, *i*, смягчая и дифференцируя гамму гласных звуков), а так же чем более сокращаются и упрощаются слова. Некоторые лингвисты, как Реньо¹, даже возвели на степень закона для языков арийских — сужение гласных и сокращение слов. В зендском языке так же, как в греческом, латинском, французском, английском, немецком, звук *e* является в бесчисленных случаях ослабленным заместителем звука *a*, между тем как никогда или почти никогда не встречается случаев обратных. Если бы это правило, заметим мимоходом, можно было принять без оговорок, то оно могло бы служить отличным примером лингвистической ирреверсивности (безвозвратности языковых изменений).

¹ См. *Essais de linguistique évolutionniste*, уже выше цитированный.

Однако, с другой стороны, мы видим далее в самых совершенных языках, как греческий (о котором говорят, что его спряжение есть образец воплощенной логики¹, много изменений, возникших с течением времени и весьма далеких от усовершенствования, нисколько не отвечающих прогрессу полезности и истинности. Было ли полезно, что греческий язык потерял звуки *j* и *v* (дигамма), или приобрел свистящее начало во многих словах, и не следует ли скорее считать эти изменения признаком меньшего совершенства? И не видим ли так же во французском языке, в явном противоречии с законом сокращения слов, замену форм сокращенных — формами более развитыми, напр. *portique* вместо *porche*, или *capital* вместо *cheptel* и т. д.? Причина в том, что в этих случаях оказывались преобладающими влияния, совершенно не считавшиеся с логикой и задачами речи; во втором случае, например, мы знаем, что авторитетные писатели, из слепого подражания латинскому, создали такие слова как *portique* и *capital*, а обаяние их личности узаконило и ввело в общее употребление их изобретение².

Довольно, однако, с нас лингвистики. Эти немногие примеры достаточно выяснили нам всю важность законов, которые мы должны формулировать. В этой главе мы займемся исключительно законами логическими.

I

Изобретение и подражание — таков основной элементарный общественный процесс. Но в чем состоит та сущность (субстанция), выражением которой является этот процесс? В чем заключается та общественная сила, которая его порождает? Другими словами, что такое изобретается? И чему такому подражают? То, что изобретается, то, чему подражают, представляет собою не что иное, как идею или желание, суждение или намерение, в которых проявляются в известной мере верование и хотение, составляющие в сущности истинную душу всякого слова в языке, всякой молитвы в религии, всякого мероприятия в государстве, всякой работы в промышленности, всякого действия в искусстве. Верование и хотение — вот, стало

¹ Слова историка Курциуса на основании отзыва его брата филолога.

² Мы знаем так же, что какое-либо наречие в стране, вроде Греции или средневековой Франции, наконец торжествует победу и обращает другие наречия в местные говоры; но этим торжеством оно не всегда обязано своим достоинствам и никогда только одним достоинствам. Ему дают успех политическое значение и преобладание его родины. Престиж Парижа сделал французским языком наречие Иль-де-Франса. Таким образом, те же законы подражательности объясняют и развитие языка, и его распространение.

быть, сущность (субстанция) и сила; вот те две психологические величины¹, которые анализ находит в основании всех с ними скомбинированных *чувственных* явлений; а когда изобретательность и за нею подражательность овладеют ими, воспользуются и организуются, то они же явятся и двумя основными величинами общественными. Общества организуются именно через согласие и разногласие верований, взаимно укрепляемых и взаимно ограничиваемых: в этом заключается сущность их учреждений. Именно через согласие и разногласие желаний и потребностей общества функционируют. Верования, преимущественно религиозные и нравственные, но также и юридические, политические, даже лингвистические (если вспомним силу красноречия и ту могущественную убедительность, столько же непреодолимую, сколько бессознательную, какую обнаруживает над нами родной язык) — это пластические силы общества. Потребности, экономические и эстетические, представляют силы, определяющие его отправления. Источник этих верований и этих потребностей, в частности определяемых изобретательностью и подражательностью и в этом смысле ими порождаемых, в действительности же предшествующих их деятельности, — лежит глубоко под миром явлений общественных, в мире явлений жизненных; подобно тому, как источник сил, определяющий строение и отправления живых тел, в частности определяемых и применяемых процессом генезиса, лежит под миром явлений биологических, в мире явлений физических; подобно тому далее, как источник молекулярных и двигательных сил мира физического, управляемых законом колебаний, лежит в мире, уже не доступном нашим физикам, в мире гипотетическом, что одни называют нуменами, другие — энергией, третьи — непознаваемым. Энергия

¹ Я позволяю себе отослать читателей-психологов к двум статьям моим, напечатанным в Revue Philosophique (август и сентябрь 1880 г.) о верованиях и хотениях, и возможности их измерения. С тех пор мои идеи несколько изменились, но вот в каком смысле. Я готов согласиться, что я несколько преувеличил роль *верований* и *хотения* в индивидуальной психологии и что я не решусь теперь утверждать с такою же уверенностью, что эти две стороны нашего я суть единственный более или менее измеримые. Но за то я придаю им тем большее значение в психологии общественной. Допустим, что в душе существуют другие величины; согласимся, например с психофизиками, что ощущения, рассматриваемые отдельно от внимания, на них обращенного, могут изменяться количественно, не меняясь качественно, и таким образом могут быть измерены экспериментально. Столь же несомненно, однако, что с точки зрения общественной верование и хотение отличаются особым им свойственным признаком, устанавливающим твердое отличие от простого ощущения. Этот признак заключается в том, что взаимная заразительность примера проявляется во всех тех, кто его одновременно чувствует и сознает, как усиление сходных верований и хотений и как ослабление или усиление антагоничных, смотря по обстоятельствам. Между тем, ощущение зрительное или слуховое, испытываемое, например, в театре, в толпе, смотрящий тот же спектакль или слушающий тот же концерт, нимало не изменяется этого единовременностью аналогичных впечатлений, испытываемых окружающими.

есть наиболее распространенное название этой тайны. Этим единым термином обозначают некую реальность, которая, как видно, всегда обнаруживается двояко; это вечное раздвоение, воспроизводящееся в поразительных метаморфозах, составляет важную черту, общую всем, друг над другом возвышающимся стадиям мировой жизни. Под названиями вещества и движения, органов и отправлений, учреждений и прогресса, это великое различие статического и динамического, включающее и различие пространства и времени, разделяет надвое всю вселенную.

Прежде всего надлежит точнее определить отношение этих двух областей. Для этого может служить лучше всего замечательное воззрение, лежащее в основании спенсеровской формулы развития, воззрение, по которому всякое развитие заключается в накоплении вещества при соответственной потере движения, а всякое разложение — наоборот. Если несколько видоизменить эту мысль и изложить ее языком менее материалистическим, то это может означать, что всякое развитие жизни или общества заключается в возрастании организации, которое возмещается или *вернее порождается* соответственным сокращением отправлений. По мере того, как организм увеличивается в весе и в объеме, как развивается и точнее определяет свои характеристические формы, он теряет часть своей жизненности¹, именно потому, что он ее затратил на это развитие, о чем Спенсер забывает упомянуть. По мере того, как общество распространяется, растет, совершенствуется и усложняет свои учреждения язык, религию, право, правительство, промыслы, искусства, оно теряет отчасти свои цивилизаторские и прогрессивные стремления — потому конечно, что оно уже сделало из них это употребление. Другими словами, оно обогащается верованиями более, нежели хотениями, потому что сущность всех общественных учреждений представляется сложением веры и уверенности, истины и безопасности, словом верований, в них воплощающихся, как двигательная сила общественного прогресса представляется суммой любознательности и самолюбия, одним словом солидарных хотений, в них выражающихся. Истинная и конечная цель всякого желания есть, стало быть, верование, и единственная задача всяких движений сердца — достичь полной уверенности и твердых убеждений ума. И чем общество далее подвинулось по пути прогресса, тем более мы находим в нем, как в зрелом уме, твердости и спокойствия, крепких убеждений и погасших страстей, причем страсти, постепенно погасая, постепенно же кристаллизуются в убежде-

¹ Соответственно массе, тело ребенка включает больше активности, нежели тело взрослого, *относительная* жизненность которого, стало быть, уменьшилась.

ния¹. Общественный мир, одинаковая вера в один и тот же идеал или в одну и ту же иллюзию, единогласие, подразумевающее все более широкую и глубокую ассимиляцию всего человечества, — вот конечный исход, к которому ведут все общественные перевороты, независимо от того, имеют ли они эту цель, или нет. Таков прогресс, т. е. движение мира общественного по путям логическим.

Но как совершается прогресс? Когда человек размышляет о каком-нибудь предмете, ему является идея, потом другая, третья, покуда, переходя от идеи к идее, от ошибки к ошибке, он не схватывает наконец решения задачи, постепенно проливающего свет на всю совокупность предмета. Не тоже ли самое видим мы в истории? Когда общество вырабатывает какое-либо важное мировоззрение, для которого еще не приготовила материала его наука, например, механическое объяснение мира, или когда добивается успеха, о котором мечтает его честолюбие, прежде нежели его деятельность может достигнуть, например, применения парового двигателя к производству, транспорту, навигации, то что видим мы в этих случаях? Сперва мы замечаем возникновение всевозможного рода изобретений, взаимно противоречивых идей и фантазий, то появляющихся, то исчезающих, покуда установление некоторых ясных формул, построение некоторых пригодных машин не заставит позабыть все остальное, чтобы отныне служить основанием для надстройки дальнейших усовершенствований, для последующего развития. Прогресс является, стало быть, чем-то в роде коллективного мышления без коллективного мозга, но возможного, благодаря солидарности (как последствие подражательности) многих мозгов изобретателей и ученых, обменивающихся своими открытиями. Отметим кстати закрепление открытий через письменность, позволяющее их сообщение на расстоянии и через значительные промежутки времени и соответствующее закреплению образов, совершающемуся в индивидуальном мозгу и служащему органической основой памяти.

Из этого следует, что общественный прогресс, как и индивидуальный, совершается двумя способами, через *замену* и через *накопление*. Бывают открытия и изобретения, которые могут послужить только для замены, другие же подлежат и накоплению. Отсюда с одной стороны логические столкновения (борьба), с другой — логические единения (союз). Группировка эта имеет большое значение, и нам не трудно будет распределить по этим двум категориям все исторические явления.

¹ Заметим еще раз: с развитием цивилизации потребности умножаются, но слабеют; истины и уверенности, умножаясь еще быстрее, вместе с тем усиливаются. Контраст оканчивается особенно ярким, если принять исходным пунктом развития цивилизации варварство, а не дикость, которая, как мы ее ныне можем наблюдать, является последним словом законченного общественного развития, а не началом высшего развития.

Антагонизм между новою потребностью и потребностями прежними, между новою научною идеей и тем или иным религиозным догматом, не всегда чувствуется немедленно, и различные общества употребляют на это обнаружение антагонизма неодинаковое время. А когда наконец общество его почувствовало, то желание положить ему предел обнаруживается в различных обществах с неодинаковою силою. Напряженность такого желания и его природа видоизменяются соответственно условиям места и времени. В обществах, как и в индивидах, существует свой *разум*. И разум этот в обоих случаях представляется не более, как потребностью, такую же как всякая иная, но потребностью специальной, развившейся отчасти из факта ее удовлетворения и порожденной изобретениями и открытиями, ее удовлетворявшими, иначе говоря, системами и программами, религиозными предписаниями и политическими учреждениями, которые, приводя идеи и стремления к единомыслию, тем самым создали или возбудили желание такого единомыслия. Эта склонность или желание является действительной серьезной силой, заключенной в мозгах индивидов. Сила эта то растет, то падает; склоняется вправо и влево; направляется на тот или иной предмет, смотря по времени и стране; то нисходит до незначительного ветерка, то разражается страшным ураганом; сегодня атакует политические учреждения, вчера — религию, третьего дня — язык, завтра обрушится на промышленную организацию, послезавтра — на науку, но ни на минуту не остановится в своей работе, порой творческой, порой разрушительной. Эта потребность, как уже упомянуто, возбуждена и воспитана целым рядом инициатив, но — надо прибавить к этому — и целым рядом подражаний, потому что нововведение, не вызвавшее подражаний, социально как бы не существует. Следовательно, все эти отдельные потоки веры и хотения, встречающиеся и сливающиеся в общественной жизни, все эти величины, слагающиеся и вычитающиеся согласно социальной логике, этой своеобразной алгебре, даже само желание этого всеобщего сложения и сама вера в его возможность, все они порождаются подражательностью. И в самом деле, ничто в истории не совершается обособленно, даже ее, всегда несовершенное, единство, этот медленно слагающийся плод постоянных, более или менее успешных усилий. Правда, драма (театральная пьеса), отражающая в себе как бы обломок истории, представляется последовательным логическим построением, которое кажется возникшими обособленно помимо желания кого-либо. Но известно, что это лишь обманчивая видимость и это построение только потому совершается так быстро и так правильно, что отвечает повелительной потребности единения, почувствованной драматургом и его публикою, для которой им написана драма.

То же самое всюду, включая и *потребность изобретения*, в сущности имеющую тоже происхождение. Собственно говоря, эта потребность дополняет собою потребность логического объединения и является ее составной частью, потому что сама логика, как это можно бы было показать, представляется двойною проблемою: стремления к наибольшему движению и стремления к равновесию. Народ тем изобретательнее и тем склоннее ко всякого рода открытиям в данную эпоху, чем более сделал он в эту эпоху открытий и изобретений. И опять-таки не что иное, как подражательность, покоряет этой страсти умы, ее достойные. Открытия, между тем, представляют рост достоверности, изобретения — увеличение доверия и безопасности. Потребность открывать и изобретать представляется, стало быть, двоякой формой, в которую облекается стремление к наибольшему, к возможному *максимуму* общественной веры. Это творческое стремление, отличающее умы синтетические и обобщающие, то чередуется, то сталкивается и в конце концов согласуется с критическим стремлением к равновесию верований, через устранение изобретений и открытий, ставших в противоречие с большинством других. Таким путем, шаг за шагом, все полнее удовлетворяется желание умножения веры и желание ее очищения. Вообще говоря, их успехи совпадают или быстро друг за другом следуют. В самом деле, общим их источником является подражательность, а стало быть, оба явления — потребность полной веры, так же как и потребность веры твердой, развиваются, *coeteris paribus*, пропорционально оживлению общества, иначе говоря, пропорционально количеству отношений между лицами, составляющими общество. Для того, чтобы удачная комбинация идей озарила умы нации, необходимо, чтобы она прежде осветила мозг одного какого-либо индивида, и это совершается тем скорее и тем лучше, чем чаще и полнее происходит обмен идей между индивидуальными умами. Равным образом, для того чтобы противоречие между двумя учреждениями или между двумя принципами сделалось для общества стеснительно, необходимо, чтобы прежде того оно было замечено более тонким умом, мыслителем-систематиком, который, встретив в этом противоречии препятствие для объединения своих идей, возвестил бы об этом. Отсюда вполне ясно общественное значение философов; и чем больше будет сношения между умами, чем оживленнее будет движение идей в нации, тем легче и скорее будут замечаемы и обнаруживаемы эти противоречия. Например, несомненно, что в течение настоящего века сношения и столкновения людей, благодаря перевозочным изобретениям, умножились в разmere, превзошедшем всякие ожидания, и что вследствие этого проявление подражательности сделалось сильнее, шире и быстрее, а с другой

стороны несомненно, что, благодаря этому, мы видим такое широкое развитие стремлений к социальным реформам, к рациональным и систематическим общественным преобразованиям. Равным образом, громадные успехи и победы над природою, особенно в области промышленности, сняли всякую узду со стремлений к дальнейшим успехам по тому же пути. После века открытий (имя, вполне заслуженное нашим веком) можно смело предсказать наступление века согласования открытий, приведения их к логической гармонии. Цивилизация требует одновременно или последовательно этого прилива и этого усилия.

В мало изобретательные периоды общества отличаются слабой критикой, и наоборот. По обычаю принимают они с разных сторон и по традиции получают из разных прошедших эпох и периодов верования самые противоречивые¹, и никто не замечает этих противоречий. С другой стороны, благодаря своим разнообразным сношениям, эти общества носят в себе массу рассеянных и разрозненных сведений и идей, которые, будучи объединены и систематизированы под известным углом зрения, взаимно выяснились бы в своей зависимости и значении, но и этого никто не замечает. Равным образом, они заимствуют у своих соседей или свято хранят, как наследие своих предков, самые несогласуемые методы и установления в промышленности, искусстве и т. д., а это порождает в них мало согласуемые потребности и плохо гармонирующие, даже взаимно противоборствующие течения деятельности. Но и эти *практические антиномии* так же, как и только что отмеченные теоретические противоречия, никем не обнаруживаются и не замечаются, хотя все страдают от нестроений, ими порожаемых. В тоже самое время никто не замечает, что между приемами искусства, между ремесленными инструментами этих первобытных народов встречаются такие, которые, будучи соединены и скомбинированы, могли бы взаимно оказать значительное содействие, взаимно облегчить достижение цели, служа друг-другу орудием и средством подобно тому, как известные понятия могут служить объяснением и опорой известным гипотезам, находящим в них подтверждение. Долгое время были известны и водяное колесо, и жернов, но никто не догадывался, что при помощи некоторой комбинации (т. е. нового

¹ Напр. «Буддизм, — говорит г. Барт, — носил в себе отрицание не каст вообще, но в частности касты браминов, независимо от всяких уравнилельных доктрин и без всяких с его стороны революционных тенденций. Весьма возможно, что это противоречие долгое время оставалось незамеченным ни с той, ни с другой стороны». Но затем это стало очевидным. Это не мешает другим бессознательным противоречиям, напр. «имя брамина осталось почетным у буддистов, и на Цейлоне оно было присвоено королям» вроде того, как титулы графов и маркизов ценятся в нашем демократическом обществе, представляющем отрицание феодального строя.

изобретения, присоединяющего новую идею мельницы к двум прежним), водяное колесо может могущественно содействовать жернову в его задачах, а жернов может дать неожиданно широкое применение водяному колесу. В Вавилоне печатали на кирпичах имя фабриканта при помощи подвижных шрифтов и в то же время составляли книги, но никому не пришло в голову соединить эти две идеи и печатать книги при помощи подвижных шрифтов, хотя это кажется столь просто, и тем упредить изобретение книгопечатания на несколько тысячелетий.

Равным образом, очень долго и одновременно были известны повозка и паровой котел, но никто не пробовал (при помощи нового изобретения) найти в паровом котле средство двигать повозку. Обратный случай видим мы в конце средних веков, когда от арабов и из глубины античного мира проникли в замки и монастыри утонченные, соблазнительные языческие вкусы, которые однако никого не шокировали своим противоречием ни с духом христианского благочестия, ни с грубостью феодальных нравов! А в наши дни разве не выдвигается ежедневно масса самых противоречивых задач в деятельности промышленной или национальной! Все же, по мере того как ускоряется обмен и трение идей, а сообщение и распространение потребностей становится легче, в той же мере ускоряется и облегчается и устранение идеями и потребностями более сильными — идей и потребностей более слабых, ставших с ними в противоречие, а с другой стороны в то же самое время, в силу тех же самых причин, в умах творческих скорее происходит встреча и объяснение идей и потребностей, взаимно подкрепляющих друг друга, взаимно содействующих друг другу. Этими путями жизнь общественная естественно достигает единства и логической силы, никогда прежде не наблюдавшихся¹.

На предыдущих страницах мы показали, как зарождается и развивается потребность в общественной логике, без какой потребности не возникла бы сама общественная логика. Теперь нам предстоит показать, — как она действует в видах собственного удовлетворения. Мы уже знаем, что она делится между двумя стремлениями, творческим и критическим. Одно течение характеризуется комбинацией тех прежних изобретений и открытий, которые могут накапливаться;

¹ Отсюда видим, почему насильственное объединение национальной веры (вроде отмены Нантского эдикта, религиозных преследований, и пр.) не достигает цели. Этим способом, правда, удерживают население вдали от противоречий, которые могли бы отразиться на их верованиях, но вместе с тем мешают их росту. Незнание противоречий, подавляющее критику, подавляет также воображение и отнимает сознание взаимной связи и поддержки у исповедуемых мнений. Наступает однако момент, как часто и случается, когда подавить критику становится уже невозможным.

другое — борьбой тех изобретений и открытий, которые подлежат замене. Изобретения и открытия *накопляемые* — это одна категория, *заменяемые* — другая. Мы начнем наш анализ с последней.

II

Логические поединки¹

Появляется изобретение или открытие. В связи с этим появлением надлежит отметить два факта: умножение веры в него, через его пропаганду и распространение, и уменьшение веры в какое-либо прежнее открытие или изобретение, с которым оно стало в противоречие и которое имело ту же задачу и отвечало той же потребности. Эта встреча открытий или изобретений представляет случай логического поединка. Например, в течение веков в передней Азии распространялись одни лишь клинообразные письма, тогда как алфавит финикийский столь же одиноко покорял себе побережья Средиземного моря. Но наступил день, когда оба алфавита встретились и вступили в борьбу за господство в передней Азии, откуда медленно и постепенно, к первому веку нашей эры, клинообразные письма и были вытеснены.

История общественная, как развитие психологическое, изучаемое в его подробностях, представляется, стало быть, рядом последовательных и единовременных логических поединков (в той мере, в какой она не является рядом логических союзов). Это произошло с письмами, а ранее того произошло и с языками. Лингвистический прогресс совершается всегда сперва посредством подражания, затем борьбой двух языков или двух наречий, взаимно оспаривающих одну и ту же страну, наконец утрачиваемую одним из них, а равно и борьбой между двумя выраженными или двумя оборотами речи, отвечающими одному и тому же значению, эта борьба является столкновением противоположных тезисов, заключенных в каждом слове и в каждом обороте, стремящихся заменить другое слово или другой оборот. Если в тот момент, когда я думаю о лошади, моему уму представляются сразу два имени, *equus* и *caballus*, заимствованные из двух различных латинских наречий, то в моем мозгу как бы происходит борьба двух суждений: «лучше этому животному дать имя *equus* не-

¹ Мы говорим «поединок логический», но с большим еще правом мы могли бы сказать «поединок телеологический», как дальше «союз логический» будет обозначать «союз телеологический». Мы однако сочли нужным не разделять этих двух точек зрения, по крайней мере, в этой главе.

жели *caballus*» и другое: «лучше этому животному дать имя *caballus*, нежели *equus*». Если для того, чтобы обозначить множественное число, мне приходится выбирать между двумя окончаниями — *i* и *s*, то и этот выбор равным образом сопровождается столкновением суждений, друг другу противоречащих. Когда формировались романские языки, противоречия подобного рода в мозгах галло-романских, испанских, итальянских, возникали тысячами, и необходимость дать им решение породила новые наречия. То, что филологи называют упрощением грамматики, в сущности есть лишь результат этой работы устранения, вызванной неопределенным сознанием таких невыясненных противоречий. Вот почему итальянец говорит всегда *i*, а испанец — всегда *s*, тогда как римлянин говорил то *i*, то *s*.

Я сравниваю логическую борьбу с поединком, потому что, в самом деле, в каждом из этих столкновений, взятом отдельно, в каждом из этих элементарных фактов общественной жизни, издаваемых в бесчисленном количестве экземпляров, всегда встречаются *два* суждения или намерения. Видели ли вы когда-либо — в древности, в средние века, или во времена новейшие, сражение между тремя или четырьмя противниками? Могут принимать участие в битве семь или восемь, десять или двенадцать армий различных национальностей, но друг против друга имеются на лицо все же лишь два лагеря, две воюющие стороны. Равным образом и в военном совете, предшествовавшем битве, могли одновременно сталкиваться лишь два мнения по поводу каждого предложенного плана, мнение, проводившее план, и совокупность всех остальных, соединившихся в его порицании. Очевидно, что то разногласие, тот спор, которые подлежат разрешению на поле битвы, сводятся с одной стороны к известному *да*, утверждаемому одними, а с другой стороны, к *нет*, противопоставляемому другими. В конце концов в этом заключается всякий *casus belli*. Без сомнения, и та воюющая сторона, которая отрицает тезис противника (как в войнах религиозных, преимущественно) или сопротивляется его намерению (войны политические), имеет равным образом свой тезис и свое намерение, но именно в этих более или менее определенных или неопределенных, более или менее прямых или косвенных отрицаниях и препятствиях черпает ее мысль и ее воля решимость войны, делая наконец столкновение неизбежным. Вот почему, например, сколько бы ни было в стране политических партий и фракций, по каждому отдельному вопросу, стоящему на очереди, мы видим поединок между правительством и тем, что называется оппозицией и что образуется через соединение разнородных партий, объединяемых лишь отрицательной стороной их доктрины или программы. Замечание это должно быть отнесено и ко всем остальным явлениям. Всюду и всегда видимая непрерыв-

ность истории разлагается на множество малых и великих событий, отличимых и отделимых происшествий, которые все представляются в виде *вопросов, сопровождаемых решениями*. Вопрос же для общества, как и для индивидов, состоит в колебании между утверждением и отрицанием, между целью и препятствием; что касается решения, то ниже мы увидим, что оно заключается в уничтожении одного из противников или одной из противоположностей. Теперь мы сосредоточим внимание на вопросах. Это поистине логические прения. Одна сторона говорит *да*, другая — *нет*. Одни хотят *да*, другие — *нет*. Среди явлений развития языка или религии, права или правительства, или иных, все равно, не трудно указать сторону, утверждающую *да*, и сторону, противопоставляющую ей свое *нет*.

В элементарных лингвистических поединках, отмеченных нами выше, термин или общепринятое выражение *утверждают*, термины или выражения новые *отрицают*. В поединках религиозных официальный догмат утверждает, догмат еретический отрицает. Позднее, когда наука пытается заменить религию, общепринятая теория является утверждением, отрицаемым новой теорией. Юридические столкновения бывают двух родов: одни в парламентах и кабинетах, где вырабатываются законы и указы; другие в стенах судов, где происходят судебные процессы. Но для законодателя всегда представляется необходимость выбора между одобрением законопроекта, т. е. утверждением, и его неодобрением, т. е. отрицанием. То же и относительно судов, в которых каждый судебный процесс происходит (особенность не отмеченная, но знаменательная) между *истцом*, который утверждает, и *защитником*, который отрицает. Если ответчик, в свою очередь, предъявляет иск, называемый встречным, то это в сущности уже другой побочный процесс, так сказать привитый к главному. Если в процесс вступают третьи стороны, то каждая из них, в свою очередь, является в роли истца или ответчика и умножает своим присутствием число отдельных и отличимых мелких процессов, заключенных в большом сложном процессе. В политических столкновениях надо отличать войны внешние и внутренние. Эти последние, называемые гражданскими войнами, когда они в минуту своего высшего напряжения переходят в вооруженное столкновение, — во времена обыкновенные выражаются в парламентской или избирательной борьбе партий. Не видим ли мы в войнах внешних всегда армию нападающую и армию обороняющуюся? Армию, желающую произвести известную операцию, и армию, не желающую этой операции? Но кроме того и прежде всего, причина всякой войны не заключается ли в притязании, предъявленном одной из воюющих сторон, или (в случае войны из за доктрины) в догмате, провозглашенном и навязываемом одной сто-

роной, тогда как другая сторона отвергает это притязание или этот догмат? В борьбе избирательной или парламентской мы видим столько отдельных столкновений, сколько предложено мероприятий или провозглашено принципов одними в то время, как эти мероприятия и принципы порицаются и отрицаются другими. Этот процесс между официальным истцом и одним или многими защитниками оппозиции возобновляется под тысячами предлогов с самого дня образования известного правительства или министерства и кончается либо совершенным уничтожением оппозиции (например, в 1594 г. поражением Лиги), либо падением правительства или министерства. То же самое видим мы и в среде явлений промышленной конкуренции. Они состоят в многочисленных поединках, одновременных и последовательных, между изобретением, уже общераспространенным, утвердившимся в течение более или менее продолжительного времени, и изобретением или даже несколькими изобретениями — новыми, ищущими распространения и лучше удовлетворяющими той же потребности. Во всяком экономически прогрессирующем обществе поэтому всегда обращаются старые продукты, ведущие при неравных шансах борьбу с новыми продуктами. Производство и потребление первых, например сальных свечей, подразумевает убеждение и утверждение, что эти свечи являются лучшим или выгоднейшим способом освещения, утверждение, отрицаемое производителями и потребителями новых продуктов. Под этим столкновением производств открывается, таким образом, столкновение суждений. Борьба, ныне уже оконченная между тростниковым и свекловичным сахаром, между дилижансом и локомотивом, между парусным и паровым флотом и т. д., была в полном смысле слова общественным дебатом, даже диспутом, потому что здесь сталкивались даже не суждения, а два силлогизма (обыкновенно не замечаемые логиками). Например, одна сторона рассуждала: «Лошадь есть самое быстрое домашнее животное и, как переезды возможны лишь при помощи домашних животных, то, конечно, дилижанс является лучшим способом езды». Другая сторона на это отвечала: «Правда, что лошадь есть самое быстрое домашнее животное, но неправда, что единственно сила домашних животных может быть употребляема для перевозки путешественников и товаров; следовательно и все предшествующее рассуждение ложно». Это замечание наше должно быть обобщено, потому что подобные же столкновения силлогизмов легко могут быть усмотрены и в других логических поединках, перечисленных нами выше. К этому надо прибавить, что на почве промышленной борьба происходит не только между изобретениями, отвечающими одной потребности, и не только между фабриками или сословиями, их монополизировавшими, но и

между потребителями разного рода, из которой одна сторона опирается на общее и господствующее хотение, развитое всею совокупностью прежних изобретений, например, любовь к отечеству древних римлян, а другая, вызванная изобретениями недавними или недавно внесенными извне, например, вкус к произведениям искусства или к восточной неге, оспаривает превосходство первой и борется с нею. Правда, этот род борьбы по-видимому скорее относится к области нравственности, чем к области промышленности, но нравственность является в известном смысле промышленностью, рассматриваемой в ее высшем и руководящем выражении. Правительство представляется с этой точки зрения просто специальной промышленностью, способной или только признанной способной удовлетворить ту потребность, то верховное желание, которые, благодаря долговременному преобладанию известного производства и потребления и долговременному господству известного убеждения, стали в сердцах народа выше всякого спора и сомнения и которым нравственность стремится подчинить все остальные потребности и желания. Одна сторона требует прежде всего славы, другая — земли, третья — денег, смотря по тому, трудились ли они преимущественно с оружием в руках, или за плугом, или на фабрике. Каждое мгновение, общество и индивиды — все мы находимся под властью желаний и идей: под властью какого-либо руководящего желания, вернее, прежнего решения, в нас живущего, но порожденного прежними столкновениями и постоянно снова и снова вступающего в борьбу, и, в то же самое время, под властью определенной идеи, которая, будучи одобрена нами после колебания, постоянно снова и снова оспаривается другими идеями. Это называется умственным состоянием в индивидах и состоянием социальным в обществах. Всякое социальное состояние также, как и умственное, предполагает в течение всего своего существования то, что называется идеалом. Для создания этого идеала, охраняемого и оберегаемого нравственностью, послужило все военное и промышленное прошлое общества и все его прошлое художественное, потому что и в недрах искусства происходят свои специальные битвы утверждений и отрицаний. В каждой отрасли искусства, во всякое время, господствует какая-либо школа, утверждающая тот или иной род красоты, отрицаемый другими школами.

Остановимся однако, чтобы лучше уяснить предшествующее. Мы рассматриваем общественные явления преимущественно с точки зрения логической, т. е. более с точки зрения заключенных в этих явлениях верований, утверждаемых или отрицаемых, нежели с точки зрения тоже заключенных в них хотений, солидарных или противоречивых. Затруднение может встретиться лишь в понимании того,

как изобретения и их агрегаты, учреждения, могут быть утверждаемы и отрицаемы. Разъясним этот вопрос раз и навсегда. Изобретение только удовлетворяет или вызывает хотение; хотение выражается в намерении, а намерение, хотя само по себе представляется в форме псевдосуждения (я хочу, я не хочу), заключает в себе всегда надежду или опасение, чаще надежду, т. е. уже настоящее суждение. Надеяться или опасаться значит утверждать или отрицать, с известной степенью уверенности, что желаемое совершится. Если, например, я желаю быть депутатом — желание, возникшее во мне вследствие изобретения системы парламентского и всенародного голосования, — то это значит, что я надеюсь им стать, приняв известные меры. И если мои противники становятся мне поперек дороги (потому что они верят, что нечто другое им лучше поможет получить искомые места и удовлетворить их желания, вызванные в них прежним или недавним изобретением этих мест), то это значит, что они питают надежды, как раз противоположные. Я утверждаю, что, благодаря моим мерам, я буду избран; они это отрицают. Если бы они перестали это отрицать, если бы они потеряли всякую надежду, они не боролись бы со мной, и телеологический поединок прекратился бы здесь, как и всюду, вместе с поединком логическим, что и выясняет всю важность этого последнего.

С этой точки зрения, общественная жизнь является сцеплением вечных столкновений между смутными надеждами и опасениями, возникающими под возбуждательным влиянием новых идей, порождающих новые потребности. Мы занимаемся вопросами общественной логики или телеологии в каждом случае, когда обращаем внимание на столкновение или сочетание потребностей, на столкновение или сочетание надежд. Когда два изобретения отвечают одной и той же потребности, они, как выше объяснено, сталкиваются, но потому только, что каждое подразумевает в умах производителей и потребителей надежду или убеждение в его превосходстве, в лучшем соответствии цели и в меньшей пригодности всех остальных. Далее, два изобретения могут войти в столкновение и тогда, когда они удовлетворяют разным потребностям. Это происходит иногда вследствие того, что обе эти потребности являются лишь различными выражениями одной высшей потребности, которую каждая из них претендует лучше выражать. Иногда же причина таких столкновений заключается в том, что каждая из двух данных потребностей может быть удовлетворена лишь в ущерб другой и подразумевает надежду, что эта последняя удовлетворена не будет. Пример первого рода: изобретение живописи масляными красками в XV в. отрицало древнее изобретение живописи воском в том смысле, что распространение вкуса к первой оспаривало у еще сохранявшегося вкуса ко второй право считать себя

высшей формой вкуса в картинах. Пример второго рода: изобретение пороха в XIV в., развивая в монархах стремление к завоеваниям и централизации, не осуществимое без подчинения феодальных сеньоров, находилось в противоречии с прежним изобретением укрепленных замков и сложного вооружения, которое развило в сеньорах потребность в феодальной независимости. И если феодалы сопротивлялись королям, то конечно потому, что продолжали надеяться на свои бойницы и свои латы, как короли полагались на свои пушки.

За всем тем однако сталкиваются в истории преимущественно изобретения, отвечающие одной и той же потребности. Конечно, введение среди христиан диакона и епископства противоречило более древним языческим учреждениям преторства, консульства, патрициата. Получая эти достоинства, язычник полагал этим удовлетворить свое желание истинного величия и отрицал, чтобы это желание могло быть удовлетворено получением выше упомянутых христианских степеней. Убеждение христианское было, конечно, совершенно обратное. Общественное состояние, допускавшее рядом эти противоречивые учреждения, носило в себе скрытый порок. И в самом деле множество противоречий подобного рода, возникших в древнем мире с усилением христианства, повело к разложению римской империи, и затем к новому просачиванию римской цивилизации (в эпоху Возрождения), снова восторжествовавшей над цивилизацией католической. В известном смысле, введение монашества и вообще духовенства отрицало древнее изобретение римской фаланги, потому что каждое учреждение в глазах своих приверженцев представлялось единственным средством действительного спасения. Подобным же образом стиль готический отрицал орден коринфский или дорийский; рифмованный десятисложный стих отрицал гекзаметр и пентаметр. Для римлянина гекзаметр и коринфский стиль отвечали его желанию красоты, литературной и архитектурной; для француза XII в. они более не отвечали такому желанию, а отвечали ему единственно рифмованный силлабический стих труверов и стиль Notre dame de Paris. Если в этих явлениях было что-либо несогласное, то единственно те суждения, которые их сопровождали. Это до такой степени справедливо, что более широкое развитие вкуса в более поздние времена включило в представление о величии — и патрициат, и епископат; в представление о красоте — и гекзаметр, и героическое стихосложение; эти явления, прежде антагонистические, оказались способными существовать и развиваться рядом. Равным образом предписания монашеские и предписания воинской тактики древних оказались вполне совместимыми, когда решили видеть в одних средство спасения в жизни будущей, а в других — в жизни настоящей.

Таким образом, должно признать, что все общественные успехи, достигаемые через устранение, состоят прежде всего в поединках между утверждением и отрицанием. Не мешает, однако, прибавить, что отрицание не проявляется обособленно, но должно опираться на новое положение, отрицаемое в свою очередь положением оспариваемым. Стало быть, всегда в эпоху прогресса устранение должно быть вместе с тем заменой. Выше мы и соединили эти две идеи в одну последнюю. Необходимость этого сочетания объясняет нам бессилие политической оппозиции, не опирающейся на собственную программу, и бессилие критики, все отрицающей, ничего не утверждая. По той же причине, ни один из значительных ересиархов и религиозных реформаторов не ограничивается одной критикой господствующего догмата, и все красноречие Луциана менее содействовало низвержению статуи Юпитера, чем самый незначительный христианский догмат, который бормотали рабы. Замечено тоже, что принятая философская система выдерживает все удары критики, пока рядом с критикой не выступит ее соперницей новая философская система. Как бы нехудожественна ни была известная школа в искусстве, она продолжает существовать, пока не явится ей на смену другая. Готический стиль убил романский; нужен был стиль возрождения, чтобы устранить готический. Равным образом, вопреки критике, классическая драма продолжала бы жить, если бы не появилась драма романтическая (форма гибридная, впрочем). Промышленный продукт исчезает из потребления только вследствие появления нового продукта, отвечающего той же потребности, или же вследствие исчезновения самой потребности с изменившейся модой и обычаем, причиной чего может быть лишь распространение нового вкуса (а не одного лишь отвращения к старому) или нового принципа (а не одного лишь возражения против прежнего)¹. Точно также принципы или процедура юридические могут быть неудобны и устарели, но прежде чем они исчезнут, новый принцип должен обрести свою формулу, новая процедура — свою форму. Действие древнего закона продолжалось бы в Риме бесконечно, если бы не удачное нововведение системы формулярной. Право квиритов отступило лишь перед счастливыми фикциями и либеральными внушениями права преторианского. И в наши дни французский уголовный кодекс, как и многие иностранные, не пользуется одобрением общественного мнения, но он удерживается, и удержится до тех пор, покуда криминалисты новой утилитарной

¹ Может быть и такой случай: обеднение, болезни, всякие общественные бедствия могут устранить какую-либо потребность, не замещая ее другой, или вернее говоря, замещая возросшей интенсивностью низших потребностей. Но это случай упадка, падения цивилизации, а отнюдь не прогресса.

и натуралистской школы не сумеют сформулировать и распространить свои доктрины. Наконец у народа, сохраняющего то же число идей, нуждающихся в словесном выражении (если же число идей сокращается, то это признак упадка цивилизации, а отнюдь не прогресса), слова и грамматические формы могут быть устранены лишь вследствие распространения других соответственных слов и оборотов. Если слово умирает, то это значит, что родилось другое слово. Если язык умирает, то это, равным образом, означает, что из его недр или вне его народился другой язык. Латинский язык, вопреки нашествиям варваров, мог бы доселе остаться языком живым, если бы не некоторые лингвистические изобретения первой важности, сгруппировавшиеся в разных местах и составившие *punctum saliens* языков романских, как, например, идея создать член из местоимений или образовать будущее время чрез сочетание спрягаемого глагола с глаголом *avoir* (aimer-ai). Это были новые тезисы, и без них никогда не могли бы восторжествовать сопровождавшая их антитезы, нежелание употреблять формы латинских склонений и спряжений.

Таким образом, в действительности каждый логический поединок представляется двойным и заключается в двух парах утверждений и отрицаний, симметрически располагающихся относительно друг друга. Однако в каждое данное мгновение мы видим в жизни общественной один из двух данных тезисов, хотя и отрицающим другой, но выступающим преимущественно в роли утверждения, или самоутверждения, и другой тезис, хотя тоже заключающей в себе такое же утверждение и самоутверждение, но выдвигающейся, главным образом, через отрицание первого. Весьма существенно и для практического политика, и для историка различать, какой стороной в данное время выступает каждый из борющихся тезисов, стороной утвердительной или отрицательной, и *отметить момент, когда меняются их роли*. Такой момент почти неизбежен. Сначала новая философская система, новая религиозная секта или политическая партия обязаны своим успехом той поддержке, которую им оказывают все противники общепринятой теории, господствующего догмата, существующего правительства. Но затем, когда эта философия, секта или партия успели вырасти и усилиться, старая философская или религиозная система, старое правительство, еще продолжающее существовать, уже является центром и убежищем, куда устремляются все возражения, сомнения и опасения, возбужденные идеями и стремлениями новаторов, ставшими уже предметом увлечения. В промышленности и в искусстве страсть к переменам, склонность к моде, *желание поступать не так, как другие*, склоняет некоторую часть публики к продукту новому и отвращает от старого, но затем,

когда это нововведение акклиматизируется и по достоинству оценится массой, убежищем для старого продукта послужат привычки другой части публики, склонной к обычаям, тоже полагающей этим показать, что *она поступает не так, как другие*. Равным образом, новое слово в борьбе со старым действует сначала, привлекая неологистов, которые не желают говорить, как всегда говорили, а когда оно наконец входит в общее употребление, старое слово сохраняется лишь в силу своего отрицательного значения, потому что архаисты тоже не хотят говорить, как говорят все. Те же перипетии и в поединке между новым принципом права и правом традиционным.

Важно далее установить различие случаев, когда логический поединок бывает индивидуальным и когда он становится общественным. Ясность этого различия не оставляет ничего желать. Лишь с завершением процесса индивидуального поединка начинается поединок общественный. Каждому акту подражания предшествует колебание индивида, потому что каждое изобретение или открытие, стремясь распространиться, встречает препятствие, которое должно устранить и которое заключается в идее или привычке, усвоенной каждым отдельным лицом из публики. В сердце или в уме каждого такого лица возгорается таким образом борьба: или между двумя кандидатами, т. е. двумя политическими системами, ищущими его голоса на выборах; или между двумя мероприятиями, требующими применения и вызывающими его нерешительность (если дело идет о государственном человеке); или между двумя теориями, нарушившими его научную веру; или между двумя вероисповеданиями, между верой и неверием, оспаривающими друг у друга его религиозное чувство; или между двумя товарами, двумя произведениями искусства, которые колеблют его вкус и его готовность заплатить ту или другую цену; или же между двумя законопроектами¹, между двумя противоречивыми юридическими принципами, борющимися в его уме, если дело идет о законодателе, который вырабатывает закон, между двумя решениями одного и того же правового вопроса, представшими перед его мыслью, если дело идет об истце, еще колеблющемся в предъявлении иска; или, наконец, между двумя выражениями, которые представляются нерешительному оратору. Покуда же существует это колебание в индивиде, он еще воздерживается от подражания, но только поскольку он подражает, постольку и является членом общества. Подражает же он, когда уже принял решение.

Сделаем неосуществимое предположение, будто все члены данной нации находятся сразу и неопределенно долго в состоянии не-

решимости, о котором мы только что говорили. В таком случае, не будет более войны, потому что ультиматум или объявление войны предполагает, что уже принято индивидуальное решение членами известного кабинета. Чтобы возгорелась война, этот наиболее чистый тип логического поединка, необходимо, чтобы раньше того водворился мир в уме министров или главы государства, до того колебавшихся формулировать тезисы и антитезисы, заключенные в двух данных армиях. Не будет так же и электоральных битв, по той же причине. Не будет равным образом ни религиозных споров, ни расколов, ни научных диспутов, потому что такое разделение общества предполагает торжество одной данной доктрины в прежде разделенном сознании и совести каждого из ее последователей. Не будет более и парламентских прений, и судебных процессов. Каждый процесс, имеющий разрешить общественное затруднение, самым своим возникновением показывает, что каждой из тяжущихся сторон уже разрешено предстоявшее ей умственное затруднение. Не будет более и промышленной конкуренции между соперничающими мастерскими, потому что их соперничество опирается единственно на факт обладания каждой из них своей собственной клиентурой, а это значит, что их произведения уже не конкурируют более в сердце их клиентов. Не было бы больше и различных систем права, как было в средневековой Франции право обычное и право римское, столкнувшиеся на одной территории и стремившиеся друг друга вытеснить; эта национальная нерешительность знаменует, что с той и другой стороны индивиды уже сделали свой выбор между двумя законодательствами. Не было бы и борьбы между различными наречиями за господство в данной стране, например, между *langue d'oc* и *langue d'oïl*; это лингвистическое колебание нации исходит из того факта, что индивиды, ее составляющие, определили уже свои лингвистические предпочтения. Одним словом, общественная нерешительность зарождается и принимает определенную форму лишь тогда, когда наступает конец нерешительности индивидуальной. Здесь как нельзя лучше выясняется и поразительное сходство, и очевидное различие этих двух логик, этих двух психологий, свойственных индивидам и свойственных обществам. Спешим оговориться, что хотя колебание, предшествующее акту подражания, составляет факт чисто индивидуальный, однако причиной его являются факты общественные, т. е. другие акты подражания, уже совершившиеся. Соппротивление, которое человек всегда оказывает влиянию другого человека, обаянию или аргументам этого лица, которого вслед за тем же будет копировать, происходит всегда из прежнего влияния, ранее им испытанного. Поток нового подражания сталкивается в нем с склонностью к другому подражанию, и потому-то он

¹ Их может быть и большее число, но в каждое данное мгновение в уме законодателя могут бороться лишь два.

ЗАКОНЫ ПОДРАЖАНИЯ

пока не подражает. Не мешает отметить, что само распространение подражания предполагает встречу и борьбу с другим подражанием.

Вместе с тем ясно, что присутствие в каждое данное мгновение, в каждом отдельном случае лишь двух противников во всякой общественной борьбе объясняется всеобщностью подражания, как существенного фактора общественной жизни. В самом деле, никогда не может конкурировать более двух тезисов, или более двух суждений, если необходимым условием является наличие такой элементарной комбинации: тезис или намерение, свойственные индивиду-образцу, и тезис или намерения, свойственные индивиду-копии. Если мы пожелаем поднять наш взор выше и остановить наше внимание на явлениях массовых, мы увидим, что и поединок возрастает, становясь общественным, проявляется в тысячах форм, но при этом в этих коллективных действиях отражается тем яснее, чем совершеннее и полнее человеческое общежитие, чем выше развитие рассматриваемых явлений. Это очень ясно, например, в явлениях военных, когда войска централизуются и дисциплинируются и одна великая битва заменяет на поле сражения множество мелких обособленных столкновений гомеровских времен. Очень ясно и в явлениях религиозных, когда религии объединяются и организуются; например, поединок католичества и протестантства, католичества и свободной мысли предполагает высокую степень развития этих исповеданий и исповедания свободных мыслителей в том числе. Не столь ясно в явлениях политических, но тем яснее, чем лучше организуются партии. Еще менее ясно в явлениях промышленных, но если бы промышленность организовалась, как того желают социалисты, то и здесь с такою же ясностью выступило бы тоже самое. Наконец, наименее ясно в явлениях лингвистических, так как язык *стал* наименее национально-сознаваемым из человеческих произведений. Тем не менее выше я цитировал соперничество *langue d'oc* и *langue d'oïl* и можно бы найти и другие аналогичные примеры. Столь же смутно в явлениях юридических с тех пор, как изучение права перестало быть страстью, как юридические школы перестали быть исполненными энтузиазма, дисциплинированными клиентами знаменитых учителей права, и как исчезли из общественной жизни явления, которые можно было бы сравнить с великой борьбой сабеян и прокулеян в Риме, романистов и федистов в конце средних веков и пр.

После того, как общественная нерешительность появилась и достаточно ярко сказалась, наступает время ей в свою очередь перейти в определенное решение. Но каким образом? Посредством ряда новых индивидуальных нерешительностей, разрешающихся вслед затем актом подражания. Например, одна из двух политических программ,

разделяющих нацию, сначала распространяется путем пропаганды или устрашения, покуда, наконец, шаг за шагом не подчиняет почти все умы. Совершенно также торжествует одно из двух борющихся исповеданий, одна из двух философских систем и т. д. Бесполезно было бы умножать примеры. В конце концов, когда единомыслие (никогда не полное) в известной мере наконец установится, то вместе с тем почти прекратится и всякая нерешительность, индивидуальная и общественная. Это неизбежный исход. Все, что мы ныне видим в общественной жизни общепринятым, утвердившимся, вошедшим в обычай, превратившимся в верование, все это составляло сперва предмет горячего спора. Нет самого мирного учреждения, которое не родилось из раздора. Грамматика, кодекс, конституция (подразумеваемая, так же как и писаная), господствующая промышленность, преобладающая поэзия, катехизис, все это составляющее *категорическую* основу обществ, является произведением, медленно и постепенно созданным общественной *диалектикой*. Каждое грамматическое правило представляет собой выражение восторжествовавшей некогда привычки речи, распространившейся в ущерб другим привычкам речи, с ней несходным. Каждая статья кодекса является соглашением, мирным трактатом, после кровавых битв на улице, после ожесточенной полемики в прессе, после ораторских бурь в парламенте. Каждый принцип, воплотившийся в конституции, восторжествовал после многих революций и т. д.¹ То же самое находим мы и в жизни индивидуальной²: Представление о пространстве, времени, веществе, силе является, по основательно обставленным мнениям новейших психологов, результатом индивидуальных колебаний, неведений и опытов в первые годы жизни. И совершенно подобно тому, как ребенок чуть ли не в колыбели уже получает первые смутные представления о пространстве и времени (если не о материи и силе), точно так же и самые первобытные общества заключают в себе еще неопределившийся строй грамматических правил, обычаев, религиозных идей, политических сил, первое зарождение которых от нас совершенно ускользает.

Разрешение логических поединков в общественной жизни происходит тремя различными способами. Довольно часто мы видим, *во-первых*, как один из соперников уничтожается просто развитием и успе-

¹ Различают конституции *императивные*, или импровизированные, и *договорные*, возникшие постепенно. Различение это, конечно, имеет свое значение. Но и конституции императивные возникают из соглашения между партиями, заседающими в парламенте. Только в этом случае есть одна борьба и один договор, тогда как, например, английская конституция есть результат многих столкновений и многих договоров.

² В работе моей (*Revue Philosophique* 1889, авг. и сент.) под заглавием *Catégories logiques et institutions sociales* я подробно развил это сравнение, здесь лишь бегло указанное.

хами более счастливого противника, без вмешательства какой-либо посторонней силы, внутренней или внешней. Например, финикийские письма сами собой, одной лишь пропагандой, вытеснили письма клинообразные; равным образом достаточно было появиться керосиновой лампе, чтобы из хижин французского юга исчезла древняя, заведенная еще римской эпохой и с тех пор мало изменившаяся лампа, освещаемая ореховым маслом. Иногда однако успехи одного из двух соперников встречают в своем развитии внешнее препятствие, и является необходимость выбить противника из его позиций. Тогда, *во-вторых*, в случае если потребность устранить это препятствие чувствуется с достаточною энергией, сторонники двух соперничающих течений берутся за оружие, и победа одной из сторон влечет за собой насильственное устранение другого течения. К этой же категории должно отнести и случай, когда вмешивается принудительная сила, хотя и не военная. Таково было решение Никейского собора по вопросу о символе. Таково было обращение в христианство императора Константина. Таково всякое решение собрания или диктатора, принятое им после обсуждения вопроса. В этом случае голосование или декрет, совершенно также как военная победа, является внешним вмешательством в пользу одного из конкурирующих тезисов и в ущерб другому, нарушая вместе с тем естественное действие подражательности, уподобляемой в этом отношении внезапному изменению климата, произведенному геологическими явлениями и совершенно нарушающему естественную игру жизненных явлений, воздвигая препятствия развитию одних растительных и животных форм (как бы они сами по себе плодovitы ни были) и покровительствуя распространению других (хотя и менее плодovitых). Наконец, *в-третьих*, нередко можно наблюдать, как соперники примиряются или как один из них добровольно удаляется перед новым открытием или изобретением.

Остановимся на последнем случае. Мне представляется он особенно важным, потому что здесь действует не внешнее, а внутреннее условие успеха. Торжествующее открытие или изобретение, решающее вопрос в данном случае, можно сравнить с вдохновением военного гения, с счастливою мыслью генерала на поле битвы, решающего (в предыдущем случае) исход борьбы. Так, одно открытие кровообращения могло положить конец нескончаемым спорам анатомов XVI в. Таким же образом, только астрономические открытия, сделанные в начале XVII в. и обязанные изобретению телескопа, могли дать наконец решение спору между сторонниками пифагоровского воззрения на строение солнечной системы (земля обращается вокруг солнца) и аристотелевского (солнце обращается вокруг земли), а вместе с тем решение многих других вопросов, разделявших астрономов. Откройте вы лю-

бую библиотеку, и вы остановитесь перед массой некогда жгучих вопросов, ныне почти забытых, перед целыми, ныне погасшими вулканами, извергавшими столько доводов и столько ядовитой полемики! И почти всегда это охлаждение совершалось почти мгновенно, как бы чудом, в силу какого-либо нового открытия, порою даже чисто книжного, даже воображаемого. Например, в катехизисе, который ныне принимается верующими без всякого рассуждения, нет ни одной строчки, которая не напоминала бы собой о жестокой полемике, некогда разделявшей основателей догматов, отцов церкви и соборы. И что нужно было для того, чтобы прекращать эти столкновения, порою кровавые? Находка нового текста священного писания, появление нового богословского толкования решали дело, если это решение не брал на себя какой-либо авторитет, почитавшийся непогрешимым и силой разрешавший спор. Равным образом, сколько столкновений между потребностями и желаниями человеческими было устранено каким-либо изобретением в области промышленной, а порою и политической! Например, до изобретения водяной и ветряной мельницы, желание иметь хлеб и отвращение от тягостного труда на ручном жернове находились в постоянной открытой борьбе в сердцах господ и рабов. Желать хлеба значило желать себе или другому этого жестокого утомления; не желать же себе этого утомления (со стороны раба) значило желать, чтобы никто не ел хлеба. Но когда была изобретена водяная мельница и достигнуто этим путем громадное облегчение труда слуг, вместе с тем прекратилось и противоречие между двумя указанными желаниями; они более не мешали друг другу. Равным образом, до изобретения повозки, одного из самых чудесных изобретений древности, в сердцах людей постоянно боролось желание передвигать тяжелые предметы потребления с нежеланием изнемогать при перенесении их на собственных плечах, или с нежеланием утомлять ими выючных животных.

Рабство в конце-концов являлось неизбежным для исполнения работ, принудительных и тягостных, но необходимых по сознанию и господина и раба. Рабство решало, по крайней мере, по отношению к господину, это столкновение противоположных желаний, и без этого решения в пользу господина не было решения и в чью-либо пользу, не было бы никакого решения. Этот хронический антагонизм желаний и интересов уступил постепенно место относительному согласию лишь в силу целого ряда важных изобретений, дозволивших воспользоваться неодушевленными силами ветра, текущей воды, пара, одинаково на пользу древнего господина и древнего раба. В этих случаях, появление всякого нового изобретения имело своим последствием более нежели простое уничтожение одного из затруднений; оно уничтожало само противоречие. Подобно этому (всякое изобретение есть ведь развязка,

как и обратно всякая развязка есть изобретение), происходит развязка интриги в комедии; и когда противоречие между желанием, например, отца и сына достигает степени, которая кажется роковой, неожиданное сведение обнаруживает, что разногласие — чисто фиктивное, что оно даже не существует¹. Таким образом, промышленные изобретения можно сравнить с развязками комедий, всегда счастливыми и всех удовлетворяющими, тогда как изобретения военные, усовершенствованное оружие, научная стратегия, гениальная идея в решительную минуту — все это напоминает развязки трагедий, где торжество одного из соперников есть гибель другого, где столько страстей и верований наполняют сердце действующих лиц, а противоречие их желаний и убеждений столь решительно, что согласие невозможно и жертва необходима. Всякая победа в этом случае есть уничтожение побежденного, по меньшей мере подавление его национальной воли национальной волей победителя, а вынужденный мирный договор конечно нельзя назвать согласием. История, таким образом, является цепью трагедий, порой ужасных, и комедий, не очень веселых: внимательное наблюдение без особенного труда выделяет отдельные звенья этой цепи. Не поэтому ли (заметим мимоходом) в наше время, более промышленное, нежели военное, и на театре, этом верном зеркале действительной жизни, видим мы, как трагедия, с каждым днем все более пренебрегаемая, отступает перед комедией, которая развивается и прогрессирует, но становится вместе с тем менее веселой, более печальной, как бы меркнет.

III

Логический союз

После изобретений и открытий, ведущих между собою борьбу и стремящихся заменить друг друга, мы теперь обратимся к другому разряду, к тем изобретениям и открытиям, которые взаимно под-

¹ Не только в промышленности, но иногда и в политике, и в религии встречаются подобные счастливые сюрпризы. Ренан утверждает нечто подобное: «В великих исторических движениях (первобытная церковь, реформация, французская революция) бывают моменты экзальтации, когда люди, в сущности преследующие одну цель (Петр и Павел, Кальвин и Лютер, Монтаньяры и Жирондисты и т. д.), расходятся и сражаются из-за оттенков, а затем момент восстановления согласия, когда стараются доказать, что эти мнимые враги были согласны и работали для одной цели. В конце концов, из всех разногласий возникает единая доктрина, и полное согласие царствует между учениками людей, проклинавших друг друга». Убивают друг друга по необходимости из-за каждого оттенка, потому что при свете экзальтации этот оттенок, это частное разногласие ярко видно, а люди, всецело проникнутые своим убеждением и верой в необходимость ее распространения всяческим путем, из этой самой веры черпают желание искоренить несогласные мнения, а следовательно и их носителей. Позднее, когда первые деятели сошли со сцены и их заменили менее экзальтированные последователи, охлаждение обеих сторон позволяет набросить покров любезности на былые противоречия. Такую перемену производит простое понижение уровня верования.

держивают друг друга и стремятся к соединению и скоплению. Если мы рассматривали прежде первый разряд, а не второй, то это не означает, чтобы такова же была историческая последовательность их появления и развития. В действительности второй разряд должен был предшествовать первому, точно так же, как очевидно он замыкает его. Второй разряд есть альфа и омега, первый занимает середину. В языках, например, первоначально изобретались и усваивались слова и формы, выражавшие идеи, дотоле еще не выраженные, и потому не встречавшие никакого соперничества. Это обстоятельство конечно облегчило первые шаги языков. При возникновении самой первой религии ее первые легенды и мифы, отвечавшие на совершенно новые вопросы, не могли встретить противоречия в каких-либо прежних решениях, а расплывчатость и несвязность этих вопросов и ответов позволяла легко избежать взаимного противоречия. Самые первобытные обычаи конечно встречали препятствие в отсутствии природной дисциплины, но, отвечая юридическим задачам, никогда дотоле не поставленным, регулируя поведение, дотоле вовсе не регулируемое, они имели преимущество не встречаться ни с какими прежними обычаями и много вероятности не оказаться во взаимном противоречии. Наконец самые древние политические организации должны были до известной степени вырасти без внутренней борьбы из потребностей военных и экономических. Первое правительство было ответом на потребность безопасности, дотоле не получавшей никакого удовлетворения, и обстоятельство это благоприятствовало его возникновению. Когда возникало военное искусство, всякое новое оружие, всякое новое построение, всякий новый тактический прием могли просто прибавляться к прежним, ничего не вытесняя и не заменяя; в наше же время, почти всегда новый смертоносный снаряд или новое военное правило делает ненужным какой-либо прежний снаряд, какое-либо прежнее правило, и потому в нем встречает препятствие. Когда возникала промышленность, в своей пастушеской или первобытно-земледельческой форме, тогда каждое новое культурное растение, каждое новое одомашненное животное лишь умножали собой небогатые ресурсы первобытного хозяйства. Теперь, между тем, новое растение вытесняет одно из прежних; новое животное заменяет другое, ему соответственное по назначению. Равным образом и всякое новое наблюдение астрономическое и физическое, освещая стороны, дотоле совсем неизвестные, занимало место рядом с прежними наблюдениями, которым нимало не противоречило. Приходилось рассеивать мрак, а не исправлять ошибки. Приходилось поднимать от века не возделанную новь, а не улучшать старое, уже обработанное и созданное другими.

Однако накопление, которое предшествует замене и логическим поединкам, не должно смешивать с накоплением, следующим за ними. Первое заключается в робком собирании элементов развития, которые соединяются главным образом тем обстоятельством, что *не противоречат друг другу*; второе же состоит в стройном сцеплении элементов, которые не только не сталкиваются взаимно, но чаще всего *взаимно подтверждаются*. Всевозрастающая потребность многосторонней и сильной веры должна была привести к этому. Выше мы уже могли заметить справедливость этого рассуждения; сейчас оно представится нам еще яснее. Прежде всего должно всегда различать изобретения и открытия, способные накапливаться бесконечно (хотя при этом могут и заменяться), от других, которые, достигнув определенной степени накопления, должны быть заменены (если прогресс продолжается). Подбор тех или других в историческом развитии совершается совершенно естественно; первые появляются раньше вторых и их переживают, но в этом последнем периоде являются в систематическом виде, которого раньше бывают лишены.

Язык может расти бесконечно через прибавление новых слов, отвечающих вновь возникшим идеям, но если ничто не мешает росту его словаря, то рост грамматики имеет свои определенные границы. В самом деле, за пределами известного, сравнительно небольшого числа грамматических правил и форм, проникнутых одним духом и отвечающих всем потребностям речи, никакое новое правило и никакая новая форма не могут возникнуть, не вступая в борьбу с другими и не ведя к преобразованию языка по новому, отличному плану. Если в языке, обладающем склонениями, появляется идея выражать падежи сочетанием предлогов и членов, то предстоит одно из двух: или это новое сочетание мало-помалу разрушит флексии склонения, или же эти флексии не допустят и устранят предлоги и члены. Но и после окончательного образования грамматики языка его словарь может умножаться, и это обогащение словаря должно только ускоряться и облегчаться. Сверх того, с этих пор всякое новое выражение не только не противоречит другим, но косвенно подтверждает заключенные в них грамматические правила. Например, каждое новое слово, вводимое в латинский язык с окончаниями на *us* или *a*, своим склонением повторяло и подтверждало то, что утверждали все другие с теми же окончаниями и теми же склонениями, именно: *us* и *a* суть признаки латинских слов; *i*, *o*, *um*, *ae*, *at* суть признаки падежа родительного, дательного, винительного, и т. д.

Подобно языкам, и религии могут быть рассматриваемы с двух сторон. Часть повествовательная и легендарная, своего рода религиозный словарь, — это одна сторона, которой она и начинает свое

развитие; другой стороной является часть догматическая и обрядовая, своего рода религиозная грамматика. Первая, заключающая в себе предания библейские и мифологические, сказания о богах, полубогах, героях и святых, может развиваться без конца, но не вторая, которая не способна к такому росту. Всегда наступает момент в развитии, когда после решения, согласно основным принципам религии, всех первостепенных вопросов, волновавших религиозную совесть, уже не может появиться ни один новый догмат, не противореча в известной степени прежним, а равно и никакой новый обряд, это внешнее выражение догмата, не может быть установлен без вытеснения других, потому что все догматы уже получили свое обрядовое выражение. Но и после окончательного установления догмата и обряда известной религии она может продолжать накапливать свой мариолог, свои священные сказания, свою церковную историю, и даже накапливать усиленно и ускоренно. Более того, по своему единообразному правоверному образу действия, по единообразию своих идей, даже своих чудес, святые, мученики и верные этой зрелой религии никогда не впадают в противоречия, но взаимно повторяют и подтверждают друг друга, чем они так явственно отличаются от богов и полубогов, патриархов и апостолов, от легенд и чудес времен более ранних, предшествовавших установлению догмата и культа.

Остановимся на минуту на одном весьма важном замечании. Смотря по тому, какая сторона — повествовательная или догматическая, получает преобладание, сообразно этому и религия оказывается или бесконечно изменчивой и пластичной, или почти неподвижной. В греко-латинской мифологии догмат не играет почти никакой роли, а потому и культ не имеет почти никакого догматического смысла, является своего рода символическим повествованием. Например, в известном обряде стараются просто воспроизвести эпизод из жизни Цереры или Вакха. При таком понимании обряды могут умножаться до бесконечности. При ничтожном значении догмата повествование стало главным содержанием античного политеизма. Отсюда и эта невероятная легкость обогащения и умножения содержания религии, которую можно сравнить разве с подобным же разбуханием языка вроде английского, где при чрезвычайной грамматической бедности так легко и быстро усваиваются всевозможные иностранные слова при помощи незначительного изменения в окончании, чего-то вроде лингвистического крещения. Однако, если эта способность роста и является одной из причин живучести повествовательных религий, то с другой стороны это нисколько не означает, чтобы они были хорошо вооружены против нападений критики. В этом отношении громадное преимущество имеют системы теологические, стройные сочетания

догматов и догматических обрядов, взаимно поддерживающих друг друга и, при малейшей критике, поднимающихся дружно для общего протеста.

Но вернемся к нити нашего рассуждения. Что мы видели в религии, то же видим и в науке, стремящейся стать на место первой. Поскольку наука лишь исчисляет и описывает факты, свидетельства наших пяти чувств, она способна к бесконечному нарастанию, и в начале она и представляется простым собранием явлений, несвязанных друг с другом, но и не противоречащих друг другу. Но затем, поскольку наука в свою очередь создает догматы и законы и вырабатывает теории, предназначенные связать факты (вместо того, чтобы ограничиваться отсутствием противоречий); поскольку она стремится из показаний чувств создать высшие обобщения, каковы представления о пространстве, времени, веществе, силе; постольку наука представляется наименее способным к росту человеческим творением. Конечно, научные теории совершенствуются, но лишь заменяя друг друга и даже периодически возвращаясь и возрождаясь, в то время как наблюдения и опыты умножаются. Из эпохи в эпоху мы видим чередование известных основ для объяснения фактов; таковы — атомизм, динамизм (эволюционизм наших дней), монадология, идеализм (от Платона до Гегеля), эти неизменные кадры все растущей и умножающейся армии фактов. Однако, между этими основными идеями, между этими гипотезами и научными изобретениями, встречаются такие, которые все лучше взаимно подтверждаются и все более подтверждаются новыми открытиями, новыми наблюдениями, этим постоянным накоплением фактов, которые отныне не только не противоречат друг другу, но повторяются и взаимно подтверждаются, единодушно свидетельствуя в пользу одного и того же закона, одного и того же общего положения. До Ньютона астрономические открытия не противоречили друг другу; после Ньютона они стали взаимно подтверждать друг друга. Научным идеалом представляется такое состояние, чтобы каждая наука могла быть сведена, как современная астрономия, к единой формуле, а все эти различные формулы различных наук связывались бы, в свою очередь, одною высшею. Словом, нужно, чтобы больше не было многих наук, а настала единая наука, как при естественном преобразовании политеизма в монотеизм множество богов заменяется в сознании единым божеством.

То же самое мы видим и в области права. Когда пастушеское племя превращается в нацию, сперва земледельческую, затем промышленную и вместе с тем к своим пастбищам прибавляет хлебные нивы, огороды, виноградники, сады, затем мануфактуры и фабрики, все более богатые и сложные, когда интересы все умножаются и умножаются,

тогда и законодательные акты и правовые обычаи более умножаются и накапливаются, нежели сокращаются. При этом общие принципы права, возникающие постепенно из этого хаоса, ограничены всегда относительно небольшим количеством, и здесь прогресс состоит в замене, а не умножении. И после того, как эта юридическая грамматика уже сложилась и установилась, юридический словарь (называемый во Франции *Bulletin des Lois*) может продолжать умножаться и даже с усиленною скоростью, но законы, которые ныне следуют друг за другом, проникнуты одним духом и потому могут образовать кодекс — сельский, торговый, морской и т. д. Такая систематизация раньше была невозможна.

Те же явления и стадии развития встречаем мы и при рассмотрении форм правительства (понимая слово *правительство* в его широком значении, т. е. как начало, руководящее деятельностью нации во всех ее видах). Мы должны различать руководящую деятельность — воинственную и промышленную, а в первой — военную и политическую, смотря по тому, состоит ли она в кратких и кровавых столкновениях армий, или в долгой и бурной борьбе партий, в угнетении побежденного и поработанного иностранного народа или в подавлении пораженного и разоренного налогами внутреннего противника. И в обоих этих случаях, однако, сторона административная развивается и совершенствуется непрерывно, по мере умножения функций деятельности, между тем как с другой стороны искусство военное и искусство политическое постоянно вращаются в довольно тесном замкнутом кругу стратегических и конституционных принципов, сводящихся в последнем счете к небольшому числу различных типов, между которыми надо выбирать и которые взаимно исключают друг друга. Но вместе с тем лишь объединенные и переработанные этими стратегическими или конституционными принципами функции гражданского и военного управления становятся содействующими, вместо того, чтобы быть лишь не противодействующими, и в совокупности образуют государство вместо варварских конфедераций, армию вместо орды.

С некоторыми оговорками эти замечания применимы и в промышленной стороне государственной деятельности. Промышленность, сказали мы выше, отделена от морали и эстетики своего времени лишь в абстракции. Если же мы их соединим (как то и следует), то легко заметим, что между изобретениями и вообще новыми идеями, относящимися к труду, некоторые в противоположность другим способны к бесконечному прогрессу, т. е. к непрерывному накоплению и умножению. *Промышленные орудия*, например, постоянно умножаются; но *задачи*, для которых они изобретаются, следуют одна за другой, лишь заменяя друг друга. С первого взгляда, если не различать ору-

дий и задач, может показаться, что промышленность разных времен целиком вытесняет и заменяет одна другую. Какое громадное различие и как мало сходства между промышленностью греко-римской и ассирийской, между промышленностью XVII в. и средневековой, между современной и той, которая служила нашим предкам. Каждый такой строй человеческой деятельности имеет в своем основании какую-либо руководящую потребность, которая всецело изменяется из века в век. Таковы — забота о посмертном существовании, стремление чествовать богов, желание украсить и возвеличить родной город, потребность выразить свою религиозную веру или свое светское государственное тщеславие, наконец потребность общественного уравнения. Этим изменением высшей цели и можно объяснить смену этих замечательных человеческих произведений, в которых как бы резюмируется вся эпоха: египетские гробницы, греческие храмы, римские цирки и триумфальные арки, средневековые соборы, дворцы XVII в., железнодорожные и городские сооружения нашего времени. В сущности, однако, исчезли без возврата не промыслы былых времен, а былые цивилизации, если разуместь под цивилизацией соединение (отчасти случайное) в одно целое нравственных и эстетических целей и промышленных средств. В самом деле, эти цели воспользовались этими средствами только потому, что именно их встретили на своем пути, но могли бы также воспользоваться и другими. Точно так же эти средства, хотя и послужили этим целям, но могли бы служить и другим задачам. Задачи же эти сменяются, а средства в существенных чертах остаются и переживают. Менее совершенное орудие былых времен продолжает жить, после своего рода превращения (метемпсихоза), в более совершенном и сложном орудии более поздней эпохи, хотя, по-видимому, первое убито последним. Все самые простые первобытные орудия: палка, рычаг, колесо встречаются в разных комбинациях в самых сложных машинах нашего времени. Лук живет в арбалете, арбалет — в аркебузе, аркебуз — в ружье. Древняя колесница жила в карете, карета в паровозе, который не вытеснил дилижанса, а поглотил его, дополнив его нововведениями. Между тем, христианская потребность спасения души выяснила, а не поглотила, римскую потребность патриотической славы, совершенно также как система Коперника вытеснила систему Птолемея. Промышленные изобретения, накапливаемые человечеством в течение миллионов лет, могут быть сравниваемы со словарем языков и с научными фактами. Правда, многие орудия и произведения, как уже упомянуто выше, были вытеснены другими, совершенно также как многие недостаточно точные сведения были изгнаны новыми, более достоверными, но вообще количество орудий и произведений, так же как и количество

сведений, постоянно росло и растет. Наука в точном значении слова, составляя собрание фактических сведений, которые могут служить для доказательства какой-либо теории, представляется явлением, совершенно параллельным промышленности в точном значении слова, которая тоже составляет лишь собрание снарядов и приемов, способных служить той или иной эстетике и морали. Промышленность, с этой точки зрения, представляется *материей*, которая принимает ту или иную *форму* под влиянием руководящих воззрений на справедливость и красоту, на те предписания, которые направляют поведение по пути, почитаемому наилучшим. В сферу промышленности я включаю также искусство, выделяя конечно тот идеал, который постоянно меняется, но который вдохновляет искусство и дает душу его произведениям, методам и секретам. И до образования данной морали и эстетики (т. е. системы общепризнанных потребностей), и после этого образования, средства промышленности (искусства, даже поэзии в том числе) постоянно умножаются, но вначале они как бы разбрасываются, потом сосредоточиваются и, под влиянием одной всепроникающей и всенаправляющей идеи, дают миру удивительные примеры взаимной солидарности, взаимного соответствия, этой чудесной всесторонней гармонии, которую знала Греция и XII в. средневековой Европы и которую быть может увидят опять наши внуки.

Что касается нашего времени, то надо признаться, что современная эпоха еще лишь ищет свое руководящее начало. Не напрасно характеризовали ее, как по преимуществу научную и промышленную. Другими словами, ныне в теории успешное исследование фактов заслонило собою стремление к их философскому объяснению, а в практике забота о средствах заставила забыть о целях. Это значит, что всегда и всюду современное человечество инстинктивно отдает предпочтение открытиям и изобретениям накапливаемым перед заменяемыми, даже не задумываясь над вопросом, не последние ли, столь пренебрегаемые, дают смысл и значение первым, столь выдвигаемым? И в самом деле, правда ли, что те стороны человеческого мышления и человеческой деятельности, которые неспособны к бесконечному росту (грамматика, догматы, теории, основы права, принципы стратегии, политические программы, эстетика и нравственность), заслуживаю меньше внимания и забот, чем стороны, непрерывно растущие (словарь, религиозные сказания, научные сведения, обычаи, законы, административные и военные мероприятия, промышленность)?

Нисколько. Сторона заменяемая, неспособная к росту за определенными границами, является, напротив того, всегда и всюду стороной существенной. В грамматике — вся сущность языка. В догмате —

вся сущность религии, как в теории — весь смысл науки. Все право заключено в его принципах, все войны — в стратегии, всякое правительство — в политической идее, им осуществляемой. Нравственность — это сущность труда, потому что цена промышленности определяется ценой ее задач. Наконец, всякий согласится, что в идеале заключено все искусство. В самом деле, зачем нужны слова, если из них не строить предложений? Зачем нужны сведения, если на них не строить теории? Для чего издаются законы, если не для осуществления основных принципов права? Для чего бы нужны были вооружения, маневры, всякая администрации, если не для того, чтобы войти, как составные части, в стратегический план главнокомандующего? К чему бы служили административные мероприятия, если бы не вели к осуществлению правительственных принципов правителя, воплощающего в себе торжествующую политическую партию? К чему мастерские и промышленные продукты страны, если не к тому, чтобы ответить задачам господствующей морали? Наконец, с какой радости трудились бы различные художественные и литературные школы и создавались бы произведения искусства и литературы, если бы их задачей не было формулировать и утверждать свои идеалы?

Легче однако преуспевать на пути накопления и обогащения, всегда открытом для всякого, нежели на пути замены и всегда необходимых для того жертв. Гораздо легче валить неологизм на неологизм, чем более совершенно говорить на родном языке и таким способом постепенно вводить в него грамматические улучшения. Легче собирать научные наблюдения и опыты, нежели выводить из них более общие и более доказанные теории. Легче умножать примеры благочестия и святости, нежели вводить новые, более рациональные догматы. Легче издавать дюжинами новые законы, чем выработать новое правовое начало, способное лучше согласовать все интересы. Легче совершенствовать вооружения и маневры, улучшать управление, иметь хороших военных и гражданских администраторов, нежели найти такого военачальника или такого правителя, который в каждое данное мгновение был бы способен создать план, соответствующий положению, и который примером своей инициативы обновлял бы и совершенствовал искусство военное или политическое. Легче умножать свои потребности, пользуясь все большим разнообразием продуктов, предлагаемых все более разнообразной промышленностью, чем на место своей господствующей потребности поставить другую, высшую, лучшую, более отвечающую задачам порядка и мира. Наконец, легче непрерывно продолжать бесконечный ряд художественных исполнений со всеми тонкостями, чем заметить малейший луч новой красоты, более достойной поклонения и любви.

Современная нам Европа несколько увлеклась легкостью одностороннего успеха. Отсюда это противоречие между обилием законодательства и юридической бедностью (стоит сравнить ее в этом отношении с Римом времен Траяна, или даже Византией времен Юстиниана); между промышленным изобилием и эстетической бедностью (стоит сравнить с Францией средневекового расцвета или Италией эпохи Возрождения). Мы могли бы еще прибавить с некоторым правом: между ее науками и ее философией, но должны признать, что философская сторона знания, хотя относительно пренебреженная, все же разрабатывалась с большим вниманием, нежели моральная сторона деятельности. Промышленность в этом отношении отстала от науки. Она возбудила много искусственных потребностей, которые кое-как и удовлетворяет, не заботясь об их оценке и согласовании. В этом отношении она похожа на плохо дисциплинированную науку XVI в., когда известное количество уже накопленных научных сведений питало всевозможные бессвязные гипотезы и педантические странности. Нашей деятельности надлежит ликвидировать этот хаос разнородных потребностей, как науке XVI в. надлежало регулировать воображение ученых и преобразовать большую часть их понятий через создание новых научных понятий, объединенных в теории. Каковы те простые и плодотворные потребности, которые разовьет будущее, и какие иные срежет оно, как лишние и бесплодные поросли, — в этом тайна нашего века. Трудно найти ее, но должно ее искать. Все эти потребности, частью антагоничные, частью плохо согласованные, процветающие ныне в промышленности и имеющие каждая своих преданных сторонников, представляют собою что-то вроде морального фатализма или политеизма, имеющего однако развиться в моральный монотеизм, ясный и авторитетный, в новую эстетику, великую и сильную. Можно сказать, что в наш век прогрессировала более промышленность, нежели цивилизация. Это очевидно уже из того затруднения, в котором мы выше находились, когда пришлось назвать памятник или произведение, в котором резюмировалось бы наше время. И что представляет в этом отношении сторону, особенно удивительную и никогда небывалую, это — возвышение орудия над произведением. В самом деле, не представляются ли самыми выдающимися созданиями нашего времени фабрики, вокзалы, машины? Сравните с этими гигантскими лабораториями то, что выходит из них самого выдающегося: хороший дом, красивый театр, ратушу, и согласитесь, как мало соответствуют эти плоды промышленности ее собственным помещениям, как бледнеют маленькие великолепия нашей частной и общественной роскоши перед великолепием наших промышленных выставок! Прежде было как раз наоборот, когда жалкие

лачужки фараоновых феллахов или убогие мастерские средневековых художников окружали гигантскую пирамиду или колоссальный собор, поднятые к небесам их согласными усилиями. Можно сказать, что ныне процветает промышленность для промышленности, как наука для науки.

Мы видели, что общественный прогресс осуществляется последовательным рядом замен и накоплений. Необходимо строго различать эти два способа, и ошибка эволюционистов заключается в их смешении. Слово «эволюция» (развитие) кажется выбрано неудачно. Можно сказать, что общество развивается, когда какое-либо изобретение мирно распространяется путем подражания (в чем и заключается всякое элементарное общественное явление); а равно и тогда, когда новое изобретение, в свою очередь подражаемое, прививается к старому, совершенствует его и распространяет. Не лучше ли однако этот последний случай назвать прививкою или привитием, что было бы точнее? Философия всемирного привития могла бы служить отличною поправкою к философии всемирного развития. Наконец, когда новое изобретение, являющееся сперва невидимым микробом и становящееся затем смертельным недугом, приносит прежнему соответственному изобретению полное разрушение, неужели и тогда можно сказать, что прежнее развилось? Разве Римская империя развивалась, когда христианство внесло в нее элементы полного отрицания ее основных принципов? Конечно, нет, потому что это явление можно назвать контрэволюцией, даже революцией, но только не эволюцией, не развитием. Без сомнения, в основе всего и тут действует ряд эволюций, ряд подражаний; но так как эти эволюции и эти подражания между собою борются, то было бы большою ошибкою рассматривать целое, образуемое этими борющимися элементами, как *единую* эволюцию. Мне казалось полезным сделать мимоходом это замечание.

Еще одно более важное замечание. Каким бы способом ни был устранен антагонизм верований или интересов и на его место установлено их согласие, почти всегда (не всегда ли даже?) эта гармония ведет к антагонизму нового рода. На место противоречий и разноречий в частностях вырастают противоречия и разноречия их совокупностей, стремящиеся равным образом найти решение и тем самым породить антагонизм еще выше, и так далее до окончательного решения. Вместо того, чтобы оспаривать друг у друга дичь, домашний скот, полезную утварь, эти люди, эти миллионы людей соединяются, организуются в войска и сообща добиваются порабощения соседнего народа. В этом их действия, их желания добычи находят себе точку соединения. И в самом деле, до развития торговли и обмена, мили-

таризм долго был единственным логическим решением проблемы, поставленной антагонизмом интересов. Но милитаризм порождает войну, и борьба между двумя народами занимает место многих тысяч столкновений между индивидами. Равным образом, вместо обособленных действий, антагонистичных и сталкивающихся, сотни людей сходятся за общую работою в одной мастерской: их действия перестают быть антагонистичными, но отсюда возникает новый антагонизм, конкуренция с другими мастерскими, изготовляющими те же продукты. Но это еще не все. Рабочие каждой фабрики заинтересованы в ее процветании, и во всяком случае их желания производить, благодаря разделению организованного труда, ведут именно к этой цели; равным образом, солдаты каждой армии заинтересованы в победе. Но в тоже время борьба между тем, что зовут капиталом и что зовут трудом, т. е. между совокупностью хозяев и совокупностью рабочих¹ порождается вместе с установлением этого неполного согласия, как и между различными чинами армии, или различными сословиями народа. Эти телеологические проблемы ставятся на очередь самым фактом промышленной или военной организации, совершенно также, как прогресс научный выдвигает логический проблемы, пробуждает умственные противоречия, разрешимые и неразрешимые, до сих пор скрытые прежним невежеством. Феодальная система с одной стороны и церковная католическая иерархия с другой, самым могучим образом содействовали умиротворению страстей и согласованию интересов в Средние Века. Но великое и кровавое столкновение между папством и империей, между гвельфами, сторонниками папы, и гибеллинами, сторонниками императора (сперва бывшее логическим поединком, перешедшим позже в телеологический, т. е. политический) было порождено встречей этих двух гармоний, взаимно не согласимых, без совершенного обессилиения одной из сторон. Весь вопрос в том, были ли полезны эти перемещения противоречий и антагонизмов? И можно ли надеяться, что наступит полная гармония интересов и понятий, без возмещения новыми диссонансами, что для поддержания общественного мира не будет нужна известная доза лжи и заблуждения, неразумия и жертв?

Когда перемещение антагонизмов и противоречий состоит в их централизации, такое перемещение, очевидно, полезно. Как бы ни были жестоки войны, вызванные возникновением регулярных армий,

¹ Это до такой степени верно, что уже начиная с XVI в. (См.: *Louis Guibert. Les anciennes corporations en Limousin*) «рядом с синдикатами хозяев (корпорацией) встречаются организованные синдикаты рабочих». Эти союзы подмастерьев в Париже, Лионе и других местах «доставляли наборщикам, булочникам и шляпочникам средства для сопротивления хозяевам».

они составляют все же преимущество сравнительно с бесчисленными кровавыми столкновениями феодальных милиций или первобытных родов. Как ни глубока тайна, вскрытая перед нами научным прогрессом, как ни велика бездна, разделяющая философские школы и порожденная новыми вопросами, поставленными успехами знания, из которого борющиеся стороны равно черпают свои доводы, все же мы не имеем основания сожалеть о времени невежества, когда эти проблемы поставлены еще не были. Во всяком случае наука более удовлетворила любознательности, нежели ее возбудила; цивилизация более удовлетворила потребности, нежели породила. Изобретения и открытия излечивают общественные недуги через замены одной формы другою, менее болезненною. Изобретения, удовлетворяя естественным потребностям и порождая потребность роскоши, заменяют более настоятельные желания менее настоятельными. Открытия заменяют первоначальное очень опасное невежество незнанием, быть может и очень глубоким, но конечно менее тревожным. Наконец, не видим ли мы конца, к которому нас ведут эти перемещения антагонизмов и противоречий? Конкуренция фатально ведет к монополии, свободная торговля и практика *laissezaller* подвигается к социалистической организации труда, а война стремится переразвить государство, создать громадные агломерации, покуда цивилизованный мир не обретет политического единства и вечного мира. И где более проявляется и растет конфликт между массами, вызванный уничтожением частных конфликтов, и достигает степени, заставляющей сожалеть о прошлом, тем неизбежнее становится этот мирный исход. Когда королевская армия заменила в каждом государстве провинциальные и феодальные милиции, эта армия считала в своих рядах солдате гораздо меньше, нежели состояло в упомянутых милициях, и вследствие этого столкновение королевских армий порождало гораздо меньше бедствий. Я знаю, что это преимущество постепенно терялось по мере того, как роковая необходимость понуждала государства все умножать войска, так что в наши дни великие нации вооружили уже всех способных носить оружие. Этим были бы уничтожены все успехи цивилизации (в этом отношении), если бы сама эта громадность армии не предугазывала неизбежность какого-либо окончательного столкновения, последствием которого явится колоссальное завоевание, всеобъединяющее и всепримирующее.

ГЛАВА 6

ВНЕЛОГИЧЕСКИЕ ВЛИЯНИЯ

Теперь мы обратимся к изучению нелогических причин предпочтения или пренебрежения, которые, присоединяясь к различного рода соперничающим подражаниям, обуславливают их успех или их неудачу.

Но предварительно скажем несколько слов об некоторых условиях, могущих оказывать свое действие на подражание, а именно на его точность или неточность; на его сознательный или бессознательный характер.

1. Во-первых, подражание может быть расплывчатым или точным. Вопрос в том, становится ли подражание более точным или наоборот более смутным по мере того, как действия и поступки, которым подражают, умножаются и усложняются с развитием цивилизации? С первого взгляда может казаться, что всякое новое усложнение делает подражание менее точным. На самом деле наблюдается совершенно противоположное явление. Подражание составляет самую суть социальной жизни, так что подражательная способность у цивилизованного человека развивается даже быстрее, чем идет умножение и усложнение изобретений. Таким образом подражание вырабатывает все более и более совершенные сходства; и в этом отношении оно выдерживает аналогию с биологическим воспроизведением и волнообразным колебанием. Световые колебания, гораздо более учащенные и совершенные, чем звуковые, передаются от звезд к нам с удивительной точностью, какой звуковые не достигают. Электрические колебания, не менее частые и не менее сложные, распространяются с такой несравненной точностью, что все сочли бы ее просто невероятной, если бы телеграф, телефон и фонограф не представляли тому блестящих доказательств. Шум есть ряд неоднородных волн, тогда как звук есть ряд волн однородных; несмотря на это, волны звука, со всеми их гармоническими утонченностями, превосходят по сложности волны шума. Разве можно сказать, что наследственность, когда ей приходится иметь дело с высшими организмами, обладающими более сложными органами и особенностями, воспроизводит с меньшей точностью разные сходства, чем когда она имеет дело с более низко стоящими существами? Вовсе нет; тип кошки или орхидеи передается,

по меньшей мере, настолько же верно, как и тип какого-нибудь зоофита или гриба. Даже самые незначительные особенности в человеческих расах, если они имели достаточно времени, чтоб установиться, передаются затем по наследству с величайшей точностью.

С какой бы точки зрения мы ни рассматривали социальную жизнь, она, развиваясь, роковым образом приводит в конце концов к образованию известного этикета, т. е. к торжеству самого полного однообразия (*conformisme*) над индивидуальным произволом. Чем дольше существуют известный язык, религия, политика, война, право, архитектура, музыка, живопись, поэзия, нравы и т. д. и чем спокойнее они развиваются, тем большее однообразие вырабатывается в них и тем требовательнее и деспотичнее становится их этикет. Орфография или чистый выговор, составляющие этикет в языке, ритуальный этикет в религии — отличаются почти одинаково суровостью своих произвольных требований в языках очень древних и оригинальных¹.

Христианство, начиная со времени своего возникновения, становится с каждым веком все более и более требовательные относительно точного соблюдения установленных правил, однообразия, ортодоксии, хотя в то же время оно все более и более усложняется. Языки диких народов, по свидетельству Сейса и Уайтнея, отличаются при крайней своей бедности также и крайним непостоянством, беспрепятственными изменениями, неверной передачей от поколения к поколению; тогда как языки цивилизованных народов, несмотря на их богат-

¹ Ничто не может сравниться со странностью некоторых культов, разве только их устойчивость. Но тоже самое следует сказать и относительно языков, которые представляют неподвижный произвол, беспорядок — установившийся, вечный, как звездное небо. Можно ли указать на более странный, менее оправдываемый с рациональной точки зрения факт, чем употребляемые слова *кабинет* для обозначения известного состава министров, или слово *Порта* для обозначения османского правительства? Какое логическое отношение существует между следующими сочетаниями звуков: ло-шадь, e-quis, ip-ros и животным, которое ими обозначается? Однако обычай употреблять установившиеся слова, несмотря на всю их видимую причудливость, составляет самый осмысленный, самый благодетельный закон, которому люди подчиняются с удивительной пунктуальностью, с неизменным постоянством и уважением. Точно также, что общего между этим рядом священных церемоний, называемым мессой, и тем возвышенным нравственным чувством, утонченным спиритуализмом, выражением которых она служит для католических народов? Месса — также слово, и каждому известна ценность этого старого слова. Так как всякая попытка со стороны целого народа уговориться относительно выбора наиболее подходящего способа для выражения своих религиозных или житейских нужд представляет непреодолимые затруднения, то единственно возможным путем соглашения остается путь подражательного распространения. Вот почему религиозные преследования, имеющие в виду подавить распространение какого-либо верования или заменить одну религию другою, кажутся с внешней стороны самым действительным средством, тогда как в действительности, — это самое абсурдное средство, почти то же, что *лингвистические преследования*. Эти последние, стремящиеся заменить один язык другим, приводят иногда к цели, благодаря лишь добровольному *подражанию высшему*, победителю со стороны побежденного.

ство, отличаются постоянством и однообразием. Судопроизводство, правовой этикет, сопровождается чрезмерными формальностями, когда мы имеем дело с правом издревле существующими несмотря на всю его многосложность. *Церемонии*, этикет в светских отношениях, менее строги у народов, среди которых *светскость* имеет меньшее значение, чем право и религия. Не то мы видим в китайском обществе в силу противоположного принципа. Просодия, этикет в поэзии, становится все более и более деспотической, по мере того как распространяется стихотворное искусство и, странное дело, по мере того как все более и более разворачивается поэтическое воображение. Бумажные дела и административная рутинка, правительственный этикет, прогрессируют со дня на день, вместе с возрастающей сложностью правительственной машины. Архитектура требует от архитекторов все более и более рабского повторения своих освященных временем мотивов, пользующихся в данный момент благосклонным вниманием общества; музыка — тоже; живопись также требует от художников, чтобы они воспроизводили все с большей и большей точностью, с чистифотографической пунктуальностью, внешние или традиционные образцы. При старом режиме однообразная форма в войсках была не так распространена, как в настоящее время; да к ней и относились тогда с меньшим почетом, и чем дальше уходим мы в глубь прошлого, тем большую пестроту костюмов замечаем в рядах армии. Если верить Буркгардту, во Флоренции в средние века каждый одевался, как ему заблагорассудится, точно в маскараде. Как бы однако теперь все были скандализированы такой вольностью!

Но эта потребность в однообразии настолько присуща по самой природе социальному человеку, что на известной ступени развития она становится сознательной, и человечество, чтобы дать ей удовлетворение, прибегает к быстрым и насильственным мерам. Все древние цивилизации имели своих церемониймейстеров, чиновников высшего ранга, на которых возлагалась обязанность увековечивать традиционные обряды¹. И такие церемониймейстеры существовали не только в государствах монархических: в Египте, Китае, в Римской империи, Византии, в Эскуриале при Филиппе II и его преемниках, в Версале при Людовике XIV; мы встречаем их также и в республиках, например в Риме, где цензор неукоснительно следил за соблюдением древних обычаев; даже Афины, где религиозная жизнь была подчинена самому беспощадному формализму, имели подобных же камергеров под

¹ Между ними оказывается немало странных. В тот момент, когда китайский император и его невеста становятся супругами, двое из высокопоставленных лиц, присутствующих при этом торжестве, поют любовный дуэт в императорском алькове.

разными названиями. Мы смеемся над ними, забывая, что наши великие портные, великие модистки, фабриканты, даже наши журналисты представляют по отношению к подражанию-моду в сущности тоже самое, что представляли эти светские и религиозные церемониймейстеры по отношению к подражанию-обычаю, и что они с течением времени усвоят себе шутовскую важность последних. Благодаря им, наши костюмы, разговоры, мысли, вкусы, наши потребности всякого рода выкраиваются по одному шаблону, отступать от которого признано неприличным; и такое однообразие от одного края материка до другого считается за самый несомненный признак цивилизованности, как никогда постоянство, на протяжении целых веков, традиций, легенд, обычаев считалось (и это было гораздо разумнее) за основу народного величия¹.

2. Во-вторых, подражание может быть сознательным или бессознательным, рассудочным или самопроизвольным, добровольным или невольным. Я не придаю однако большого значения этому различию. Справедливо ли, что по мере развития цивилизации подражание становится более и более добровольным, сознательным и обдуманым? Я думаю, напротив. Как у отдельного индивида сознательный волевой акт становится в конце концов бессознательным, обращается в привычку, так и у целого народа нововведение, вначале оспариваемое и с трудом пролагающее себе путь, под конец превращается в традицию и рутину. Правда, многие подражания, по своему происхождению, бессознательны и непроизвольны; таковы подражания акценту, манерам, идеям, преимущественно обращающимся в той среде, где живет человек, чувствам, свойственным этой среде; ясно также, что подражание хотениям другого, — ибо я не могу иначе определить добровольное повиновение, — обязательно непроизвольно. Но мы должны заметить, что эти непроизвольные и бессознательные формы подражания никогда не переходят в произвольные или сознательные, тогда как формы произвольные и сознательные обыкновенно стремятся принять противоположный характер. Затем следует различать между подражанием, вытекающим из сознания или желания именно подражать, и сознанием самой этой мысли или желания совершить известный поступок. Понимаемое в последнем смысле, сознание или желание представляет фактор постоянный, всеобщий, не уменьшающийся и не возрастающий

¹ Рассуждения Спенсера относительно так называемого им *обрядового правительства*, поскольку они правильны, подтверждают наши слова. Но он по-видимому заблуждается, полагая, что обрядность идет на убыль и что она господствует с полной силой лишь на первых ступенях развития обществ. Он забывает, что его первобытные общества имеют позади себя длинное прошлое, когда именно и складывалось медленно это, так называемое, обрядовое правительство.

с прогрессом цивилизации; в первом же смысле — крайне изменчивый фактор, и цивилизация по-видимому не благоприятствует развитию такого рода подражаний. Дикарь, в глазах которого древний обычай его племени есть сама справедливость, а религия его племени сама истина, не менее сознает, что подражает своим предкам, и не меньше хочет подражать им, следуя юридическим и религиозным обрядам, чем рабочий или даже современный буржуа, когда он подражает своему соседу, патрону, журналисту, повторяя то, что прочел в газете, или покупая такую мебель, какую видел в гостиной своего патрона или соседа. Но как в том, так и в другом случае люди заблуждаются, думая, что они подражают потому, что желают подражать; так как и самое желание подражать передается путем подражания; прежде чем подражать известному поступку, человек испытывает потребность, вызывающую этот поступок, и испытывает ее лишь потому, что она была внушена.

Сказанным мы и ограничимся относительно внутренних свойств подражаний и займемся теперь теми особенностями, которые представляют они в своем ходе развития по отношению к объектам подражания. Существуют внутренние и внешние образцы, внутренние состояния и внешние проявления, которым человек подражает; затем существуют личности, классы и даже местности, признаваемые высшими и низшими, которые могут быть объектами подражаний; наконец существует настоящее и прошедшее, откуда человек берет образцы для своего подражания.

В настоящей главе я намерен показать, что *при равных логических или телеологических условиях*: 1) образцы внутренние вызывают подражание прежде образцов внешних¹ и 2) примеры личностей или классов, а также местностей, признаваемых высшими, берут верх над примерами личностей, классов и местностей низших. В следующей главе я покажу, что подобная преобладающая роль принадлежит: 3) то настоящему, то прошедшему, в зависимости от чего люди обращают свое благосклонное внимание то на примеры отцов, то на примеры своих современников, а это имеет немаловажное значение в истории.

I

Подражание от внутреннего к внешнему

Я едва было не отступил перед трудностями взятой на себя задачи вспахать поле, никогда не видавшее сохи, т. е. сравнить различные

¹ Собственно говоря, этот ход подражаний от внутреннего к внешнему, от обозначаемой вещи к знаку соответствует переживанию естественной логики, и потому относящиеся сюда рассуждения могли бы найти себе место, до известной степени, также и в предыдущей главе.

отправления органической или психической жизни с точки зрения их более или менее признанной тенденции передаваться путем подражания. Эта сравнительная их передаваемость сильно изменяется, смотря по эпохам и народам. Ее возможно будет подвергнуть сколько-нибудь точному измерению лишь тогда, когда статистика исполнит все свои обещания. Поэтому мы принуждены ограничиться в настоящем случае лишь несколькими словами.

Не находите ли вы, что жажда отличается большей заразительностью в своем распространении путем подражания, чем алчность? Мне кажется, что если это так, то распространение алкоголизма находит себе надлежащее объяснение. Положим, чревоугодие также прогрессировало, насколько можно судить по более изобильному и более разнообразному питанию буржуа, рабочего и крестьянина, но нельзя не согласиться, что прогресс этот совершается медленнее, чем в первом случае. На больших районах мы легко можем убедиться, как один и тот же напиток получает всеобщее распространение (здесь — чай, вино, там — пиво, и т. д.); в то время как в пище царит еще полное разнообразие. Что отличается большей заразительностью — жажда или половые вожделения? Я думаю, что последние. Разврат — это первый порок, развивающийся при больших скопищах мужчин и женщин в городах с быстро возрастающим населением, он распространяется даже раньше, чем алкоголизм. Еще с большей легкостью усваиваются подражательным путем движения ног и в особенности разные движения верхних частей тела. Наклонность к совместной ходьбе составляет одну из великих военных сил. Влечение ходить нога в ногу, одной и той же походкой дано людям с рождения; оно существует прежде, чем становится обязательным в армиях. Было доказано посредством точных измерений, что все жители одного и того же города ходят, в среднем, одинаково быстро. Что же касается жестов и манер, то они передаются с еще большей быстротой, чем разные особенности в ходьбе, между лицами, привыкшими жить вместе, и обыкновенно служат для них характерными приметам. Отчасти именно поэтому истерические конвульсии в наших лечебницах легко принимают характер эпидемий, как некогда беснования в монастырях. Голос, как впрочем и вообще все функции общения, в высшей степени легко поддается подражанию, и в особенности его, так сказать, духовная сторона, дикция и произношение, но не тембр¹. Акцент также усваивается путем подражания, но медленно, и в дни юности. Всякий город сохраняет свой особенный акцент еще долго спустя после того,

¹ Самое большое удовольствие для детей составляет воспроизведение поражающих их шумов, большее даже, чем копирование жестов окружающих их людей.

как жители его начнут питаться и одеваться так же, как и все прочие люди. Зевота, я имею в виду зевоту от скуки, имеющую известную умственную причину, — действует еще более заразительным образом, чем чиханье или кашель.

Функции высших чувств сравнительно с функциями низших отличаются большею подражаемостью. Когда человек глядит на что-нибудь или слушает что-нибудь, то вы испытываете большее побуждение сделать то же, чем когда он нюхает цветок или ест какое-либо кушанье. Вот почему в больших городах вокруг всякого ротозея тотчас же собирается толпа людей. Люди стремятся к дверям театров, где им приходится стоять и ждать очереди, а не к ресторанам, через витрины которых они могут видеть, как потребители поглощают кушанья с превеликим аппетитом.

Страсти всякого рода по своей подражательной заразительности превосходят простые вожделения, а потребность в роскоши — потребности примитивного характера. Но можем ли мы сказать, что из страстей — удивление, доверие, любовь и самоотречение стоят выше в этом отношении, чем презрение, недоверчивость, ненависть и зависть? Да, в общем это так¹. Если бы было иначе, то общество не могло бы существовать. На том же основании надежда, вопреки частым эпидемиям паники, заразительнее ужаса; леность, честолюбие, скупость, страсть к сбережениям заразительнее алчности. И это к великому счастью для общественного спокойствия. А храбрость сравнительно с трусостью? Утвердительный ответ в данном случае будет отрицаться уже с гораздо меньшей уверенностью. Любопытство заслуживает если не почетного, то во всяком случае отдельного упоминания. Всякие сборища людей, приводившие в конце концов к разным революциям: религиозным, политическим, художественным, промышленным, зарождались под могущественным влиянием этого чувства. Когда люди видят человека, любопытство которого возбуждено тем (безразлично, что бы это не было), на что они до сих пор не обращали ни малейшего внимания, то у них тотчас же является желание узнать, что именно вызвало у него любопытство, и это чувство быстро охватывает людей и, по мере того, как оно распространяется, в каждом человеке возрастает интенсивность желания знать, в силу взаимного отражения. Всякий раз, когда какая-либо новинка — религиозная проповедь, политическая программа, философская идея, промышленное изобретение, стихи, роман, драма, опера — появляется в боль-

¹ По крайней мере в период поступательного развития народа. Когда же презрение и поношение всякого рода начинает преобладать над удивлением, то это означает, что наступает эпоха упадка.

шом центре, т. е. в столице, достаточно бывает, чтобы внимание десятка лиц было открыто для всех направлено на эту новинку, и скоро сотни, тысячи, десятки тысяч заинтересуются ею и пристрастятся к ней. Иногда подобные явления принимают характер неврозов. Когда в XV столетии немецкий волюнтер Ганс Бем стал проповедовать свое евангелие братского равенства и общности имуществ, то людьми овладела настоящая эпидемия. «Подмастерья, — рассказывает хроникер (цитируемый Янсенем), — поспешно бросали свои мастерские, девушки-работницы убегали с ферм, не выпуская серпов из рук, и в продолжение нескольких часов собралось более тридцати тысяч человек в пустынном месте, где им нечего было даже есть». Толпа предрасположена отдаться без малейшего сопротивления, раз ее любопытство возбуждено, во власть идей и желаний, популяризируемых модными проповедниками, ораторами, драматургами, романистами.

Но мы не станем более касаться вопросов и частных, дальнейшего рассмотрения которых здесь не предусмотрено, и обратимся к изложению наших взглядов более общего характера.

Все подражания, в которых логика не играет никакой роли, подходят под одну из двух следующих больших категорий: доверчивость и покорность, подражание верованиям и подражание желаниям. Может показаться странным, что мы называем подражанием совершенно пассивную приверженность к известной идее другого человека; но если, как я это покажу, пассивный или активный характер отражения одного ума в другом не имеет особенного значения, то распространенное толкование, придаваемое мною обычному смыслу этого слова, вполне законно. Если говорят, что ученик подражает своему учителю, когда повторяет его слова, то почему же нельзя сказать, что он подражает ему еще раньше, именно усваивая мысленно идею, выражаемую затем словами? Быть может, странным покажется также и то, что я рассматриваю повиновение как известного рода подражание; но это уподобление, также легко оправдываемое, необходимо: оно одно дает возможность распознать в факте подражания глубину, действительно ему присущую. Когда один человек копирует другого, когда один класс общества одевается, заводит мебель, развлекается, принимая за образцы одежду, мебель, развлечения другого класса, то это совершается потому, что этот человек или этот класс уже позаимствовал у другого человека или класса чувства и потребности, которые находят себе внешнее выражение означенным образом. Следовательно он мог и должен был позаимствовать также и его мнения, т. е. — хотеть согласно его воле. Возможно ли отрицать, что хотение, вместе с эмоцией и убежденностью, обладает наибольшей заразительностью из всех психических состояний? Энергичный

и авторитетный человек получает над слабыми натурами абсолютную власть; он дает им то, чего им не достает: известное направление. Повиновение ему составляет не обязанность, а потребность. Таким образом возникает всякая социальная связь. Повиновение вообще есть сестра веры. Народы повинуются в силу того же, в силу чего они верят; и подобно тому, как их вера есть лучеиспускание веры известного учителя, так их деятельность есть не что иное, как распространение воли известного властелина. То, чего желает властелин, желают и они; тому, чему верит или верил учитель, верят и они; поэтому-то они делают или говорят то, что сделал или сказал их властелин или учитель, или имеют стремление так делать и говорить. Действительно, люди наиболее всего готовы подражать тем личностям и целым общественным классам, которым они наиболее охотно повинуются. Массы всегда обнаруживают склонность копировать королей, двор, высшие классы, поскольку они признают их господство. В годы, предшествовавшие французской революции, Париж перестал следовать придворным модам, перестал рукоплескать пьесам, которые нравились в Версале; это означало, что дух неповиновения сделал уже заметные успехи. Во все времена господствующие классы были *или начинали с того, что становились* образцами. На семье, зародыше всякого общества, мы можем ясно наблюдать это тесное соотношение между собственно подражательностью с одной стороны, и повиновением и доверчивостью, с другой. Отец, в особенности в самом начале, является непогрешимым оракулом и верховным владыкой ребенка, а потому также и высочайшим примером для него¹.

Итак, *подражание, следовательно, идет от внутреннего к внешнему*, хотя поверхностные наблюдения говорят по-видимому о противном. С первого взгляда кажется, что народ или известный класс общества, подражающий другому, начинает с подражания в роскоши и искусствах, что он делает это раньше, чем проникнется вкусами и литературой, идеями и стремлениями, одним словом — духом копируемого народа или класса; но в действительности бывает как раз наоборот. В XVI в. Франция подражала в модах на наряды Испании. Но в то время испанская литература царила уже во Франции испан-

¹ Так и должно быть, заметьте это, если действие на расстоянии мозга на мозг, называемое мною подражанием, можно сравнивать с гипнотическим внушением, насколько по крайней мере повседневное нормальное явление может быть вообще сравниваемо с случайной аномалией, воспроизведение которой, ослабленное до крайней степени и вместе с тем расширенное, оно представляет. Известно, каким доверчивым, послушным и прекрасным комедиантом бывает загипнотизированный; известно так же, как глубоко внедряется в него внушаемая ему личность и что она овладевает, или по-видимому овладевает его сердцем, его психикой, прежде чем выражается в его позах, жестах, речах. Полное легкоеверие, покорность, вот что в сущности властвует над ним.

ским политическим преобладанием. В XVII в., когда установилось французское главенство, французская литература господствовала уже в Европе, и в силу этого французские искусства, французские моды обошли весь мир. Если побежденная и обессиленная Италия в XV в. наводняет нас своими модами и искусствами, и прежде всего своею чудной поэзией, то это происходит от того, что обаяние ее высшей цивилизации и обаяние римской империи, которую она, преображая, открывает снова миру, подчиняет себе победителей; но впрочем победители эти были уже италианизированы задолго до этого времени, задолго до того, как они стали перенимать итальянские жилища, одежду, мебель, благодаря привычке подчиняться папе. Но скажут, что сами итальянцы, подражавшие реставрированному ими античному греко-римскому миру, начали ведь с внешности: они увлеклись сначала статуями, фресками, цicerоновскими периодами и, постепенно усваивая все это, прониклись наконец духом открытого ими мира? Нет, новый ослепительный идеал поразил их прежде всего в самое сердце. Древняя мертвая религия, в форме неопанизма, распространилась сначала среди писателей и затем художников (обычный, неизменный порядок). Когда же новая религия, мертвая или живая — безразлично, внушаемая очаровывающими проповедниками, овладевает человеком, то ее, первым делом, исповедуют и затем уже применяют к житейской практике. Она начинается не разными переодеваниями, которые будто бы приводят в конце концов к желаемым добродетелям и убеждениям; далеко не так — неопиты именно отличаются тем, что среди них *дух* известной религии действует независимо от ее внешних форм; формализм культа получает свой смысл и значение лишь значительно позже, когда вера иссякнет уже в сердцах, хотя и останется еще в обычаях. Таким образом, неопит первой эпохи возрождения еще продолжает придерживаться своих привычек феодальной христианской жизни, в то время как по своей вере он уже язычник, что доказывает его чувственная распушенность и страсть к славе; язычником же — по своим нравам, а затем манерам — он становится позже. Обращаясь ко временам более отдаленным, мы должны отметить то же самое и относительно варваров V или VI в., например какого-нибудь Клодвиги, или Хильперика, которые старались усвоить римские обычаи и появлялись в консульских знаках отличия. Но прежде чем они начали усваивать внешнюю сторону римской цивилизации, они испытали ее глубокое воздействие в совершенно ином отношении: они были уже христианами, ибо к этому времени римская цивилизация, очаровавшая их, держалась лишь христианской религией.

Два народа, придерживающееся различных религий, приходят в соприкосновение: язычники и христиане, христиане и мусульмане,

буддисты и последователи Конфуция, и т. д. Каждый из них, чтобы иллюстрировать свои догматы, заимствует у другого новые обряды и, в тоже время, придерживаясь глубоко своих древних обрядов, усваивает новые догматы, более или менее противоречащие обрядам. Теперь спросим, что распространяется быстрее — обряды или догматы? Догматы, и отсюда тот общий факт, что древние обряды сохраняются в новых религиях. Точно также два народа заимствуют друг у друга одновременно языки и идеи; но идеи быстрее, чем языки; или судебную процедуру одновременно с юридическими принципами, но последние — быстрее, чем первую. Отсюда тот факт, что формы сохраняются еще долго после того, как изменились самые правовые идеи; так было в Риме, в Англии, во Франции и повсюду.

Таков ход развития подражаний, передающихся от народа — народу, а также от класса — классу среди одного и того же народа. Действительно, разве можно указать случай, когда бы один общественный класс, придя в соприкосновение с другим, под господством которого он никогда не находился, стал заимствовать у этого последнего сначала его выговор, наряды, домашнюю обстановку, постройки и лишь под конец усвоил его верования, его принципы? Нет, утверждать это значит извращать всеобщий и неизменный ход развития подражаний. Самое убедительное доказательство развития подражаний от внутреннего к внешнему мы видим в том факте, что зависть в отношениях различных классов никогда не предшествует повиновению и доверию, а, напротив, является всегда последствием предыдущего повиновения и доверия. Показная и слепая преданность римским патрициям, афинским эвпатридам, французской знати старого режима предшествовали зависти, т. е. желанию подражания во внешнем — желанию, которое они также возбудили впоследствии. Зависть является симптомом известных изменений в общественных отношениях, когда, благодаря взаимному сближению классов, уменьшается неравенство в материальных средствах, и становится возможной не только передача стремлений и мыслей от одного класса другому, не только их единение на почве религии и патриотических чувств, их принадлежность к одному и тому же культу, как это было раньше, но и распространение роскоши и благосостояния от одного класса к другому. Повиновение порождает зависть, как известная причина порождает свое следствие. Вот почему, когда, например, плебей в античные времена или гвельфская буржуазия итальянских городов в средние века захватывает власть в свои руки, то в их деятельности немедленно же сказывается то рабство, в котором они пребывали и продолжают еще собственно пребывать; действительно, репрессивные законы, издаваемые ими против недавно еще дирижировавших аристократических

классов, представляют не что иное, как внушение, потребность копировать своих прежних господ. Не трудно убедиться, что повиновение и доверие, внутреннее подражание признанному превосходству, вызывается преданным и, так сказать, любовным удивлением, тогда как внешнее подражание превосходству, оспариваемому или отрицаемому вытекает из завистливого презрения; и затем само собой очевидно, что разные общественные классы переходят от любви к скрытой зависти, или от удивления к открытому презрению по отношению к своим прежним господам, но никогда (по крайней мере по отношению к ним), не бывает так, чтобы они переходили от зависти к любви, от презрения к удивлению. Побуждаемые настойчивой потребностью удивляться и любить, люди вынуждены время от времени создавать себе новых идолов, чтобы затем и их в свою очередь разбивать¹.

Сильно ошибается тот, кто утверждает, что один только страх вынуждает людей гнуть спину. Нет, напротив, все заставляет думать, что неслыханная затрата любви, и притом любви неразделяемой, имела место при возникновении всех великих цивилизаций, или, вернее сказать, всех религиозных и политических установлений, какие только существовали когда-либо, включительно до настоящего времени. Если мы согласимся с этим — все объясняется само собою, если нет — все остается непонятным. *Царь-бог*, так рельефно обрисованный Спенсером, был бы убит немедленно по вступлении своем на престол, если бы он внушал один только страх; но дело в том, что его любили. Или, восходя к зарождению обществ, можем ли мы допустить, что древний патриарх, первый *царь-бог*, своею абсолютной властью над детьми и рабами обязан был исключительно их страху? Если не рабы, то дети его, во всяком случае, любили его, и любили

¹ На известной ступени развития низшие классы тем труднее выносят различные общественные неравенства, чем они ничтожнее сами по себе. Дело в том, что неравенства эти, сглаживаясь и падая таким образом до известного уровня, перестают вызывать удивление, доверие, повиновение и вообще всякого рода настроения, благоприятные для крепости социального организма, и таким образом теряют свой *raison d'être*. Вместо того они начинают внушать людям зависть, приводящую в конце концов к уничтожению самого неравенства. Требование полезного аналогично, в данном случае, требованию прекрасного, которое не мирится с эллипсом, очень близким к кругу, прямоугольником, очень близким к квадрату. Раз разница между двумя осями эллипса, или между длиной и шириной прямоугольника перестает быть достаточно заметной для глаза, эстетическое чувство требует, чтобы она была сведена к нулю, и требует этого тем настойчивее, чем разница эта ничтожнее, чем она ближе к полному равенству. Затем, по мере того как между различными классами обществ устанавливается таким образом почти полное равенство, сама зависть, совершив свою работу уподобления, теряет под собой почву; работа ее компрометируется, так сказать, таким чрезмерным ее развитием. Потребность в индивидуальных расхождениях, в *дис-ассимиляции*, или, как обыкновенно говорят, в свободе, возрастает, благодаря равенству, порожденному сходством; и общество распалось бы и возвратилось бы к состоянию рабства, если бы не возникло нового рода неравенств. Но они всегда возникают.

без сомнения гораздо больше, чем любил их он, так как в этом случае, как и в других, односторонняя связь по-видимому предшествовала взаимной. Принимая во внимание древние свидетельства, мы можем с достаточным основанием утверждать, что отцы прежних времен далеко не отличались такой родительской нежностью, как современные. Я не говорю о матерях: их привязанность вытекает скорее из физиологического, чем социального источника, что и обуславливает ее глубину и ее относительную неизменность. Таким образом, детская любовь была несомненно в начале отчасти неразделенною любовью, в слабой степени взаимной. Семейного главу первобытных времен, царя, судью, жреца, единственного наставника и руководителя, можно представить себе в виде маленького Людовика XIV, не признающего за своими подданными никакого права по отношению к себе и пользующегося их обожанием совершенно эгоистически; правда, в интересах своего собственного прославления, он делает себе из их защиты некоторого рода обязанности, но за это они платят ему своей признательностью, как за благодеяние. Отсюда — апофеоз главы семьи, апофеоз, необходимый для культа домашнего очага и для уппрочения на вечные времена семьи, этой основы государства и цивилизации.

Что же касается вопроса, насколько верили и повиновались подобному патриарху, то прекрасным свидетельством тому может служить Библия и все древние законодательства. Всякая его мысль, почти без слов, угадывается; всякое желание предупреждается; и поэтому-то дети его обнаруживают такую сильную склонность следовать во всем его примеру, его произношению, языку, жестам, манерам. Прежде чем предаваться бесплодным подражаниям мимике и внешности, они проникаются доверием и покорностью и привыкают верить и повиноваться ему. Только таким путем и может сложиться какое бы то ни было социальное единение. Но поднимемся еще выше; обратимся к доисторическим временам, когда людям не было еще известно даже искусство речи. Каким образом тогда совершалась передача внутренних движений, идей и желаний от одного мозга к другому? А она ведь действительно совершалась, насколько можно судить по тому, что происходит в животных обществах, члены которых по-видимому понимают друг друга почти помимо всяких внешних знаков, как бы в силу своего рода психической электризации. Необходимо допустить, что уже в то время происходило, даже быть может с замечательной интенсивностью, впоследствии уменьшившейся, между-мозговое воздействие на расстоянии, о чем может дать нам понятие, правда, несколько смутное, гипнотическое внушение, с той разницей конечно, что одно — нормальное, а другое — болезненное состояние.

Это воздействие составляет основную и первоначальную проблему, которую должна разрешить *социальная психология* (начинающаяся там, где кончается физиологическая психология). Изобретение языка поразительным образом облегчило, но не создало прививку идей и желаний одного ума другому, а следовательно и развитие подражания *ab interioribus ad exteriora*; ибо если бы такого рода подражание не существовало раньше языка, то было бы немыслимо и самое появление этого последнего. Трудно понять не то, каким образом первый изобретатель слова додумался соединить в своем собственном уме известную мысль с известным звуком (дополняемым жестом), а то, каким образом он мог бы *внушить* эту ассоциацию между мыслью и звуком другому человеку, заставляя его только прислушиваться к звуку. Если слушавший ограничивался повторением звука, подобно попугаю, не придавая ему надлежащего смысла, то мы не понимаем, каким образом такое поверхностное и механическое *отражение* звука могло привести его к пониманию значения, придаваемого звуку говорившим, и заставить его перейти от *звука к слову*. Необходимо следовательно допустить, что смысл передается вместе со звуком каким-либо иным путем и что лицо слушающее усваивает смысл прежде, чем воспроизводит звук. Такое предположение не покажется конечно странным тому, кто знаком с гипнотическими фокусами — чудесами внушений, столь общеизвестными в настоящее время.

Впрочем в подтверждение той же гипотезы можно привести массу данных из наблюдений над 2–3-летними детьми, только что начинающими говорить. Дети понимают то, что им говорят, как легко может убедиться каждый, много раньше, чем сами будут в состоянии говорить о тех же предметах. Каким бы образом это могло случиться, если бы у них подражание большим не шло *ab interioribus ad exteriora*? Разве ж мы станем на такую точку зрения, то без затруднения поймем, каким образом складывается язык, представлявшейся прежде столь необычайным фактом. На заре истории слово имело вовсе не то значение, какое оно получило в настоящее время, т. е. оно не служило средством для взаимного обмена сведениями и советами. В силу закона, который мы уже не однажды высказывали и в силу которого во всем и по отношению ко всему односторонняя связь предшествует взаимной, слово должно было представлять в начале поучение и повеление отца детям без всякой взаимности; молитву к Богу без всякого ответа; т. е. оно составляло нечто вроде жреческой и монархической функции, абсолютно авторитарной, сопровождавшейся галлюцинациями, *внушениями*, нечто вроде таинства, священной монополии. Один только глава имел право говорить, или «владеть высоким словом» в своей округе, как теперь учитель в своей школе. К тому же

только избранные и умели говорить, что составляло сначала предмет удивления и затем зависти.

Значительно позже высшие классы таким же образом монополизировали право писать, почему в глазах необразованных людей всякое писание, вслед за *священным писанием*, до недавнего еще времени сохраняло свой таинственный характер. Если слово уже давно потеряло свой престиж, то без сомнения потому, что оно — значительно более древнего происхождения. Но оно обладало, как это вполне доказывается, тем значением, какое придавалось в древних судебных процессах, так называемым, *торжественным* словам, а также магической силой, приписываемой в Ведах *молитве*, обоготворяемой арийцами, как *Слово*, *Логос* обоготворяется христианами. В одной из следующих глав мы покажем, что потребности потребления всякого рода предшествовали потребностям произведения и что этот важный факт связан с развитием подражаний от внутреннего к внешнему; если же это так, то потребность слушать должна была предшествовать потребности говорить.

Действие на расстоянии одного ума на другие, ему подчиненные, приобрело непреодолимую силу с тех пор, как оно было облегчено и упорядочено, благодаря установившейся привычке к словесному общению. О значении языка, как орудия управления в первые времена, можно судить по тому могуществу, каким обладает в наши дни его самоновейшая форма, периодическая пресса, и в особенности — каким она обладала раньше, когда не разбивалась на враждебные лагеря и таким образом не парализовала саму себя междоусобной борьбой. Благодаря именно речи, подражание и получает в человеческих обществах этот свой отличительный, в высшей степени многозначительный характер, состоящий, как мы знаем, в том, что сначала усваивается с величайшей точностью внутренняя, интимная сторона известного образца, представления и желания, и затем уже, с меньшей точностью, схватываются и отражаются внешние стороны, жесты, движения, позы. Среди стадных животных наблюдается обратное явление: здесь подражание сколько-нибудь определенное может совершаться лишь путем воспроизведения пения, криков, мускульных движений; передача же нервных процессов, идей и желаний носит всегда неопределенный, расплывчатый характер, что и обрекает животные общества к топтанию на одном и том же месте. Поэтому, если бы бизону или слону пришла в голову какая-нибудь умная идея, то она умерла бы вместе с ним и была бы потеряна для стаи и стада.

У животных прежде всего и главным образом мускул подражает мускулу; у нас прежде всего и главным образом нерв подражает нерву, мозг — мозгу. Вот главный контраст, которым объясняется пре-

восходство наших обществ. Ни одна счастливая идея не пропадает в них, и всякий выдающийся ум остается жить в потомстве, возвышая его до себя. Пусть эти счастливые идеи долгое время были только сумасбродными мечтаниями или деспотическими капризами; все равно, передаваясь от вождя к толпе, они создали огромное и основное благо — религиозное и политическое единство, которое одно делает возможным коллективное, дисциплинированное, военное действие; как впоследствии, когда истинные идеи и полезные направления возьмут верх, объединение под влиянием одной и той же науки, одной и той же морали — одно сделает возможным великий расцвет искусств и промышленности. Заметим по поводу искусств, что их развитие во все не совершается от наиболее внешних к наиболее внутренним от архитектуры, через скульптуру и живопись, к музыке и поэзии, как утверждает Спенсер. Напротив, они начинаются книгой, эпосом, поэтическим произведением относительно очень высокого достоинства, как Илиада, Библия, Данте и т. п. — возвышенным первоначальным источником, из которого истекут все искусства.

Это движение *изнутри наружу*, если мы попытаемся формулировать его точнее, сводится к следующему: 1) сначала подражают идеям, а потом их выражению; 2) сначала подражают цели, а потом средству. *Внутреннее* — это цели или идеи; внешнее — средства или выражения. Без сомнения мы стремимся заимствовать у других то, что является для нас новым средством для достижения наших старых целей, для удовлетворения наших старых потребностей, или новым выражением наших старых идей; и вступая на этот путь, мы в то же время начинаем принимать нововведения, возбуждающие в нас новые идеи, новые цели. Только эти новые цели, новые потребности усваиваются нами легче и распространяются быстрее, чем эти выражения и средства¹. Народ, начавший цивилизоваться и увеличивать число своих потребностей, потребляет гораздо больше вещей, чем может или хочет произвести. На языке эстетика это значит, что распространение чувств предшествует распространению талантов. Чувства — это привычки к суждениям и желаниям, которые вследствие частого повторения сделались чрезвычайно быстрыми и почти бессознательными. Таланты — привычки к действиям, которые в силу частого повторе-

¹ Я не думаю отрицать, что иногда перенимается только *наружность*, а не *внутренние* качества образца. Но начинающие с наружного подражания, как это часто делают женщины и дети (реже однако, чем обыкновенно думают), на этом и останавливаются; тогда как от внутреннего подражания переходят к другому. Достоевский сообщает нам, что после нескольких лет, проведенных на каторге, он стал наружно походить на арестантов. «Их привычки, идеи, обычаи сообщались мне и сделались моими по внешности, хотя не проникли в мою душу».

ния так же приобрели механическую быстроту. Стало быть и чувства, и таланты — суть привычки, и различаются только как внутреннее от наружного, внутренний факт от внешнего факта. А разве не известно, что эстетические чувства возникают и распространяются раньше, чем таланты, способные им удовлетворить? И не тоже ли самое доказывает распространенное замечание, что виртуозность эпох упадка переживает истощение вдохновения?

Искусство не создает своей религии; но религия в конце концов создает искусство, которое ее выражает и прославляет. Можно ли представить себе живопись Чимабуэ или Джотто до распространения христианства? С точки зрения нашего закона становится весьма понятным, почему слияние верований всегда и везде предшествует слиянию нравов и искусств, почему следовательно даже в эпохи малых, независимых и враждебных государств общая религия могла распространиться на обширной территории. Доказано, что оракулы и игры — в особенности Дельфийский оракул и Олимпийские игры создали и постоянно укрепляли чувство эллинской национальности, несмотря на раздробленность греческих государств. Но задолго до того, как игры сделались общим центром, где можно было видаться и перенимать друг у друга внешнюю сторону жизни, авторитет одних и тех же оракулов был признан всеми. Их происхождение теряется в сказочной древности. Точно также в средние века одинаковая вера царствует в Европе за много веков до того, как великие монархии с их блестящими дворами и обменом заразной роскошью начали создавать внешнее объединение народов. Обратного примера не существует.

Известно, что изменения законодательные, юридические являются довольно поздно вслед за соответственными интеллектуальными и экономическими изменениями, но никогда не предшествуют им, по крайней мере в тех случаях, когда они оказываются живучими. Наш тезис этого и требует. Он требует также, чтобы законы, наружный скелет обществ, переживали довольно долго свой внутренний *raison d'être*, те потребности и идеи, которые в них воплощаются. Явившись позднее, или развиваясь медленнее, они должны или могут сохраняться дольше. То же, как показывает наблюдение, можно сказать и о некоторых обычаях; и только этим общим явлением объясняется частный случай, о котором сейчас будет речь. *Переживания* обычаев, употребляя превосходный термин Леббока, так общеизвестны, что мы можем ограничиться немногими примерами. Напомним однако, что после того как материнство было уничтожено и даже забыто, его подобие сохранилось в обычае *кувады*, фиктивного материнства, применявшегося к отцу; что после того, как похищение женщин вы-

велось из употребления, брачные церемонии сохранили его фикцию. До свадьбы Людовика XVI во Франции, по крайней мере в некоторых провинциях, сохранялся обычай платить тринадцать денье в момент заключения брака — пережиток того времени, когда муж покупал жену. Некоторые секты, отвергавшие таинство евхаристии, подражали причащению, и многие свободные мыслители, не желающие крестить своих детей, празднуют их гражданское quasi-крещение. Впрочем, есть ли живая религия, которая бы не занимала у какой-либо мертвой религии ее обрядов, процессий, внешней стороны ее культа? Сохранение в языке корня, смысл которого изменился, представляет подобный же случай переживания, усложненный, как и в предыдущем случае, введением нового значения, приспособляющего старый орган к новой функции. Что касается юридических переживаний, то наши кодексы переполнены ими. Пусть какой-нибудь юрист объяснит мне, не прибегая к феодальному праву, хотя оно и исчезло уже несколько веков тому назад, — пресловутое различие между иском о праве на владение (*possessoire*) и иском о получении собственности (*petitoire*) — кошмар французских мировых судей. Наконец в сфере поэзии и искусства сплошь и рядом замечается, как старое тряпье угаснувшей школы переходит к новым гениям.

Что же это доказывает? Во-первых упорство и энергию присущей людям склонности подражать прошлому. Но кроме того, в этих эстетических, или обычных, или просто рутинных подражаниях исчезнувшим верованиям или потребностям, внешность подражания переживает ее внутреннее значение, что вполне естественно, раз это внутреннее значение древнее или быстрее развилось, чем его внешность.

Таким образом все эти переживания служат проверкой нашего закона. Последние сомнения в его правильности исчезнут, если мы обратим внимание на следующее обстоятельство. Почетные титулы (*seigneur* превратившееся в *sieur*), приветствия (феодалное коленопреклонение, заменившееся легким наклоном головы), комплименты, манеры все более и более сокращаются, ослабевают, упрощаются по мере распространения. Спенсер мастерски доказал это. Этот факт нужно сопоставить с другими подобными же. Вследствие частого употребления слово сокращается, обесцвечивается, изнашивается, как голыш, окатанный волнами; религиозное верование теряет свою интенсивность, искусство вырождается и пр. Из всего этого можно по-видимому заключить, что подражание есть неизбежное ослабление того, что перенимается отсюда необходимость новых изобретений, свежих источников подражания, которые могли бы оживить иссякающую социальную энергию. И действительно, в этом заключении много верного, как мы увидим ниже. Но всегда ли

так бывает? Нет, это сходство существует только между конечными периодами различных эволюций, которые мы только что сравнивали. Прежде чем подвергнуться сокращению, слово должно было сформироваться, расти, развиваться путем ряда восходящих, а не нисходящих подражаний. Прежде чем обесцветиться, термин должен был установиться, укрепляясь все более и более при каждом подражании. Прежде чем прийти в упадок, обряд, догмат должны были утвердиться, развиваться в течение всей эпохи юности их религии. Отчего зависит этот контраст? Не оттого ли, что в первом периоде подражание является по преимуществу внутренним, касается верований и желаний, внешняя форма которых имеет лишь второстепенное значение, верований и желаний, которые приобретают все большую и большую жизненность в силу собственного закона, вследствие самого распространения и взаимного отражения; тогда как в следующем периоде внешние формы распространяются все более и более, несмотря на постепенное иссякание их внутреннего источника, и следовательно должны ослабляться? Таким образом явление это объясняется тем, что подражание развивается изнутри наружу, от вещи к ее знаку. Почему же наступает такой момент, когда начинает развиваться не внутренняя сторона модели, т. е. вера или желание, подразумеваемые в данном слове или действии, а внешняя? Потому, что новая вера, новое желание, совершенно или отчасти непримиримые с прежними верованиями и прежними желаниями, распространяются в той среде, где эти последние уже распространились. Тогда модель поражена в сердце, но продолжает жить по наружности, уменьшаясь и сокращаясь до тех пор, пока случай не вдохнет в нее новую жизнь¹.

Прежде чем закончить эти рассуждения о подражании *ab interioribus ad exteriora*, я вкратце укажу читателю на аналогию, которую и в этом отношении, как во всех остальных, подражание представляет с другими формами повторения.

Ясно, уже вследствие самой темноты, присущей изучению жизни, что все фазы ее развития, от оплодотворения до смерти, имеют источником какое-то внутреннее действие, безусловно от нас скрытое, какую то жизненную веру, если можно так выразиться, жизненное внушение, которое вдохнули в зародыш его предки и которое предшествует своим *проявлениям*. В момент оплодотворения родители повторяются в ребенке в том, что составляет наиболее внутреннее

¹ «Церемониал — великий музей истории», справедливо замечает Поль Виолле. Если так, а в этом нельзя сомневаться, то приходится отбросить мысль Спенсера о церемонии, как об остатке первичного правительства. Музей вовсе не представляет из себя чего-то первичного, полного в начале и уменьшающегося с течением времени; он образуется и возрастает мало-помалу, обновляясь притом из века в век.

явление их жизни, прежде чем повториться, благодаря этой передаче, в своих наиболее внешних, видимых проявлениях, потому что оплодотворенный зародыш содержит в потенциальном состоянии все свое будущее развитие; так же, как в момент обращения прозелита, апостол повторяется в нем своей наиболее глубокой в социальном отношении стороной, которая вскоре послужит источником молитв и религиозных обрядов, не менее точно повторяющих его молитвы и обряды. Аналогия с явлениями физического порядка более проблематична. Напомним однако бесплодие всех попыток понять передачу, повторение движений, путем прикосновения или на расстоянии, иначе как при допущении предварительной передачи скрытой силы, скрытого стремления; такая же неудача постигла все попытки объяснить химические соединения группировкой полых, пустых атомов. Повторим в заключение, что как в природе, так и в наших обществах повторение, т. е. действие подражания совершается *ab interioribus ad exteriora*.

II

Подражание низшего высшему

Глубокое и сокровенное свойство человеческого подражания, привившееся с первых времен, — способность связывать души людей, повлекло за собой, как видно из предыдущего, возрастание неравенства между людьми, создание социальной иерархии. Это было неизбежно, потому что отношение образца к копии было отношением апостола к неофиту, властителя к подданному. Таким образом уже вследствие того, что подражание шло от внутренних свойств образца к внешним, оно должно было состоять в *нисхождении* примера, от высшего к низшему. Это второй закон, отчасти подразумеваемый первым, но требующий особого рассмотрения.

Определим однако точнее значение нижеследующих, равно как и предыдущих рассуждений. Во-первых они относятся только к тем случаям, когда предполагаемая обаятельность превосходства не нейтрализуется, целиком или отчасти, действием логических законов. Как бы ни был ничтожен в глазах людей автор или проповедник новой идеи, относительная справедливость и польза которой очевидны, она все-таки в конце концов распространится. Так, в самом аристократическом слое римского общества распространилось евангелие, принесенное рабами или евреями, распространилось потому, что более соответствовало основным проблемам совести, чем политеизм. Также точно распространилось в древнем Египте употребление лошади, за-

несенное из Азии, несмотря на презрение египтян к азиатам, — потому что для многих работ лошадь очевидно больше годилась, чем осел. Примеры этого рода бесчисленны, равным образом сочетание звуков, отделившееся от своего смысла, религиозный обряд, отделившийся от своего догмата, черта нравов, отделившаяся от выражаемой ею потребности, произведение искусства, отделившееся от социального идеала, который в нем проявляется, — легко распространяются в новой среде, если господствующие в ней принципы и потребности находят более удобным заменить новым выражением — более живописным, ярким, сильным — свое обычное выражение. Далее, даже в том случае, когда логический закон не вмешивается в дело, не только высший служит образцом для низшего, патриций для плебея, дворянин для крестьянина, духовный для мирянина, или позднее парижанин для провинциала, городской житель для сельского, — но и низший, правда в гораздо меньшей степени, является предметом подражания для высшего. Когда двое людей находятся в постоянном общении, то, в конце концов, они подражают друг другу, только один в гораздо большей степени, чем другой. Самое холодное тело сообщает свою теплоту самому теплomu. Самый высокомерный помещик невольно перенимает до некоторой степени манеры, акцент, склад ума своих слуг и арендаторов. В силу той же причины многие провинциализмы, простонародные выражения проникают иногда в язык городов и даже столиц, а термины воровского языка — в язык гостиных; и это влияние низшего на высшее замечается во всех сферах явлений. Тем не менее, не слабое нагревание теплого тела холодным, а значительное нагревание холодного теплым представляет главнейший факт в физике, — факт, которым объясняется стремление вселенной к окончательному и вечному равновесию температуры; точно также в социологии распространение примера сверху вниз представляет единственный достойный изучения факт, так как оно стремится произвести общую нивелировку человеческого мира.

1. После этих предварительных замечаний попытаемся уяснить истину, о которой идет речь. Что люди, любящие друг друга, подражают один другому, или, так как это явление в начале всегда бывает односторонним, что *любящий* подражает *любимому* — это вполне естественно. Но, что еще нагляднее доказывает, как глубоко проникает в сердце людей действие подражания, — мы всегда замечаем, что люди передразнивают друг друга, даже сражаясь. Победжденные немедленно начинают подражать победителям, хотя бы с целью реванша. Заимствуя у них военную организацию, они говорят и верят, что делают это ради утилитарных целей. Но неудовлетворительность такого объяснения будет ясна, если мы сблизим этот факт со многими

подобными же явлениями, где стремление к пользе очевидно не играет никакой роли. Так например, побежденный заимствует у победителя не только лучшее оружие, лучшие пушки, более совершенные методы, но и множество ничтожных мелочей, военных обычаев, усвоение которых, если оно возможно, связано с неудобствами, далеко превосходящими пользу. В XIII в. Флоренция и Сиенна, находившиеся в постоянной войне, противопоставляли друг другу не только войска с одинаковой организацией, но и странную повозку (*caroccio*), и колокол (*martinella*), употребление которых распространилось из Ломбарды, долгое время бывшей самой могущественной частью Италии (до такой степени, что слова *ломбардец* и *итальянец* означали одно и то же), во Флоренцию, а отсюда, благодаря престижу, которым пользовался этот цветущий город, в соседние, враждебные города. Однако же колесница представляла только помеху, а колокол положительную опасность. Почему же каждый из этих городов заимствовал обе эти нелепости вместо того, чтобы придерживаться старых обычаев? Потому же, почему низшие классы общества, то есть побежденные или потомки побежденных в гражданских войнах, подражают высшим классам в одежде, манерах, языке, пороках и пр. Никто не скажет, что это подражание — военная операция с целью реванша. Это просто удовлетворение специальной потребности, играющей капитальную роль в социальной жизни и окончательно подготавливающей условия будущего мира после многих битв.

Какова бы ни была организация общества, аристократическая или демократическая, но если мы видим, что подражание делает в нем быстрые успехи, то можем быть уверены, что и неравенство сословий в нем очень значительно. И нам достаточно будет знать, в каком направлении течет главный поток примеров, среди второстепенных *струй*, чтобы решить, где находится истинная власть. Если нация имеет аристократическое устройство, вопрос очень упрощается. Везде и всюду аристократия подражает, насколько может, своим вождям, королям или сюзеренам; простонародье — аристократии. В Константинополе, в эпоху византийских императоров, «двор берет пример с монарха — говорит Бодрильяр в своей *Истории роскоши*, — город берет пример с двора; бедняк смотрит на богача и желает получить свою долю роскоши». То же самое мы видим во Франции при Людовике XIV. Сен-Симон пишет по поводу роскоши же: «Раз заведется эта язва, она как внутренний рак разъедает честных людей, потому что быстро распространяется от двора по всему Парижу, в провинции и войсках». В XV в. начинают подумывать, говорит Барант, «о строгом запрещении игры в кости, карты и мяч, которые распространились в народе из подражания двору». Следовательно бесчисленные игроки,

которых встречаешь за картами в кафе и гостиницах, сами того не сознавая, подражают нашим древним монархическим дворам. Формы и обряды вежливости распространились тем же путем. Любезность распространяется от двора, как вежливость из города. Акцент двора, позднее акцент столицы, мало-помалу распространяется среди всех классов и по всем провинциям нации. Можно быть уверенным, что некогда вавилонский, ниневийский, мемфисский акценты играли такую же роль, как теперь парижский, флорентийский, берлинский. Эта передача акцента, именно потому, что она представляет одну из самых бессознательных, непреодолимых и необъяснимых форм подражания, очень наглядно свидетельствует о глубине этой силы и об истинности закона, который я излагаю в настоящую минуту. Видя, что обаяние, которым пользуются высшие классы в глазах низших, горожане в глазах крестьян, белые в глазах черных в наших колониях, взрослые в глазах детей, старшие ученики в школах в глазах младших, видя, что это обаяние распространяется даже на акцент, мы не можем сомневаться, что оно распространяется *a fortiori* на почерк, жесты, игру физиономии, одежду, обычаи.

Заслуживает внимания сила стремления подражать высшей иерархии и быстрота, с какой это стремление удовлетворяется при малейшем подъеме благосостояния. Частое появление указов против роскоши в течение всей эпохи старых порядков свидетельствует об этом, как множество плотин на реке — о силе ее течения. При Карле VIII образовался первый французский двор. Не нужно думать однако, что подражательная зараза придворной вежливости и роскоши потребовала несколько веков, чтобы распространиться до самых низших слоев народа. С эпохи Людовика XII ее влияние чувствуется всюду. Бедствия религиозных войн приостановили ее развитие в XVI в.; в следующем столетии она снова обнаружилась; но нищета, причиненная последними войнами Великого Короля, повела к новой остановке. В XVIII в. — новый прилив; в эпоху Революции — новый отлив. Со времени первой империи, движение возобновляется в очень широких размерах, но уже в демократических формах, которых мы здесь не будем касаться. В царствование Франциска I, Генриха II продолжается распространение роскоши Людовика XII. В эту эпоху является указ против роскоши, запрещающий «крестьянам, земледельцам и лакеям, если они не состоят на службе у принцев, носить шелковые куртки, штаны с шелковыми буфами». От 1543 г. до Лиги издано восемь больших ордонансов против роскоши. «Некоторые из них — говорит Бодрильяр — относятся ко всем подданным; они запрещают употребление золотой и серебряной парчи и шелка». Таково было общее стремление к щегольству накануне религиозных

войн¹. Запретительные торговые законы чаще всего мотивировались тем, «что Франция разоряется на предметы роскоши». Впрочем этот факт подтверждается и цветущим состоянием тех отраслей промышленности, которые производили предметы роскоши, что предполагает многочисленных потребителей².

Если мы обратимся к классической древности и еще далее в глубь веков, то найдем подтверждение того же закона. Из одного текста Сидония Аполлинария видно что употребление латинского языка в Галлии началось благодаря галльской аристократии, от которой распространилось вместе с римскими нравами и идеями в массе народа³.

Другой пример. Представим себе бассейн Средиземного моря в VIII веке до Р. Х., в эпоху расцвета тирской или сидонской промышленности, когда финикияне, европейские разносчики египетского и ассирийского искусства, пробуждали у греков и многих других народов вкус к роскоши и прекрасному. Эти торговцы развозили не простые и дешевые ткани, как англичане наших дней, но подобно средневековым венецианцам — утонченные продукты, предназначенные для богатых людей, — пурпуровые ткани, благовонные вещества, золотые кубки, статуэтки, дорогое оружие, драгоценности. Повсюду — в Сардинии, в Этрурии, в Греции, в Архипелаге и в Малой Азии, даже в Галлии, высшие классы, немногие избранные, носят в то время каски,

¹ В Германии происходит то же самое; многочисленные доказательства этого мы находим у Жана Янсена (Allemagne à la fin du Moyen âge). Так, в XV в. «в Померании и на о-ве Рюгене крестьяне богаты; они носят только английские платья и другие дорогие одежды, подобные тем, *которые носила некогда знать и богатая буржуазия*». Эти строки заимствованы у современного историка Померании Канцова. Из проповедей мы видим, что крестьяне носили шелковое платье. В Италии, судя по Бургхардту, — такое же распространение роскоши в ту же эпоху.

² Эта зараза роскоши часто служила проводником полезных нововведений. «Самые полезные виды (наших животных), — говорит Бурдо в своей Conquête du monde animal — сначала приручались скорее с целью забавы, чем ради выгоды, которая еще не была известна. То же стремление и теперь заставляет нас искать новых или особенных видов, а в первые времена всякое прирученное животное имело этот характер новизны и странности. В Греции и Риме дарили некогда ребенку или любимой женщине гуся или утку в качестве комнатной птицы. Во времена Дезаря Бретонцы держали гусей и кур ради развлечения, не пользуясь их мясом...; в XVI столетии индейка и индейская утка фигурировали в парках сеньоров и только позднее спустились на птичьи дворы в качестве обыкновенной домашней птицы... *Этот ход логичен и неизбежен*. Только богатые классы общества могут тратить на приручение и опыты, результат которых неизвестен; но когда успех достигнут, выгода становится общей».

³ Галльская знать, после завоевания, стала перенимать римский язык и нравы, потому что в эту эпоху она в первый раз почувствовала превосходство Рима. Почему американские индейцы не перенимали европейской цивилизации? Потому, что гордость не позволяла им считать себя ниже англо-американцев. Напротив, негры в Америке, привыкшие признавать превосходство белых, даже после уничтожения рабства, обнаруживают очень заметное и сильное стремление копировать во всем своих господ или своих бывших господ.

мечи, браслеты, туники и пр. — почти одинаковые на всем протяжении этой обширной области, тогда как простонародье, низшие сословия, по прежнему различаются своими национальными костюмами и оружием. Впрочем это простонародье, резко отличающееся от своих вождей по наружности, вполне уподобляется им по идеям и страстям, по религиозным суевериям и нравственным принципам. Тоже самое зрелище поразило бы в XIV и XV вв. нашей эры какого-нибудь тогдашнего Артура Юнга, в его путешествии по Франции и другим европейским государствам. В эту эпоху продукты венецианской промышленности, столь же однообразные, как повсеместно распространенные, наводняли дворцы, замки, богатые городские дома, придавая им однообразный характер, тогда как бедные дома и лачуги, в которых однако царствовала та же религия и мораль, что и в роскошных аристократических палатах, различались еще своеобразным национальным характером. Таким образом, мало-помалу, распространяясь сверху вниз, ассимиляция двигалась вперед, как в древности, так и в наше время, пока наконец грандиозная внешняя торговля, удовлетворяющая потребностям не только избранного меньшинства, но и массы народа, не сделалась возможной к великой выгоде для нынешней Англии, для завтрашней Америки¹.

Итак, защитники аристократии, как мне кажется, упустили из виду сильнейший аргумент в ее пользу. Главная роль знати, ее отличительная черта — это ее инициаторский, если не творческий характер. Изобретение может явиться и в самом низком слое общества, но для его распространения требуется социальная вершина, нечто в роде социального *запасного водоема*, откуда может разливаться непрерывный поток подражания. Во все времена и во всех странах аристократия охотно принимала и быстро вводила иностранные новшества², как главный штаб армии имеет наиболее точные сведения о военных нововведениях за границей и может применить их наилучшим образом, оказывая этим такие же услуги, как дисциплиной, душу которой представляет. По этому признаку можно судить о жизненности аристократии; напротив, если она цепляется за традиции, ревниво

¹ Считаем нужным предупредить одно возражение. Нам могут заметить, что аристократия Средиземноморского бассейна в эпоху финикиян, как и европейская аристократия во времена венецианской торговли, перенимая иностранную одежду, оружие и утварь, шла ab exterioribus ad interiora; но это было бы ошибкой. Она находилась под влиянием господствующей нации, Египта или Ассирии, Италии или Константинополя, литература которой проникла в ее среду раньше, чем предметы искусства, и слава которой ее поработала: социальная функция аристократии — внушать населению удивление и зависть к иностранцам и таким образом пролагать дорогу для подражания-моды, заменяющего подражание-обычай.

² Еще пример: греческие идеи, язык и цивилизация распространились в Риме в эпоху Сципионов, благодаря римской аристократии.

охраняет и защищает их от посягательств народа, который когда-то заимствовал нововведения от нее же, то можно быть уверенным, что ее главное дело кончено и ее упадок близок, хотя она и может еще быть полезной в этой новой умеряющей роли, являющейся дополнением к первой¹.

2. В этом отношении духовная иерархия походит на гражданскую, несмотря на их кажущуюся противоположность. Без сомнения, только благодаря сильной аристократической организации христианского духовенства, одинаковые догматы, а позднее одинаковые обряды могли распространиться на огромной территории, несмотря на феодальное раздробление, и создать великое духовное и обрядовое единство, называемое христианством. Только благодаря отсутствию этой пирамидальной организации, протестантизм, появившийся в эпоху больших централизованных государств, в благоприятную для распространения однообразной доктрины и культа эпоху, разбился на бесчисленные секты. И пока папский двор и епископы католической церкви представляли из себя полную жизни аристократию, их отличительной чертой была монополизация религиозной инициативы; и их инициаторские стремления доказываются замечательными усложнениями догмата и культа с каждым новым собором или синодом. Благодаря этим частым — и часто реформаторским — собраниям, епископы, аббаты стояли *au courant* новых направлений теологии, казуистики, богослужения и распространяли их среди своей паствы². Их новаторские стремления заходили даже дальше, не ограничиваясь религиозной областью. Высшее духовенство развратилось в конце средних веков, по той же причине, в силу которой позднее родилась французская аристократия; потому именно, что в эту эпоху оно было высшим правящим классом и прежде всех других было затронуто зарею восходящей цивилизации. Предположите, что высшие представители духовенства тогдашней Европы отвергли бы новые изобретения, новые открытия и следовательно новые нравы — без сомнения, наступление совре-

¹ Случается иногда — даже часто, что завоеватели перенимают обычаи, язык, нравы завоеванных. Франки в Галлии латинизировались, переняли римский язык. То же случилось с норманнами в Англии, с варягами в России и пр. Но это потому, что во всех таких случаях завоеватель чувствовал превосходство завоеванного. И чем действительно и заметнее это превосходство, тем более завоеватель уподобляется завоеванному. Англосакс стоял лишь немного выше норманна; поэтому в Англии произошло слияние двух цивилизаций, двух языков, в одну цивилизацию, в один язык с слабым перевесом саксонского элемента. Известно кроме того, что галло-римская знать сохранилась, несмотря на завоевание, и продолжала давать тон.

² В Индии, по Барту, брамины являются инициаторами всех религиозных нововведений, из которых истекают все изменения, происходящие в этой стране.

менной цивилизации было бы отсрочено на несколько веков, если не на неопределенное время.

В эпоху теократической аристократии хижина подражает замку, замок — церкви или храму, во-первых, своим архитектурным стилем, во-вторых, различными формами роскоши и искусства, которые проявляются в нем прежде, чем распространятся в низших слоях. В средние века орнаментация соборов служит образцом для светской орнаментации, и феодальные жилища украшаются драгоценными изделиями и мебелью в готическом стиле. Скульптура живопись, поэзия, музыка переходят из духовной сферы в светскую таким же путем. Как монархические дворы, создавая лесть, — очень ограниченную и одностороннюю форму вежливости, — тем самым создали привычку быть вежливым и любезным со всеми, сделавшуюся впоследствии общей и взаимной; как пример власти вождя или привилегий избранного меньшинства, распространившись, породил право, власть каждого над всеми и всех над каждым, общую привилегию; также источником всякой литературы служит священная книга, книга по преимуществу, и все позднее написанные светские книги являются ее отблеском; источником всяких писем — священные письма; источником всякой музыки — церковное пение, религиозная музыка; источником всякой скульптуры — идол; источником всякой живописи — фреска, украшающая храм или гробницу, или монашеские рисунки в священных книгах... Итак, храмы прежде, чем дворцы, могут быть рассматриваемы, как вековые очаги, долгое время бывшие необходимыми — отсюда распространялась цивилизация, как в поверхностном и внешнем, так и во внутреннем и глубоком смысле этого слова, как в отношении искусств и прихотей, так и в отношении убеждений и нравов¹.

3. В эпоху упадка духовного правительства, когда наставления священника все менее и менее являются источником верований, — начинают тем сильнее подражать духовному искусству и роскоши, и не опасаются профанировать декоративную сторону культа, заимствуя ее для светских целей. Точно так же в эпоху ослабления аристократического правительства, чем менее подчиняются привилегированным сословиям, тем более осмеливаются копировать их внешность. Мы знаем, что это вполне согласно с движением *ab interioribus ad exteriora*; но это объясняется также отчасти другим очень общим за-

¹ Аббат Петито замечает, что у эскимосов мужчины, *но не женщины* молятся утром и вечером. У нас бывает наоборот. По поводу этого Revue scientifique (21 nov., 1888 г.) справедливо замечает, что «у всех первобытных народов религия, как охота и война, составляют удел мужчин». Отсюда мы имеем право заключить, что если религия дольше сохраняется в сердце и привычках женщин, то это потому, что первоначально они заимствовали ее у своих господ и повелителей. Еще подтверждение нашего закона.

коном, который должен быть комбинирован с законом подражания высшему. Если бы этот последний действовал один, то наибольшее подражание вызывал бы самый высший; в действительности же наибольшее подражание вызывает высший *из наиболее близких*. В самом деле, влияние примера обнаруживается не только в прямом отношении к превосходству образца, но и в обратном отношении к его *расстоянию*.

Расстояние понимается здесь в социологическом смысле слова. В этом смысле иностранец является близким — как бы он ни был удален геометрически — если сношения с ним часты и постоянны и если стремление подражать ему легко может быть удовлетворено. Этим законом подражания наиболее близкому, наименее удаленному объясняется последовательный и постепенный характер распространения примера, начиная с высшего слоя общества. Отсюда же можно заключить, — когда замечается, что низший класс впервые начинает подражать очень высокому, — что расстояние между ними уменьшилось.

4. Демократическим называют период, начинающийся с того момента, когда, вследствие различных причин, расстояние между различными классами уменьшилось до такой степени, что даже самые низкие начинают подражать по внешности самым высоким. Итак, мы можем быть уверены, что во всякой демократии, где, как во французской, горячка внутренней или внешней ассимиляции достигает сильного напряжения, — имеется социальная иерархия, готовая или возникающая, существуют признанные степени превосходства, наследственные или *отборные* (*sélectives*). Не трудно видеть, кем заменилась у нас старая знать, потерявшая в значительной степени даже скипетр внешнего изящества. Во-первых, ее заменила административная иерархия, развивавшаяся ввысь, вследствие умножения своих степеней, и вширь — вследствие увеличения числа чиновников; и военная иерархия — в силу тех причин, которые побуждают современные европейские государства ко всеобщему вооружению. Далее, прелаты и принцы крови, монахи и дворяне, монастыри и замки были низвергнуты только к великой выгоде публицистов¹ и финансистов, художников и политиков, театров, банков, больших магазинов, больших казарм и других учреждений, сгруппированных в одной и той же столице. Здесь сталкиваются все знаменитости, а что такое различные роды известности и славы со всеми их степенями, как не иерархия блестящих должностей, занятых или вакантных, которыми только публика располагает, или думает, что располагает свободно?

¹ Токвиль (*Démocratie en Amérique*) мастерски доказывает, что «владычество газет должно возрастать по мере того, как возрастает равенство между людьми».

И эта аристократия положений, развивающих тщеславие, эстрада блестящих седалищ и тронов, не только не упрощается и не понижается, но напротив становится все более и более грандиозной в силу тех же демократических преобразований, благодаря которым границы между нациями и классами все более и более сглаживаются, и голосование, создающее репутации, становится все более и более всемирным, все более и более международным. По мере того, как увеличивается число зрителей в партере, готовых рукоплескать или свистать, возрастает и количество славы, достаемой на долю актеров, и расстояние между самым безвестным зрителем и самым прославленным актером увеличивается все более и более. Апофеоз Виктора Гюго, немыслимый тридцать лет тому назад, открыл существование высокой горы литературной славы, которая поднялась недавно, как некогда Пиринеи, над обширной плоской и гладкой равниной, и с целым рядом менее высоких вершин, окружающих ее подножие, будет разжигать честолюбие будущих поэтов. Все подобные вершины пробиваются незаметно сквозь мостовую больших городов, где они теснятся, как крыши домов. Чудовищное возрастание, гипертрофия больших городов, а главным образом столицы, привилегии которой умножаются и укореняются в то время, как последние следы прежних привилегий ревниво уничтожаются — вот какого рода неравенства создаются новым временем, которому они необходимы, чтобы питать и поддерживать широкий поток его промышленного производства и потребления, т. е. подражание в обширном масштабе. Течение подобного *Ганга* требует и соответственных *Гималаев*. Гималаи Франции — Париж. Париж владеет по-царски, по-азиатски над провинцией, как никогда не владел двор над городом. Ежедневно рассылает он по всей Франции, по телеграфу, по железным дорогам, свои готовые идеи, желания, разговоры, революции, одежду, мебель. Это властное, гипнотическое обаяние, практикуемое им в настоящее время над обширной территорией, так глубоко, так полно и так постоянно, что никого уже не удивляет. Это магнетизирование сделалось непрерывным. И это называется равенством и свободой. Пусть городской рабочий считает себя сторонником равенства и стремится к уничтожению буржуазии, превращаясь в того же буржуа — в глазах крестьянина он все же является представителем аристократии, возбуждающей удивление и зависть. Крестьянин относится к рабочему, как рабочий к патрону. Отсюда — переселение из деревень.

В настоящее время столица, большой город представляет, так сказать, сливки населения. Тогда как в нации численное отношение полов почти одинаково, в больших центрах число мужчин значительно превосходит число женщин; кроме того относительное количество взрос-

лых в них гораздо больше, чем в остальной стране; наконец и главное, города привлекают со всех концов страны самые деятельные головы, самые нервные организации, наиболее способные утилизировать современные изобретения. Таким образом, они создают современную аристократию, избранную корпорацию, не наследственную, а пополняемую свободно, что однако не мешает ей относиться к низшему и сельскому населению так же спесиво, как знать старого порядка относилась к разночинцам. Эта новая аристократия не менее эгоистична, не менее жадна, не менее разорительна, чем старая; и как старая, она скоро погибла бы от разъедающих ее пороков, от чахотки, от сифилиса — ее характерных болезней, — от язвы пауперизма и других причин, вызывающих в ней исключительную смертность, несмотря на исключительный выбор ее персонала, если бы, как и все аристократии, она не обновлялась постоянным приливом новых элементов.

Современные столицы ведут не только к подавлению и объединению всех слоев нации, находящихся под ними; они служат также к ассимиляции различных народов между собою; и в этом отношении также играют роль прежних дворов. В эпоху Плантагенетов английская и французская роскошь представляют, несмотря на редкость путешествий и сношений, большое сходство, объясняемое только влиянием английского и французского дворов, поддерживавших постоянные сношения друг с другом. Итак, дворы являлись как бы фокусами, которые постоянно обменивались лучами, подавая народам пример известного единства. Таковы же в настоящее время столицы, дочери дворов. В них сосредоточиваются все инициативы, ведущие к успеху, к ним обращаются взоры всех, и так как они находятся в постоянных сношениях друг с другом, то результатом их продолжительного господства не можете не явиться великое всеобщее единство. Прибавим, что в их взаимных отношениях также замечается распространение подражания сверху вниз. Всегда есть какая-нибудь столица, служащая образцом для внутреннего и внешнего подражания всем остальным, как некогда тот или другой двор служил образцом для других дворов. Это именно столица народа, играющего или недавно игравшего главную роль в политической жизни, как в прежние времена двор победоносного или привыкшего к победам короля, хотя бы в последнее время он потерпел несколько поражений.

В демократических государствах не только столицы, но и народное большинство пользуется обаянием, как замечает Токвиль: «По мере того, — говорит он, — как граждане делаются более равными и более похожими друг на друга, уменьшается склонность каждого слепо верить известному лицу или известному классу. Зато увеличивается склонность верить массе, и общественное мнение начинает все более

и более руководить миром». Когда масса, большинство, становится истинной политической силой, всеми признанным авторитетом, она начинает внушать к себе почтение, как прежде монарх или аристократия. Но есть и другая причина, которую указывает Токвиль: «В эпохи равенства люди не верят друг в друга вследствие своего сходства; но тоже сходство внушает им почти неограниченное доверие к суждению публики; так как им кажется невероятным, чтобы, при равенстве сведений у всех, истина не оказалась на стороне большинства». По-видимому это простая математическая логика: если люди представляют подобные единицы, то большая цифра этих единиц должна быть права. Но в сущности это иллюзия, основанная на постоянном забывании роли, которую во всем этом играет подражание. Мы далеко не были бы так расположены преклоняться перед идеей, одержавшей верх при голосовании, если бы подумали о том, что 999 голосов из тысячи представляют простое эхо. Самые серьезные историки нередко заблуждаются в этом отношении и готовы вместе с толпой приходить в экстаз перед единодушием тех или других народных решений, под сказанных народу его вождями, как перед чем-то удивительным. Не следует доверять единодушию: ничто не свидетельствует так наглядно о силе подражательного увлечения.

Всякий прогресс, не исключая прогресса равенства, совершался путем подражания, и притом подражания высшим классам. Прежде чем политическое и социальное равенство всех классов общества сделалось возможным и даже мыслимым, нужно было, чтоб оно осуществилось в малом размере в среде одного из них. И прежде всего оно является в верхних слоях. От Людовика XI до Людовика XVI различные слои аристократов, некогда, во времена крупных вассалов и чистого феодализма, разделенные такими непреодолимыми преградами, нивелируются с неизменным постоянством; и под влиянием подавляющего обаяния королевской власти, а также благодаря относительно более частому соприкосновению дворян различных рангов происходит слияние даже между военной и чиновничьей аристократией. И — удивительная вещь — в то время как эта нивелировка происходит вверху, различные фракции народа и буржуазии продолжают держаться особняком; их ранговое тщеславие даже возрастает вплоть до 1789 г. Прочтите, например у Токвиля, перечень различных рангов высшей, средней и низшей буржуазии, существовавших в эту эпоху в городе старого порядка. Несомненно, отвращение к слиянию у консулов и мелких торговцев было гораздо сильнее в XVIII в., чем в средние века. Итак, можно быть вполне уверенным в справедливости того кажущегося парадокса, что истинная подготовительная работа к современному равенству была исполнена в прошлом не буржуази-

ей, а аристократией. В этом отношении, равно как и с точки зрения распространения философских идей и развития крупной промышленности, вследствие пристрастия к заграничным модам, аристократия, сама того не сознавая, была матерью новых времен. Впрочем, эти причины цепляются одна за другую. Не будь дворов, нивелировавших аристократию, не было бы и распространения литературы и философии в XVII и XVIII вв., и подражание-мода, любовь к новшествам, замимствованным извне, от иностранных дворов, не одержала бы верха над подражанием предкам в господствующей касте. Стало быть начальным очагом всех этих очагов был король.

Итак, какова бы ни была организация общества — теократическая, аристократическая, демократическая — подражание всюду следует одинаковому закону: оно распространяется от высшего к низшему, и в этом распространении действует изнутри наружу. Нужно однако отметить одно существенное различие. Когда превосходства, задающие тон, передаются по наследству, как например в родовой аристократии и у кастового духовенства, или путем посвящения (нечто вроде фиктивной наследственности или усыновления), как в личной аристократии и у буддийского и христианского духовенства, они являются присущими данному лицу, с каких бы сторон его ни рассматривали. Индивид, которого считают высшим, копируется во всем, а сам он по-видимому — да и в действительности — не копирует никого из низших. Итак, отношение образца к копии является в этом случае почти односторонним. Но если эта аристократия, основанная на органической филиации, действительной или мнимой, замещается аристократией, создаваемой чисто социальными причинами, пополняемой путем свободного выбора — престиж приурочивается к той специальной особенности, которая обращает на себя внимание в выдающемся человеке. Ему подражают только в этом отношении, не обращая внимания на остальные. Нет более людей, которых копируют во всем; и тот, кому наиболее подражают, сам подражает в известных отношениях некоторым из своих подражателей. Таким образом подражание становится взаимным и специализируется, обобщаясь.

Недостаточно однако сказать, что подражание распространяется сверху вниз; нужно уяснить точнее идею, которая связывается в этом случае с превосходством. Можно ли сказать, что классы, играющие главную роль в политическом и экономическом отношении, всегда задают тон? Нет. Так например, в эпохи, когда власть, а вместе с нею и возможность легче наживать богатство, принадлежит представителям народа, избиратели нередко только *желают сделать* высшими, но вовсе не *считают* высшими тех, кого избирают и возвышают. Но лишь то превосходство, в которое верят, а не то, которое желают до-

ставить, служит образцом для подражания во всех отношениях. В самом деле, желать возвысить человека — значит признавать, что он стоит не высоко, и уже это одно часто лишает его обаяния. Вот почему такое множество избранных пользуются таким незначительным престижем в глазах избирателей. Но в этом случае истинным обаянием пользуются сословия, которые еще недавно обладали властью и богатством, если в данную минуту лишены их, или лица, достигшие почестей и богатства своими талантами, приспособленными к обстоятельствам. С другой стороны, если человек в течение долгого времени пользуется властью и богатством, то в конце концов неизбежно приобретает уважение, так как мало-помалу слагается убеждение, что он достоин своих преимуществ. Итак, во всяком случае несомненно, что с идеей социального превосходства связаны идеи власти и богатства.

Но они связаны с нею, как действие с причиной. Нужно рассмотреть эту последнюю; нужно узнать, какие качества, доставившие власть и богатство человеку или группе людей, делают их предметом удивления, зависти и подражания для окружающих. В первобытные времена такими качествами были телесная сила и ловкость, физическая храбрость; позднее — военное искусство, красноречие в собраниях; еще позднее — художественное воображение, промышленная изобретательность, научный гений. Вообще подражают только тому превосходству, которое могут понять¹, а понимают его в том случае, когда думают или видят, что оно способно доставить блага, которые кажутся ценными, потому что удовлетворяют существующим уже потребностям, источником которых, заметим в скобках, является органическая жизнь, но руслом и социальной формой — пример другого. Этими благами бывают то обширные имения, большие стада, многочисленные вассалы, собирающиеся за огромным столом; то ка-

¹ Замечено было, что все римские провинции на запад от Адриатики романизировались более или менее легко, заимствуя законы, язык и нравы Рима (Италия, Сицилия, Испания, Галлия, Германия и пр.), тогда как на востоке греческая цивилизация и языки сохранялись и даже распространялись после завоевания Греции. Это потому, что превосходство завоевателей было признано на западе кельтами, иберами, германцами, тогда как греческая национальность, несмотря на поражение, не хотела признать себя ниже Тибрских варваров и сохраняла горделивое сознание своего интеллектуального превосходства. По той же причине, впоследствии, галлоримляне не ассимилировались с германцами. Аналогичное явление мы замечаем всякий раз, когда низшие слои общества, достигнув власти, начинают подражать в манерах и нравах павшей аристократии, за которой по-прежнему признают скипетр внешнего изящества. Обаяние Рима, Константинополя только возросло после их падения.

Таким образом вся внешняя история Рима объясняется законом подражания, распространяющимся сверху вниз. Внутри она объясняется таким же образом. Римские плебеи возвысились только копируя нравы, а потом и атрибуты патрициев, равно как и их привилегии, начиная с законного брака.

7 Законы подражания

питалы и преданные избиратели; не нужно забывать также надежд, связанных с загробной жизнью, и благосклонности важных особ того света и пр.

Если мы попытаемся определить последовательность социальных превосходств в истории цивилизации, то убедимся, что она определяется сменой различных форм социального блага — столь многочисленных и изменчивых, — преследуемых большинством людей данной страны или данной эпохи. Но чем порождается и направляется эта последовательная смена? Рядом изобретений и открытий, которые представляются одно за другим человеческому уму, там сталкиваясь, там помогая друг другу, — изобретений, порядок появления которых, до известной степени указываемый социальной логикой, фатален и бесповоротен. Открытие удобств, связанных с жизнью в пещерах, и изобретение кремневых орудий, лука и стрел, костяных игл, огня, добываемого посредством трения, и пр. указало первобытным троплодитам их идеал счастья: удачная охота, одежды из звериных шкур, дичь (иногда человеческая!), пожираемая в глубине дымной пещеры. Позднее, приобретение некоторых естественно-исторических знаний, приручение домашних животных — капитальное изобретение, которому предстояло огромное развитие — изменили идеал, и мечты людей устремились к огромным стадам под надзором патриарха. Далее, приобретение элементарных астрономических знаний, искусство возделывать растения, т. е. земледелие, открытие металлов и изобретение архитектуры позволили мечтать об огромных имениях, населенных рабами и управляемых дворцом, который впоследствии послужил образцом для частных домов. Наконец возникновение наук, от зарождающейся физики греков и детской химии египтян до наших ученых трактатов, появление искусств и промышленности от гимна до драмы и от ручного жернова до паровой мельницы мало-помалу сделало возможным счастье наших миллионеров, обеспеченных банковыми билетами и государственными рентами. Мы говорили о богатстве, но те же соображения применяются и к последовательным формам власти в ее историческом развитии.

Раз это так, окончательный ответ на вышепоставленный вопрос формулируется сам собою: в любой стране и в любую эпоху те качества дают человеку перевес, которые делают его более способным понять уже появившиеся открытия и извлечь из них пользу. Иногда, даже довольно часто, не столько личные качества, сколько случайные и внешние причины позволяют индивиду с большей выгодой эксплуатировать господствующие изобретения или монополизировать их на некоторое время; вообще же, обе эти причины соединяются. Триба или город, хотя бы варварские и принадлежащие к низшей расе, в

которых случайно является цивилизаторская идея, лучший промышленный способ или более действительное оружие, надолго монополизируют их. Быть может благодаря подобной случайности, туранцы в течение всей отдаленной древности одни обладали искусством металлургии. Процветание финикиян объясняется отчасти существованием в их стране небольшого животного, доставлявшего пурпур; отсюда сильное развитие внешней морской торговли, которое очень кстати поощряло естественную склонность этого семитического народа к мореходству. Первый народ, приручивший слона или лошадь, не мог не извлечь из этого огромной выгоды на войне. Иногда быть сыном отца, обладавшего естественными качествами, требуемыми цивилизацией данного времени, представляет благоприятное условие, заменяющее эти качества: отсюда явилась идея наследственной аристократии¹. Наконец, если известное место в течение долгого времени привлекало к себе людей наиболее способных к достижению целей эпохи, то, как уже сказано выше, представление о превосходстве связывалось с самым пребыванием на этом месте, так как оно и на самом деле является одним из самых благоприятных условий для удачного пользования средствами, доставляемыми цивилизацией данной эпохи. В наше время, когда наука и промышленность представляют совокупность открытий и изобретений, которыми нужно воспользоваться, чтобы разбогатеть, выгодно жить в больших городах, где сосредотачиваются ученые, инженеры, капиталы; выгодно до такой степени, что женщине, попавшей в какой-нибудь провинциальный город, иногда достаточно быть парижанкой, чтобы начать задавать тон. В феодальную эпоху, когда военное искусство, служившее источником всего тогдашнего земельного богатства, было достоянием владельцев замков, обитатель замка, даже простой паж или слуга сеньора, считался гораздо выше горожанина, за исключением Италии, где города организовали сильные милиции, покорявшие соседние замки. Когда вокруг королей образовался двор, версальский придворный по той же причине совершенно затмевал парижского нотабля, так как королевская милость сделалась высшим благом, которое стремились приобрести.

Итак, везде и всегда, социальное превосходство заключается во внешних обстоятельствах или внутренних свойствах, позволяющих с успехом эксплуатировать сделанные изобретения и открытия.

¹ Прибавим, что идея аристократии явилась в эпоху, когда военные приемы и орудия были очень просты, а физические и нравственные качества, необходимые для пользования ими, без труда развивались соответственным воспитанием и легко передавались вместе с кровью — гораздо легче, чем утонченные свойства современных мозгов. Таким образом сын могущественного воина большей частью и сам справедливо мог считаться доблестным.

Оставим теперь в стороне первый из этих источников превосходства — внешние обстоятельства — и займемся только вторым. Это будут, во-первых, *телесные* качества, органические и индивидуальные, доставляющие перевес тому или другому человеку или группе людей; причем их превосходство является чисто социальным, так как заключается в их большей способности служить целям социальных идей. С самого начала цивилизации, когда по общему мнению царя физическая сила, победителем являлся не самый сильный дикарь, но самый ловкий, проворный, наиболее искусно владевший луком, пращей или дубиной или умевший оббивать кремни. В наши дни индивид может обладать огромной мускульной силой, но если он не обладает той гипертрофией мозга, которая когда-то являлась аномалией и причиной неуспеха, а теперь возведена в норму требованиями нашей цивилизации, — он потерпит поражение. В промежутки между этими двумя крайностями не найдется может быть ни одной особенности темперамента или расы, ни одной черты, даже болезненной и уродливой, которая не имела бы своей эпохи славы и расцвета. Великий завоеватель Рамзес, откопанный недавно, поразил нас своим животным, хотя царственным и повелительным, типом. Сколько из наших преступников были бы героями в иные времена! Скольким помешанным воздвигли бы статуи и алтари! Но в этом волнующемся многообразии, которое объясняется случайным *отчасти* характером изобретений и открытий, легко заметить в общем постепенный упадок способностей скорее мускульных, чем нервных, и соответственный прогресс способностей скорее нервных, чем мускульных. Поселянин мускулистее, горожанин нервнее; то же различие между варваром и цивилизованным человеком. Отчего это зависит? Оттого, что с одной стороны из изобретений и открытий, которые производятся то там, то здесь, в каждую данную минуту социальная логика не столько устраняет противоречивые, сколько накапливает согласимые; результатом этого является в конце концов возрастание сложности, требующее более развитых способностей и более совершенной организации мозга; с другой стороны накопление изобретений, относящихся к машинам, все более и более подчиняет человеку силы животных, силы физические и химические, позволяя ему все менее и менее прилагать к ним силу своих мускулов.

Итак, разнообразие человеческих рас или, в каждой расе, разнообразие индивидуальных организаций представляет нечто вроде клавиатуры, на которой свободно играет изобретательный гений под высшим управлением социальной логики. Отсюда — важное для историков заключение. Положит, что мы желаем знать причину процветания или упадка какого-нибудь народа. Ее нужно искать в той

или другой черте его организма, благодаря которой он был особенно способен употреблять с пользою знания своей эпохи, или в появлении какого-нибудь нового знания, из которого он по своей природе не мог извлечь такой пользы, как из прежних. Если даны элементы цивилизации, то, руководствуясь тем же принципом, можно с точностью описать расу — по крайней мере в психическом отношении — обладавшую этой цивилизацией. Таким именно образом, инстинктивно, могли восстановить психологию этрусков или первобытных вавилонян. В пастушескую эпоху народ, хотя бы и обладавший большой силой и превосходно приспособленный к охоте, но не годившийся для пастушеского ремесла вследствие своей подвижности и более блестящих дарований, неминуемо должен был погибнуть, как в наши дни неумеренный темперамент поэта или художника погибает в промышленном городе. Вообще с каждым новым приливом капитальных изобретений, преобразующих цивилизацию, выдвигается на сцену и новая раса, потому ли, что раса, уже господствующая, от природы лишена качеств, требуемых новыми идеями, или потому, что она утратила эти качества вследствие продолжительного приспособления к старым идеям. Всякая установившаяся цивилизация создает в конце концов свою расу: так например наша вырабатывает завтрашнего американца.

Заметим в заключение, что социальные вершины, классы или нации, которым наиболее подражают другие классы или нации, суть те, внутри которых наиболее развито взаимное подражание. Большие современные города отличаются интенсивностью внутреннего подражания, которая увеличивается пропорционально плотности их населения, разнообразию и частоте сношений их обитателей. Отсюда «эпидемический и заразительный», как справедливо замечает Бордь¹, характер не только их болезней, но и мод, некоторых пороков, всех заметных проявлений их жизни. Аристократические классы некогда обладали в замечательной степени аналогичным характером, а еще более — королевские дворы.

¹ См. Vie des Sociétés. P. 159.

ВНЕЛОГИЧЕСКИЕ ВЛИЯНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обычай и мода

Личность, общественное положение, место происхождения имеют большое значение при выборе примера для подражания, при предпочтении, оказываемом одному из тысячи других примеров одинаковой логической ценности; но рядом с этими данными играет немаловажную роль и *время* возникновения, давность или новизна примера. Этому последнему роду влияний мы и посвятим настоящую главу. Ясно, что это лишь новый случай того же закона подражания высшему. Начнем с установления того положения, что обаяние преданий, завещанных предками, повсюду преобладает над стремлением к новизне. Не составляет исключения в этом отношении даже наше современное общество, столь обильное всевозможными заимствованиями в сфере языка, идей, учреждений, литературы. Сравним, например, новые слова, заимствованные в последнее время французской речью из языков английского, немецкого, русского, с одной стороны, и с другой — весь старый французский словарь; или новейшие идеи эволюционизма и пессимизма со всем строем давно усвоенных традиционных воззрений; или новейшие законодательные реформы со всем французским кодексом, в основе своем современным римскому праву, и т. д. Таким образом, подражание новой моде составляет лишь незначительный ручеек подле великой реки преданий и обычаев, и это вполне естественно. Но как бы ни был относительно ничтожен этот поток новизны, он своими разливами оплодотворяет общественную почву и производит далеко не ничтожные опустошения, так что изучение этих периодических разливов, с известною неправильною ритмичностью чередующихся с пересыханиями и обмелениями истока, представляет значительный интерес.

Повсеместно мы видим постепенный переворот в умах народов. Привычка верить на слово патерам и старшим постепенно заменяется привычкою повторять слова современных новаторов. Это называется заменю слепой веры свободным исследованием. Собственно говоря, это просто замена положений, принимавшихся в силу авторитета, положениями, принимаемыми в силу убеждения. Но «в силу убеж-

дения» — означает «в силу кажущегося соответствия с идеями, уже раньше того воспринятыми умами, исповедующими данный догмат», попросту с идеями, выведенными из догмата. Разница, следовательно, никак не в свободе выбора между примерами. Если традиционные положения воспринимаются умом ребенка с большей быстротой и с большей силой (но не с большей свободой), и если они прививаются к его уму путем авторитета, а не путем убеждения, то означает это не что иное, как отсутствие в уме ребенка каких-либо иных положений, с которыми новым положениям приходилось бы становиться в противоречие или вступать в соглашение. Ум ребенка представляет *tabula rasa*, и для внедрения в него идей необходимо только, чтобы они так или иначе удовлетворяли возбужденной любознательности. В этом и вся разница. Ясно, что распространение идей путем авторитета должно было предшествовать распространению путем убеждения. Последний способ естественно исходит из первого.

Параллельно с этим переворотом в умах повсеместно происходит и переворот в *желаниях*. Пассивная покорность заветам, обычаям и влияниям предков хотя и не заменяется, но до известной степени нейтрализуется подчинением советам и внушениям современников. Следуя этим новым мотивам поведения, гражданин нашего времени ласкает себя мыслью, что совершает свободный выбор между делаемыми ему предложениями. В сущности же он выбирает то предложение, которое наиболее соответствует его потребностям и желаниям, ранее того сложившимся и порожденным всею совокупностью его нравов и обычаев, всем прошедшим его покорностям.

Бывают периоды и общества, в которых господствует исключительно обаяние древности. Так любят древность за ее древность, как, например, в древнем Риме, где Цицерон говорил *Nihil mihi antiquius est* (ничего для меня нет древнее) вместо *ничего нет для меня милее*. В Китае, а также в Сибири¹ из угождения человеку ему говорят, что он имеет *вид престарелый*, а собеседника из любезности называют *старшим братом*. Напротив того, в другие эпохи и в других обществах, управляемых страстью к новизне входит в поговорку: что ново, то и хорошо. Тем не менее, как уже упомянуто, элемент традиционный и обычный всегда сохраняет преобладание в общественной жизни, и это преобладание наглядно сказывается даже в тех способах, при помощи которых распространяются нововведения самые радикальные, даже революционные. В самом деле, сторонники новых идей распро-

¹ О Сибири см.: Достоевский Ф.М. Записки из мертвого дома (Maison des Morts). Также, обращаясь, к двадцатилетнему человеку, говорят: «Мое почтение дедушке такому-то» (Mes respects au vieillard un tel.).

страняют их, употребляя для того никак не научный язык, переполненный новыми терминами, а старый народный язык, которым так хорошо владели Лютер, Вольтер, Руссо. Необходимо опираться на старую почву, чтобы поколебать старые здания и чтобы воздвигнуть вместо того новые. Так для политических нововведений опираются на традиционную мораль.

Быть может, следовало бы вышеустановленное различие между подражанием своему и древнему и подражанием новому и чужому провести дальше и сделать еще одно подразделение. Ведь можно себе представить, что обаяние внушает явление древности, которое однако не есть явление ни родовое, ни отечественное: или и новое явление может вызвать подражание, не будучи чуждым семье и отечеству. Это возможно, конечно, но встречается слишком редко, чтобы стоило останавливаться на этих различиях. Эпохи, в которые господствует девиз «что ново, то и хорошо», являются существенно *экстерриториальными* (по крайней мере, по наружности, потому что вообще они гораздо более проникнуты верованиями предков, нежели сами думают). С другой стороны, эпохи, придерживающиеся правила «что старо, то и хорошо», живут жизнью внутренней, замкнутой. Когда прошедшее рода или отечества не кажется более достойным почитания, то тем менее сохраняет обаяние всякое иное прошедшее, и единственно современность кажется достойной уважения. И наоборот, в те эпохи, когда достаточно считать данное лицо родственником или соотечественником, чтобы признавать себя ему равным, одно лишь иностранное или чужое может внушать уважение, необходимое для подражания. Расстояние в пространстве влияет так же, как некогда влияло расстояние во времени. В эпохи, в которые преобладает обычай, люди более привержены своей стране, нежели своему времени; они гордятся преимущественно временем прошедшим. Когда же преобладает мода, люди более склонны гордиться своей эпохой, нежели своей страной.

Можно ли почитать указанную нами революцию естественно необходимой и всеобщей? Несомненно, потому что, независимо даже от всяких соприкосновений с иностранной цивилизацией, всякое данное племя, живущее на данной территории, постоянно размножается, а умножение населения необходимо ведет к развитию городской жизни, которая в свою очередь вызывает нервную возбуждаемость, порождающую наклонность к подражательности. Первобытные земледельческие народы подражают своим отцам и отсюда развивают привычку руководствоваться примерами прошлого; единственной эпохой их жизни, в которую они усваивают новые примеры, является детство, а в детстве, относительно более нервном, они находятся под руководством родителей. В городах, напротив того, нервная впечат-

лительность, так сказать пластичность, достаточно хорошо сохраняется и в среде взрослого населения, и оно продолжает подражать новым примерам, приходящим извне.

На это можно возразить указанием на пастушеские народы, как-то татары, арабы и пр., которые в настоящее время, как и в течение многих и многих веков, живут под властью обычая и предания. Но без всякого сомнения это состояние современной неподвижности является концом исторического цикла, ими уже пройденного, равновесием, установившимся после целого ряда этапов, в течение которых их полудивилизация формировалась под влиянием последовательных заимствований. И в самом деле, обратный переворот столь же необходим и неизбежен, как и выше указанный. Человек освобождается (и никогда вполне) из под ига обычая лишь для того, чтобы снова подпасть под него, другими словами, чтобы упрочить и утвердить завоевания, совершенные в эпоху временного освобождения. Если в нем сохраняется достаточно жизненности и таланта, то он снова затем сбрасывает это иго и делает новые завоевания, но снова отдыхает и так далее. Таковы исторические судьбы великих цивилизованных народов. И жизнь городская, равным образом, развивается не непрерывно, но периоды ее лихорадочного развития (как в современной Европе) сменяются относительным отливом, когда за ее счет развивается сельская жизнь. В такие периоды сельская жизнь развивается не только количественно (умножением сельского населения), но и качественно, ростом благосостояния, богатства, просвещения. Всякая зрелая цивилизация представляется существенно земледельческой, в том смысле, что уровень городской жизни остается неподвижным, тогда как сельская жизнь продолжает развиваться. Таковы — Китай, древний Египет, Перу времен Инков, феодальная Европа XIII в. Наша современная Европа, по всей вероятности и вопреки кажущемуся неправдоподобию такого предположения, склоняется к тому же пределу.

И это заключительное возвращение от духа моды к духу предания нимало не есть явление ретроградное. Чтобы понять это, полезно осветить вопрос аналогиями из мира живой природы. Заметим, прежде всего, что каждое из трех великих проявлений всемирной повторяемости: колебательное движение, воспроизведение (генезис) и подражание, является сначала как бы связанным и подчиненным предшествующей форме, из которой исходит, но от которой затем стремится освободиться, чтобы в конце концов снова ей подчиниться. Воспроизведение в мире низших организмов, растительных и животных, представляется рабом колебательного движения. Жизненность этих организмов, в сменяющиеся периоды ее оцепенения и ее пробуждения, рабски следует фазам света и солнечного тепла, более

или менее обильным вибрациями эфира, возбуждающими вибрацию молекул и в телах органических. Но по мере того, как жизнь поднимается на высшие ступени, она уже не так послушно уподобляется кубарю, подгоняемому ударами солнечных лучей и, хотя никогда не может обойтись без этого возбудительного стегания, но успевает постепенно преобразовать стегание насильственное в добровольное. Она достигает этого, пользуясь разными способами накапливать и сохранять продукты солнечных лучей, как в самом организме, так и вне его. Отныне возбуждение световых и тепловых колебаний, необходимое для деятельности организма, зависит уже не от времени года, но от желания. Наступает момент, когда жизнь, чуждая зависимости от сил физических, т. е. от великих течений эфирных и молекулярных волн и предметов, их заключающих, сама до известной степени ими располагает. Так, человек (который и на высших ступенях цивилизации остается таким же живым существом, не более того) делает в своих столицах из ночи — день, из зимы — лето, из севера — юг, зажигая свои лампы, свои газовые рожки, свои доменные печи, свои паровики и подчиняя одну за другою все роды энергии, выражающейся в колебаниях: теплоту, электричество, даже солнечный свет.

Мне кажется, что подобные же отношения соединяют воспроизведение с подражанием. В начале последняя форма привязана к первой, как дочь к матери. Не видим ли мы в самом деле, что во всех наиболее примитивных обществах право на повиновение и на доверие, право служить примером даруется способностью родить. Подражают отцу, потому что он родитель. Изобретение может быть усвоено лишь в случае одобрения его отцом семейства, и распространение его ограничивается пределами его семьи. Чтобы изобретение распространялось, необходимо, чтобы умножались домочадцы. В силу того же принципа или того же сочетания идей, в эпоху гораздо более позднюю установилась наследственность власти первосвященника и светского владетеля, и начало биологическое направляло развитие начала социологического. Тогда каждая раса развивала свой язык, свою религию, свое законодательство, свою собственную национальность. Заметим мимоходом, что то неподобающее значение, которое в наше время желали придать расовому началу, является конечно анахронизмом, хотя и легко объясняется успехами естествознания, которому такая точка зрения более родственна. Но с самого начала открытия и изобретения чувствуют себя очень стесненными этими пределами семьи, племени, даже расы и стремятся распространяться путем не столь медленным, как рождение детей. От времени до времени какое-нибудь открытие или изобретение прорывает эти границы и находит подражание вне их, прокладывая дорогу тем и другим. Эта склонность подражания

освободиться от воспроизведения проявляется сначала под маской последнего, как, например, усыновление, побратимство, натурализация чужеземцев. Смелее развивается это течение через принятие чужеземцев в недра национальной религии, далее через появление так называемых прозелитических религий, через замену наследственной духовной и светской власти избирательной, через приобщение низших классов к правам высших (напр. плебеев, получивших право быть консулами и преторами), через все более развивающуюся склонность изучать иностранные языки, а равно господствующее наречие собственной страны в ущерб местным диалектам, наконец через появление склонности перенимать из заграницы обычаи, искусства, учреждения — все, что возбуждает внимание.

Наконец, в свою очередь начало общественное эмансипируется и даже подчиняет себе начало жизненное. В начале немногочисленные изобретения и вообще зачатки культуры имели шансы распространяться лишь в том случае, если соответствовали расе, в среде которой появлялись, и лишь в пределах распространения расы. Позже мы видим совершенно обратное. Цивилизация покоряет мир, и данная раса может существовать и распространяться лишь в случае усвоения и по мере усвоения ею этой могучей армии изобретений и открытий, организованных в науку и промышленность. Вместе с этим возникает в нравах населения практическое мальтузианство, на которое можно смотреть, как на один из видов отрицательного подчинения жизненного начала воспроизведения (рождения) общественному началу подражания и которое заключается в стремлении ограничить силу плодovitости пределами производства, т. е. пределами производительности труда, по преимуществу фактора подражательности¹. Положительная форма такого подчинения выражается не только в подборе рас, лучше усваивающих цивилизацию, но и в медленном возникновении новых рас, порождаемых сознательным и бессознательным скрещиванием и постепенно возникающими навыками. Можно даже предвидеть день, когда цивилизованное человечество, создав столько разновидностей животных и растений, соответствующих его потребностям и вкусам, дерзнет поставить себе новую проблему, проблему быть собственным творцом и преобразовать свою собственную физическую природу в видах согласования с требованиями ее цивилизации.

Но даже не заглядывая в далекое будущее, когда настанет возможность осуществить этот венец человеческого искусства, и в на-

¹ Доведенное до последнего выражения, это отрицательное подчинение воспроизведения подражанию выражается в монашеских орденах, где послушание (лучше сказать: послушание и вера) является вместе с тем и благочестием.

стоящее время наша высшая и искусственная раса, предназначенная вытеснить и заместить все остальные, не состоит ли из нескольких национальных типов, которые выработались в течение многих веков с возникновения цивилизации и из которых каждый представляет определенную разновидность, возникшую из продолжительного воздействия цивилизации и составляющую как бы простое отражение этой цивилизации? В течение двух последних веков мы видим возникновение в Соединенных Штатах типа англо-американского, этого оригинального продукта, из которого наша европейская цивилизация делает замечательное орудие распространения и развития. То же самое было и в прошедшем, когда таким же образом выработались разные ответвления рас арийских и семитических, типы англичан, испанцев, французов, римлян, греков, финикийцев, персов, индусов, египтян и другие живущие доселе или вымершие продукты приручения человека цивилизацией. Я опускаю однако тип китайский, хотя в нем быть может полнее всего выразилось приспособление данной расы к данной цивилизации, который обе стали неразделимы, но здесь цивилизация является исключительным достоянием расы, как и раса исключительным достоянием цивилизации, если судить о ней по тому патриархальному характеру, который она сохранила несмотря на широкое распространение. Эта полная гармония обоих элементов, без явного преобладания того или иного, является не единственной особенностью этой единственной империи. Она сумела повсюду сделать многое из немногочисленного: национальное начало здесь есть лишь распространенное семейное начало, и не то же ли видим мы и во всех других сторонах этой цивилизации, которая осталась зачаточной на относительно высокой ступени развития; она пользуется доселе односложным (моносиλλαбическим) языком при относительно богатстве и обработанности речи; имеет правительство патриархальное и вместе с тем имперское (государственное); создала религию, где доселе самый первобытный анимизм и поклонение предкам уживается с чистым спиритуализмом; развила искусство, столь же детское, сколько и утонченное; земледелие, столь же элементарное, сколько совершенное; промышленность, столь же отсталую, сколько цветущую. Одним словом, Китай нашел средство остановиться на первой из указанных нами трех ступеней развития, и его пример доказывает, что народы вовсе не обязаны проходить все ступени, но их последовательность тем не менее неизменна.

Что же происходит однако после того, как известная оригинальная форма цивилизации, возникнув первоначально в среде данного племени, распространяясь *путем обычая* в течение веков в этой замкнутой среде, затем вырвавшись из этих тесных пределов и продол-

жая распространяться среди родственных или чуждых племен *путем моды*, в конце концов подчиняет себе все эти разнородные элементы и сливает их в новую, приспособленную к ней человеческую разновидность, в новую нацию? Развив и определив этот физический тип, сама цивилизация находит в нем для себя большую определенность и вернейшее упрочение. Она сотворила его как бы для того, чтобы в нем обрести себе незыблемое выражение. Она более не стремится наружу, помышляет лишь о потомстве и забывает обо всем иностранном, если только суровые испытания, приходящие извне, не вынуждают ее считаться с этим внешним миром. Все в ней облекается тогда в национальный костюм, и надо помнить, что всякая цивилизация в конце концов склоняется к этому состоянию самососредоточенности и успокоения. И наша собственная европейская цивилизация, хотя и распространяется среди всевозможных рас и народов, уже обнаруживает ясные признаки и явную склонность избрать или создать такую единственную, соответствующую ей расу, предназначенную вытеснить остальные и подчинить мир. Какой из рас предстоит быть этой избранной и привилегированной расой? Будет ли это германская или ново-латинская? И какая выпадет роль на долю французской крови при ее окончательном образовании? Вопросы конечно очень тревожные для патристического сердца, но «будущее никому недоступно», сказал поэт. Чтобы там ни было, подражание, следуя сперва обычаю, а затем моде, в заключение возвращается к обычаю, но в форме более развитой и совершенно обратной первоначальному обычаю. Первобытный обычай подчиняется воспроизведению; конечный обычай подчиняет его себе. Первый является формой эксплуатации жизни общественной — жизнью органической; второй, наоборот, представляется эксплуатацией органической жизни — общественной.

Такова общая формула всего развития всякой цивилизации, успевшей свершить до конца свое призвание, не прерванное внешним насилием. Эта формула еще ярче выступает в применении к частным сторонам общественного развития, этим второстепенным волнам, которые своим слиянием дают большую волну исторического движения, покрывая вместе с тем рябью ее поверхность. Мы разумеем развитие языка, религии, правительства, права, промышленности, искусства и морали, о которых и поведем речь в ближайших параграфах этой главы. Если различие между эпохами обычая и эпохами моды выступает в истории не очень ясно и не было замечено историками, то происходит это главным образом от того, что эпидемии подражания иностранному и повальные нововведения редко охватывают все или даже большинство сторон человеческой деятельности. Сегодня они направляются на религию, завтра на политику, литературу или язык и

т. д. Встречаются народы, революционные в политике и консервативные, строго традиционные в области религии; или склонные к нововведениям политическим и в тоже время до пуризма классики и консерваторы в литературе. И в этих различных случаях периоды таких кризисов имеют далеко не одинаковую продолжительность. Когда, в виде исключения, несколько таких кризисов совпадают, как, например, в Греции в VI–V вв. до Р. Х. или в новой Европе в XVI–XVIII вв., или в Японии¹ в наше время, тогда становится невозможным не признать явно революционного характера эпохи и не констатировать яркого контраста с эпохами предшествующими и последующими. Но такие совпадения бывают редко. Сделав эту необходимую оговорку, обратимся к анализу нашего разделения на три фазиса в его приложении к разным областям общественной жизни и взглянем на факты, которые им объясняются.

I

Язык

Различные семейства и роды в начале говорят каждый на своем особом языке², пока они не начинают сливаться в племена. Тогда об-

¹ Лихорадка подражательности, охватившая теперь Японию, представляется исключительной, но не такой чрезмерной, как можно бы думать. Я надеюсь в этой главе убедить читателя, что подобные лихорадки посещали племена и народы со времен самых отдаленных, и что эта гипотеза доставит ключ к объяснению множества темных фактов.

² Я вполне согласен с *моногонистами* в лингвистике в том смысле, что язык не появился *единовременно* во многих местах жительства рода человеческого. Конечно, как ни естественно *появляется* потребность сообщать свои мысли себе подобным, этого одного недостаточно, чтобы повсюду в одно и тоже время было изобретено слово. Прибавим еще, что сама эта потребность развита словом, ее удовлетворяющим, и не существовала раньше изобретения слова. Весьма вероятно, что, прочувствованная с особою силою каким-либо гениальным дикарем, эта потребность породила в какой-либо *одной* семье первые лингвистические проявления. Из такой семьи, как из центра, это плодотворное изобретение должно было быстро распространиться, а преимущества, доставляемые речью, очень скоро даровали торжество говорящим племенам над немymi, которые и должны были исчезнуть. Отныне способность говорить стала отличительною чертой человека. С другой стороны — и это главное, на что могут опереться Сэс и другие известные противники моногонизма — предметом подражания послужили не столько сами лингвистические изобретения, эти первые грубые выражения, сколько новое направление творческого духа. Все, что было талантливое в этих первобытных семьях, не столько повторяло, сколько изобретало новые выражения, в чем и воплощалась зародившаяся творческая фантазия человека. Поэтому вполне справедливо говорит Сэс: «Совершенно ясно, что на известной ступени общественной жизни стремление выражаться членораздельной речью должно было стать неодолимым. Человек был в восхищении, как современный ребенок или дикарь, когда открывает в себе новую силу или способность. Ребенок никогда не устает повторять вновь выученные слова также, как дикарь и школьник — изобретать новые слова». Отсюда бесконечное число и разнообразие языков и наречий; и не в начале, а в конце развития следует искать того филологического единства, о котором мечтают моногонисты. «Новейшие расы являются

наруживается выгода говорить на одном наречии и по истечении более или менее продолжительного срока одно из наречий (обыкновенно наречие господствующего племени) вытесняет остальные. Индивиды подчиненных колен, прежде не знавшие и не желавшие знать иного наречия, кроме унаследованного от предков, усваивают по моде и по необходимости наречие иноплеменных властителей. А когда слияние рас становится окончательно совершившимся фактом, язык племени этой новой обширной семьи укореняется (после распространения). Этот язык, прежде бывший чужим большинству ныне говорящих на нем, становится для них родным, исключительно дорогим, а все остальные — презираемыми и неприятными. И это еще не все. Полезно теперь же напомнить, что первобытная патриархальная семья, имеющая уже не совсем естественный, а частью искусственный состав (кроме родственников — рабы и приемыши), является не единственной первобытной общественной группой. Надо рядом с ней поставить, как весьма важный элемент будущего развития, собрание всяких изгнанников и беглецов, покинувших свои семьи и вынужденных организоваться в орды для самозащиты и для нападения. Число этих изгнанников должно быть значительно ввиду сурового деспотизма первобытной патриархальной семьи. Если подражание есть истинное начало общественной жизни, то эти физиологически разнородные элементы будут стремиться, начиная с самых отдаленных времен, к общественному слиянию. С точки зрения лингвистической, это слияние повлечет к образованию составного говора в роде тех гибридных наречий, что и ныне возникают в некоторых больших морских портах. Таким образом, не только в эпохи упадка, но и в начале развития, мы видим своего рода лингвистически синкретизм (механически составленный язык) так же, как и синкретизм религиозный.

Однако продолжим изложение. Затем, наступает время, когда племена в свою очередь стремятся вступить в союз и слиться, и когда те же фазисы повторяются в более обширных размерах. От племенных наречий, уже указанным путем, переходят к единому наречию, наречию главной общины, которое и становится наречием всей области и равным образом, из чуждого большинству населения, превращается в

избранным осадком бесчисленного количества исчезнувших племен. То же должно сказать и о языке... Здесь и там некоторые наречия были упрочены и спасены, благодаря счастливому подбору; здесь и там открывают остатки других; но большая часть погибла гораздо бесследнее древних животных... В Колхиде, по Плинию, было более трехсот наречий. Сагар замечает (1631 г.), что среди гурунов Сев. Америки трудно найти одно и тоже наречие не только в двух соседних деревнях, но в двух соседних семьях одной деревни». И это несколько не удивительно, если не забывать о постоянной вражде, разделяющей семьи первобытного человечества. Вот еще разительный пример: на о-ве Тасмания население в пятьдесят человек говорило на четырех языках.

родное и дорогое всему населению. Еще позже — снова то же самое в размерах, еще более обширных: наречия общин и провинций, соединяющихся в государства, исчезают и уступают место одному, предпочтенному по той или иной причине¹, и скоро в свою очередь становящемуся языком родным, обычным, традиционным и дорогим, языком национальным. Мы находимся на этой стадии. Но не чувствуется ли повсеместно в нашей Европе, где так ярко обнаруживается стремление к единению и конфедерации народов, не чувствуется ли приближение нового периода, идущего на смену современным? Мания заимствования иностранных слов, распространенность обучения иностранным языкам, все указывает на это приближение. Повсюду процветает неологизм, как в другие времена архаизм. И язык, делающий гигантские успехи в своем распространении (я говорю не о волапюке, а об английском языке), стремится стать всемирным. Наступит день, когда этот язык, или иной, всемирно родной и тем более прочный, чем более обработанный, столь же бессмертный, сколько повсеместный, объединит в одну общественную семью весь род человеческий.

И внутри каждой нации, большей или меньшей, мы видим тоже самое. Токвиль справедливо заметил, что в обществах аристократических, где все, как мы знаем, регулируется обычаем и наследственностью, каждое сословие обладает не только своими нравами и привычками, но и своим диалектом, выделяющимся из общего языка. «Оно одобряет преимущественно известные выражения, переходящие из поколения в поколение... И тогда в пределах одного и того же языка вы встречаете язык бедных и язык богатых, язык мужика и язык благородного, язык ученый в язык вульгарный», язык священный (прибавим мы от себя) и язык профанов, язык возвышенный и обыкновенный. И наоборот, «когда люди не придерживаются более одного определенного места, непрерывно встречаются и общаются», т. е. когда подражание-мода проявляется заметным образом, «тогда все слова и выражения языка смешиваются и диалекты исчезают. Соединенные Штаты не знают диалектов».

Язык может распространиться вследствие моды двумя способами. Во-первых, аристократия соседних наций может принять его добровольно вследствие его признанного литературного превосходства или победы, а затем, когда она первая откажется от своей варварской речи, ее примеру последуют и низшие сословия под влиянием утилитарных

¹ И с какой быстротой иногда! Вот один из тысячи примеров: «Не прошло, говорит Фридендер, и двадцати лет после окончательного подчинения Паннонии, когда Веллей Патеркул писал свою историю, а знание латинского языка и даже письма распространилось в массе этой некультурной и варварской страны, занимавшей нынешнюю Венгрию и восточную Австрию».

соображений или тщеславия. Во-вторых, он может оказать очень заметное влияние на нации, которые не желают расставаться с родным языком, сохраняют его, но в то же время воспринимают литературные формы чуждого языка, его обороты, его периоды, его изящество, его просодию. Этот род внешнего подражания, известный под именем литературной культуры языков, часто встречается в истории и нередко совпадает с первым. Так, в Риме, в эпоху Сципионов, молодые патриции не только учились греческому языку, но и, говоря по-латыни, эллинизировали свой слог. Точно также в XVI столетии во Франции аристократия изучала испанский или итальянский языки и придавала французской речи испанские или итальянские обороты. По всей вероятности и в более древние времена персидский язык таким же образом переделывал на свой лад соседние языки, арабский — на свой и т. д.

Но в той или другой форме лингвистическая мода кончается обычаем. Чуждый язык, занявший место родного языка, в свою очередь становится родным; чуждая структура, внесенная в национальную речь, становится национальной. Менее чем в столетие греческие периоды, метры, обороты, заимствованные латинским языком, сроднились с его духом, превратились в национальное достояние.

Во всем предыдущем я объяснял подражанием внешнему или современному многие преобразования, зависящие в значительной степени от подражания высшему. В действительности не легко различить эти два рода заимствований. Впрочем, в известные эпохи существует, по-видимому, только подражание первого рода, как, например, в смутную, темную эпоху средних веков, когда так быстро и непонятно зародились романские языки. Лингвисты слишком поспешно объяснили это чудесное с виду явление гипотезой самопроизвольного зарождения, на манер старых натуралистов. Признаюсь, я не могу удовлетвориться их объяснением и думаю, что это якобы чудо останется загадочным, если не прибегнуть к другой идее, а именно, что ок. IX в. н. э. дух изобретения обратился к лингвистике быть может потому, что обстоятельства преграждали ему всякий другой путь; таким образом возникла мода, существовавшая очень долго и рассеявшая во все концы латинской Европы и даже за ее пределы семена, появившиеся в той или другой местности. Если бы, как обыкновенно утверждают, романские наречия возникли на месте самопроизвольного разложения латинского языка вследствие прекращения всяких сношений между племенами распадавшейся Империи, то было бы непонятно, во-первых, почему латинский язык испортился повсюду в одно время, во-вторых, почему нигде ни в одном закоулке не сохранилась древняя латынь с своими спряжениями, склонениями и синтаксисом. Такая одновременная, повсеместная порча языка —

вещи, как известно, очень живучей и стойкой — в эпоху всеобщей разобщенности, вполне способна привести в изумление. Далее, каким образом объяснить однообразие структуры всех диалектов и языков, возникших на развалинах латинского? Между языками *ос*, *oil*, итальянским, испанским, португальским, валлонским и их многочисленными местными разновидностями существуют «внутренние и глубокие аналогии», которым справедливо удивляется Литтре, объясняя их — впрочем, ошибочно — действием общей необходимости. Неужели могло быть необходимым и неизбежным, чтобы повсюду, на всех пунктах разом, местоимение *ille* переродилось в член; чтобы повсюду прошедшее несовершенное создалось путем соединения глагола *habere* с причастием прошедшего времени: *j'ai aimé, ai amat, bo amato, be amado*; чтобы повсюду слово *mens* было выбрано в качестве нового суффикса для нового наречия, *chère-ment, cara-men, cara-mente*..? Очевидно, каждая из этих новых идей, зародилась в каком-нибудь одном пункте и оттуда распространилась повсеместно. Но быстрота и обширность¹ этого распространения останется непонятной, если не принять существования потока моды, относившейся специально к языку. Останется непонятной — именно в виду территориального раздробления, прекращения прежних сношений, в котором ошибочно думали найти объяснение занимающего нас явления. Напротив, этот пример как нельзя лучше показывает интенсивность и реальность специальных и перемещающихся потоков, принимаемых мною в качестве необходимой гипотезы. Таким же точно образом в XVI в., несмотря на многочисленные и трудно переходимые границы, учение Лютера распространяется с неслыханной быстротой, вследствие подобного же, на этот раз религиозного, поветрия. Оно охватило всю Европу, приобретая, по мере уменьшения силы поветрия, специальную физиономию в каждой провинции, в каждой области и напоминая этим разнообразие романских диалектов в XI в., после того как каждая провинция изолировалась в лингвистическом отношении. Не говорите же, что в IX и X в. латынь разложилась сама собой. Она так же не самопроизвольно разложилась, как католицизм в эпоху лютеровской проповеди. В обоих этих случаях новые неожиданные микробы вызвали разложение, принятое за причину их появления. На самом же деле оно произошло после, а не прежде грамматических

¹ По-видимому, оно проникло и за пределы империи. Подтверждением этому служит тот факт, что в ту же эпоху германский и славянский языки подверглись изменениям, напоминающим изменения латинского. «По словам Гримма и Боппа, — замечает Курно, — употребление вспомогательного глагола в спряжении прошедшего совершенного начинается в германском языке только около VIII или IX века». Извольте объяснить этот факт чем-нибудь, кроме подражания.

и теологических нововведений, преобразовавших язык и религию, и требовавших для своего распространения до некоторой степени эпидемического стремления к иноземным новшествам.

В обыкновенное время это стремление к новшествам заменяется у каждого народа замкнутостью в своих обычаях. Сравните крайнюю медленность распространения языка, даже языка победителей в подобных случаях с массовым лингвистическим обращением романских племен! Сравните также усилия, которые приходится делать в обыкновенное время, чтобы отвратить немногих лиц от родной религии, с поразительными успехами христианской пропаганды в римском и греческом мире, в Германии и Ирландии в первые века нашей эры, или с блестящей победой Лютера в эпоху реформации.

Нельзя сказать, чтобы уважение к высшему играло существенную роль в этих великих переворотах. Романская революция в языке, как христианская в религии, происходила и распространялась среди низших классов и побежденных наций. Торжество романской речи, по крайней мере в эпоху ее зарождения, над латинской не объясняется внутренним превосходством первой, хотя логические законы подражания проявляются и здесь. Без сомнения, раз зародыш романской речи заменил латинскую, его дальнейший рост и достижение зрелости происходило, как выше сказано, путем логической подстановки и аккумуляции. Но предпочтение, оказанное этому языку в его зачаточном состоянии, было отнюдь не рациональным, и если в бесчисленных *логических поединках* между латинскими и романскими формами последние всегда брали верх, то именно благодаря моде. Пытались впрочем оправдывать совершившийся факт, указывая на то, что член, условное наклонение отсутствуют в латинском языке и что романская речь пополнила этот пробел... Выходит, стало быть, что удивительное орудие, служившее великим римским писателям, оказалось непригодным для варваров! Притом упомянутые нововведения нисколько не противоречат гению латинского языка и могли бы обогатить его, если бы тут дело шло только об усовершенствованиях. На деле же он был уничтожен ими, потому что дух, благодаря которому они возникли, вводил и такие замещения, в которых я отказываюсь видеть прогресс, например, предлоги в склонении. Не следует думать, что *флексии* в склонениях требовали слишком *тонкой восприимчивости*, потерявшейся в ту эпоху огрубения умов. Грубый ум легче всего усваивает лингвистические тонкости. Филологическая изобретательность этих племен отнюдь не была притуплена, напротив, изощрена до такой степени, что они придумывали бесполезные изменения в языке, как мне кажется, просто из любви к искусству, и потому, что человеческое воображение должно же обратиться к какому-нибудь предмету. И каким богатым вообра-

жением обладали эти варвары! Литре, который обвиняет их в утрате латинского языка вследствие грубости, опровергает самого себя в следующей фразе: «Всякий, кто занимался изучением языков, согласится, что *при зарождении нашего языка* развилась масса грамматических тонкостей и оттенков, что они утрачены современным французским языком, и что следовательно мнение о первоначальном грамматическом варварстве совершенно ложно».

Всякий лингвист подпишется под этим утверждением, которое применяется и к арийским языкам. Предшествовавшие рассуждения могут, я полагаю, бросить некоторый свет на социальные условия доисторического образования этих языков, на страсть к изобретениям и стремление к подражанию, породившие их. Потребность лингвистической революции, без всяких оснований, в силу каприза, представляем как одну из первых эпидемий моды, свирепствующих среди юношества, как это можно наблюдать в школах. Она же заражает и нации в их юношеском возрасте.

Результаты, получаемые в области языка вследствие попеременно-го перехода от обычая к моде и от моды к обычаю, значительны и очевидны. Подражание иностранному, соединяясь с подражанием высшему, всегда ведет к значительному прогрессу, потому что в результате является постепенное уменьшение общего числа существующих языков. Но даже в тех случаях, когда действует одна мода, она работает в том же направлении: в самом деле, мы не можем обвинять ее в лингвистическом раздроблении феодальной Европы, сравнительно с Римской империей. В этом виноват обычай, неизбежно возрождавшийся вслед за модой; и весьма вероятно, что если бы она не разносила повсюду зарождающегося романского языка, латынь, предоставленная самой себе в каждом отдельном кантоне, развивалась бы без всякой революции в самых разнообразных направлениях и в результате оказалось бы еще более плачевное лингвистическое раздробление.

А так как язык есть самое могущественное и самое необходимое средство общения между людьми, то можно сказать без преувеличения, что все социальные изменения в смысле ассимиляции местностей и сословий, совершившиеся на данной территории после замены колесных экипажей локомотивом — ничто в сравнении с такого же рода преобразованиями, совершившимися вследствие победы крупного наречия над мелкими жаргонами, или языка над наречиями. Лингвистическое сходство есть условие *sine qua non* всех остальных социальных сходств и, следовательно, всех великих и славных форм человеческой деятельности, которые предполагают существование этих сходств, служащих канвою для их работы. В частности, только переходный период, когда язык распространяется вследствие моды,

делает возможным появление в данной стране так называемой (потому что все относительно) блестящей литературы. Максимум достоинства, или, что одно и то же, славы, достигаемой литературными произведениями, ограничен числом тех, кто может их понять; следовательно, для достижения славы или достоинства, далеко превосходящих то, что было раньше, требуется распространение языка далеко за пределы своей прежней области, не говоря уже о том, что эта более блестящая перспектива действует возбуждающим образом на гений. Но этого во всяком случае недостаточно. Народ, язык которого объединится, но будет преобразовываться постоянно, из поколения в поколение, путем грамматических фантазий, распространяющихся по капризу моды, не подчиняясь определенному порядку и правилам, может создавать только эфемерные произведения, прославляемые сегодня и забываемые завтра; он не выдвинет из своей среды великих, вечных имен, слава которых растет с веками, потому что с каждым новым поколением увеличивается число их читателей. В таких случаях могут, пожалуй, явиться блестящие литературы, но не будет литературы классической. Классик — древний литературный новатор, служащий образцом как для современников, так и для потомков, потому что язык, на котором он писал, не изменился. При жизни он был обязан славой недавнему распространению своего языка; по смерти — обязан своим несокрушимым авторитетом утверждению языка в силу обычая.

Кризисы моды, следуя один за другим, при прочих равных условиях, стремятся дать перевес лингвистическим нововведениям, в силу которых язык развивается в известном, трудно определимом направлении, которое характеризуется в английском языке упрощением грамматики и увеличением словаря, утилитарным прогрессом в отношении ясности и правильности, не без ущерба для поэтических достоинств¹. Заметим эти признаки, которые вскоре встретятся нам под другими названиями.

II

Религия

Часто делили религии на два больших класса: прозелитические и непрозелитические. Но все они, даже самые открытые, в начале ревниво замыкались для иностранцев, если по крайней мере иметь в

¹ Даже при замене латинского языка романским это стремление обнаруживается, несмотря на грамматические тонкости зарождающегося романского языка, в аналитическом характере и упрощенной конструкции последнего.

виду их истинный источник. Правда, буддизм с первых дней своего появления обращается ко всем без разбора расам, но он — только ветвь браманизма, который не признает, по крайней мере в принципе, иного способа распространения, кроме передачи по наследству¹. Что касается христианства, то до времен св. Павла оно проповедуется исключительно среди евреев, хотя оно развилось из мозаизма, который всегда отвергал язычников. Христианство — только *еврейская ересь*, как выразился недавно один из сынов Израиля. Исламизм долгое время оставался исключительно арабской религией, прежде чем покорил столько наций, и вооруженное первосвященство передавалось в нем наследственно потомкам Магомета. В Греции каждое племя имело своих богов до появления Аполлона, культ которого быстро распространился и впервые установил федеративную связь между эллинскими государствами. Замкнутые религии всегда предшествуют открытым, по той же причине, в силу которой касты предшествуют сословиям, монополии — свободной торговле, привилегии — одинаковому для всех закону. Это пресловутое различие прозелитических и непрозелитических религий сводится в сущности к тому, что потребность распространения, *общая тем и другим*, удовлетворяется в одном случае передачей полезных правил благочестия потомству одной и той же расы, все более и более многочисленному, чем и объясняется стремление к многочисленному потомству у древних арийцев и евреев; в другом же — более удобной и быстрой передачей догматов и обрядов современникам без различия расы и родства. В первом случае агентом распространения является обычай, во втором — то, что я называю модой. Переход от первого ко второй представляет замечательный прогресс подражания, сделавшегося из пешего крылатым. Но самые прозелитические, самые гостеприимные религии в конце концов находят свои естественные границы, и несмотря на тщетные усилия прорваться за них, несмотря на случайные успехи в этом отношении (например, современные успехи магометанства в центральной Африке), приходят наконец к сознанию, что такая-то национальность или группа родственных национальностей составляет их единственное владение, за пределами которого они бессильны. Они замыкаются в самих себе, укореняются, даже обыкновенно раздробляются среди национальностей, и затем их главная забота клонится не к тому, чтобы распространяться среди отдален-

¹ Правда, как это наблюдал в наше время Ляйалль, древние индусские культы при помощи многочисленных фикций ассимилируют путем обращения много неарийских племен, водворившихся в Индии. Но, как говорят, эти племена арианизировались. Те же самые фикции, посредством которых обходят древний устав, свидетельствуют о строгости этого последнего в прежние времена.

ных народов путем обращения и завоевания, а к тому, чтобы передаваться и продолжаться путем воспитания детей среди будущих поколений. Все великие религии нашего времени находятся в этой фазе, не лишенной плодотворных результатов, за которыми следует упадок.

Но три периода, указанные мной для каждой из них, были уже пережиты низшими религиями, послужившими для них основой, — и так далее. На низшей ступени религиозной лестницы мы всюду находим культ предков или какого-нибудь фетиша — чисто семейную религию¹. Очевидно, в самые древние эпохи прозелитизм уже существовал, потому что общий культ, культ бога общины, получает перевес над этими домашними культами, различными в каждой семье, и постепенно вытесняет их. Но также несомненно, что это поклонение чуждому богу вне его родного очага повсюду останавливалось и укоренялось в известных пределах, потому что из чуждого он становился патриотическим и потому, что повсюду эти общинные боги являются нам в истории прошлого столь же исключительными, столь же враждебными друг другу, как в предыдущую эпоху семейные боги. Итак, исторически ритм религии есть последовательный переход от прозелитизма к исключительности и *vice versa*, до бесконечности. Нельзя быть уверенным, что исключительность представляет первое звено этой цепи. Можно доказывать и обратное. В Индии, где почти ежедневно можно видеть зарождение новой религии низшего разбора в недрах господствующей веры, исходным пунктом является, по словам Ляйалля, проповедь какого-нибудь экзальтированного реформатора, аскета, бездетного холостяка, порвавшего все связи со своей семьей и кастой. Он повсюду набирает последователей; а затем, вследствие совместной жизни и браков в пределах секты, эта маленькая церковь, в свою очередь, превращается в касту и, в конце концов, локализируется в виде семьи. Но видеть в этом современном факте полное воспроизведение того, что происходило при возникновении религий, значило бы преувеличивать его значение. Тем не менее, это драгоценный факт; он подтверждает гипотезу, согласно которой семья не была единственным источником обществ. Банда, орда, шайка — называйте как угодно — сборище изгнанников, или людей, отбившихся от семьи, также дает начало иной социальной эволюции, которая скоро смешивается с первой, формируется по ее образцу. Впрочем, все заставляет нас думать, что религии повсюду начались анимизмом, что вера в богов всюду была первоначально верой в духов; а весьма вероятно, что одним из первых и главных проявлений анимизма было

¹ О повсеместном существовании в начале патриархальной семьи см. обстоятельный трактат у Сёмнера Мэна в его *Этюдах по истории права*.

обоготворение покойных предков, что первыми духами, внушавшими страх, являлись преимущественно души умерших родственников. Что касается духов иного происхождения, сил природы, олицетворяемых путем антропоморфизма или скорее, как увидим ниже, путем зооморфизма, то не потребовался ли авторитет отца семейства, начальника, чтобы поклонение им сделалось общим? Итак, истинно первобытная религия могла передаваться только из рода в род.

Заметим кстати, что это поклонение предкам и в особенности его всеобщность представляют свою загадочную сторону. Странно, что в эти грубые эпохи, когда, как принято думать, всюду царило поклонение силе, мог возникнуть культ мертвых, почтение к мертвым, покорность мертвым. Чтобы уразуметь этот факт, следует, я полагаю, сблизить его с другим, столь же общим и первичным явлением: *геронтократией*. У всех первобытных обществ, мало-мальски одаренных и способных к прогрессу, замечается уважение, почтение к старикам. Но и этот факт по-видимому не мирится с владычеством грубой силы. Каким образом в молодом обществе, среди вечных войн, старики не отодвинуты на задний план? Самое вероятное объяснение, по моему мнению, следующее: в первобытной семье, замкнутой и враждующей со всеми остальными, даже соседними семьями, пример отца должен действовать на его детей, жен и рабов с непреодолимою силой. В самом деле, потребность руководства, которую они ощущают в своем глубоком невежестве и при отсутствии внешних стимулов, может удовлетвориться только подражанием человеку, которому они привыкли подражать с колыбели. Престиж отца, царя-священника этого маленького государства, равнозначен сумме многочисленных престижей, руководящих деятельностью цивилизованного европейца, которая разливается — в большинстве случаев бессознательно — по тысяче каналов послушания и веры, под влиянием наставников, товарищей, друзей, каких-нибудь иностранцев, вместо того, чтобы сосредоточиваться в одном русле отеческих преданий и обычаев. Имея это в виду и прибавив к этому, что магнетизация — если можно так выразиться — детей отцом была тем сильнее, чем старше отец, потому что в таком случае он имел больше опытности, мы легко поймем, почему, как показал Бокль, первобытные народы склонны относить к отдаленному прошлому существование гигантов, геркулесов, сверхъестественных гениев, которым приписываются необыкновенный рост, сила, ум. Это оптический эффект, известное направление обожания, объясняемое почтением к отцу. Он сам дрожит перед тенью предка, и это очень хорошо известно его детям. Идол их идола должен казаться им высшим божеством.

Но Бокль мог бы заметить также, что, даже в древнейшие века, наряду с культом предка обнаруживается культ чужака. То, что явля-

ется издалека, действуете на варваров и дикарей не менее обаятельно, чем то, что происходило давно. Чудеса мира, о которых они мечтают, Эдем и Ад, существа, одаренные сверхъестественным могуществом, находятся по их легендам на пределах известного мира. Ацтеки верили в существование божественной расы, которая должна покорить их, явившись с берегов отдаленного востока; у перуанцев было подобное же верование. Притом в числе их богов есть немало таких, в которых нельзя не признать иностранцев — завоевателей или реформаторов, которые когда-то покорили или очаровали их предков. То же самое замечается во всех древних религиях. Это объясняется тем, что с древнейших времен обаяние отца должно было иногда уступать какому-нибудь неожиданно явившемуся внешнему или высшему обаянию. Время от времени является неведомый вождь, пришедший издалека и прославивший непобедимым; перед ним преклоняются, и домашние боги на время забыты. Какой-нибудь пришелец приносит с собою удивительные тайны и знания; его принимают за всемогущего волшебника и перед ним дрожат. Частое повторение таких случаев дает новое направление обожанию, и обаяние древности сменяется обаянием расстояния. Впрочем, весьма вероятно, что деспотическая власть иностранных завоевателей или реформаторов формируется по образу власти *pater familias*; и обоготворение — как сыновнее, так и рабское — является в эти времена в виде *почтительного страха*, доведенного до высшей степени. Ввиду этого не удивительно, что самые деспотические боги пользуются наибольшим почетом: семьи, в которых власть отца безгранична, и в наше время представляют то же зрелище. Итак, ужасающий характер античных богов и унижительный характер античных культов проистекают из источника, за который людям нечего краснеть. Понятна также живучесть этих верований в древних обществах, раз они порождены социальным принципом, без которого общество не могло бы образоваться. И хотя атеизм без сомнения был бы большим облегчением для верующего в те времена, освободив его от постоянного ужаса, но он не мог распространиться в эпоху, когда его распространение равнялось бы общественному самоубийству.

Но в первое время существования семьи, рассеянные в океане животного мира, были так изолированы, что встречи и столкновения между ними не могли случаться часто. Поэтому указанная мной причина могла вступить в силу только позднее. Зато существовала в то время другая категория чуждых влияний, которая, как мне кажется, должна была играть преобладающую роль в образовании древнейших мифологий — роль, недостаточно или вовсе не оцененную мифологами. Я имею в виду, во-первых, крупных хищников и ядовитых змей,

во-вторых, домашних животных. Я напирал на эту сторону мифологии, потому что здесь мы можем наблюдать в самые отдаленные эпохи действие чистой моды, не смешанной с подражанием высшему, как при той форме прогресса, о которой говорено выше.

В настоящее время мы *охотимся* на диких животных, но наши первобытные предки *воевали* с ними. Именно с животными им приходилось постоянно вести войну, частью для того, чтобы прокормиться, частью для самозащиты. Первобытный человек, «так же часто игравший роль дичи, как и охотника», без сомнения не мог чувствовать к пещерным медведям, львам, мамонтам, носорогам того презрения, которое внушают нам куропатки и зайцы наших равнин, или даже волки и кабаны наших последних лесов. Конец третичной и начало четвертичной эпохи, т. е. именно эпохи первого появления человека, характеризуется чудовищным изобилием плотоядных. Никогда такая свирепая и в то же время смышленная фауна не являлась на земле. Крупные звери нашего времени — только бледное подобие тогдашних слонов, носорогов, тигров в две сажени длиной, львов, гиен и пр., охотившихся за человеком. Перед этими страшными завоевателями он дрожал сильнее, чем перед великими вождями соседних племен; они внушали ему священный ужас, который является началом всякого обоготворения. И потому, желая объяснить себе какое-нибудь явление — бурю, фазы луны, восход и закат солнца — он *олицетворял* его чаще в образе животного, чем человека. Первобытные боги, от скандинавского пантеона до Олимпа ацтеков, кровожадны и требуют человеческих жертв, впоследствии заменившихся животными и оставивших по себе воспоминание и символ в христианском причастии. Не потому ли все эти архаические божества — людоеды, что человек создавал их не по своему образцу, а по типу огромных чудовищ, хищных зверей или пресмыкающихся, который так часто пожирала его? Эта гипотеза ставит первобытного человека выше богов, объясняя их свирепость не его предполагаемой злобой, но суровыми условиями его шаткого, беспокойного, исполненного опасностей существования. И действительно, нет никаких данных в пользу общепринятой гипотезы, в силу которой человек создавал своих богов по собственному образцу: между ними так мало общего! Они бессмертны и неуязвимы, он же такое эфемерное существо. Они — воплощенный каприз, он — сама рутина. Они повелевают природой, он падает ниц перед самым ничтожным метеором. Напротив, мое заключение, как мог убедиться читатель, основывается на солидных данных. Прибавлю, что повсеместность кровожадных богов естественно объясняется повсеместным распространением диких зверей; и этот исходный пункт, одинаковый

для всех рас, в свою очередь объясняет единство фаз религиозной эволюции: человеческие жертвы, потом животные, затем растительные, наконец духовный символизм. Далее, если наша точка зрения справедлива, то в позднейшие времена, когда подавление животного мира и торжество человеческого увеличили значение войн между людьми и уменьшили значение войн людей с животными, — божества, созданные по образу человеческого, должны были одержать верх над божествами, созданными по образу животных. А это постепенное очеловечение богов есть один из наилучше доказанных фактов. Египетские боги с человеческой головой на зверином туловище или с звериной головой на человеческом туловище представляют один из самых древних переходов между *зооморфическими* богами первобытных времен и чисто *антропоморфными* богами, постепенно выработавшимися в Греции. Такое глубокое изменение не могло совершиться без коренной перемены в идее божества. В начале бог был главным образом *разрушителем*, тогда как для нас он является прежде всего *творцом*. Воинственные боги могли только побеждать, а на войне побеждать — значит разрушать.

Все вышесказанное объясняет, как мне кажется, обычное или обрядовое людоедство первобытных народов. Победенный в борьбе с дикими зверями, человек того времени был всегда пожираем. Вследствие этого, оставшись победителем, он в свою очередь считал долгом съесть зверя, как бы свиреп он ни был, не только для того чтобы утолить голод, но и из мести, по вечному закону военного возмездия¹. Раз это так, то что же должно было произойти в случае столкновения двух племен? Это случайное сражение входило в разряд обычных сражений с крупными хищниками, относилось к ним, как видовая форма к родовой. Отсюда явился обычай поступать с пленными или даже с трупами побежденных так же, как поступали с животными, убитыми или попавшими в ловушку; их торжественно съедали на триумфальном пиршестве. Первый триумф должен был быть пиром. Таким образом каннибализм возник в силу подражания охотничьим обычаям, хотя впоследствии он мог поддерживаться другими мотивами утилитарного или мистического характера.

Ясно, что предыдущие соображения вполне объясняют факт, удивляющий всех мифологов и подавший повод к самым противоречивым гипотезам: факт, что древнейшие боги различных мифологий, во всех частях света, являются в виде животных, диких, часто хищных зверей, и так как с течением веков их зооморфический, *териоморфи-*

¹ Этим без сомнения объясняется, почему в доисторических пещерах мы не находим вместе с кремневыми орудиями ни одного целого скелета, даже пещерного медведя.

ческий характер постепенно заменился антропоморфным, то всегда возможно отыскать зверя под оболочкой очеловечившегося бога¹. Животный спутник бога вначале сам был богом, как гусь Приапа, кукушка Геры,мышь Аполлона, сова Паллады, колибри бога ацтеков Гуйтцилопохтли. Доказано, что раньше нашествия Пастухов «боги (египетские) всегда изображались на памятниках в виде животных». Не можем ли мы, следуя Лангу, объяснить это всеобщее обоготворение окружающей фауны (иногда флоры) тотемизмом, т. е. общераспространенным у дикарей и первобытных народов обычаем признавать родоначальником племени животное? Нельзя ли таким образом связать культ животных с культом предков? Нет, я думаю, что это значило бы принять действие за причину; не тотемизм объясняет обоготворение животных, а напротив, только обоготворение животных может дать разумное объяснение тотемизму². Животное могло прослыть за предка только после того, как было обоготворено. Почему же оно было обоготворено? Потому что вселяло ужас или просто потому, что возбудило когда-нибудь сильное удивление вследствие какого-нибудь наблюдения, преувеличенного и дурно понятого невежественным воображением. Первое животное, первое существо, изученное дикарем, открыло ему новый, внесемейный мир, или вернее расширило его сведения об этом мире, так как не знать его вовсе он не мог, постоянно имея дело с его хищными представителями. Созерцаемое сквозь призму его ужаса или воображения, животное доказало ему, что и вне его семьи есть нечто, заслуживающее внимания. Стало быть это животное, это чуждое существо, обаяние которого он чувствовал и испытал, оторвало его от исключительного поклонения своим божественным предкам и деспотическим господам; и если впоследствии, обоготворенное животное заняло место во главе их, то все же этот новый культ не происходил из семейного, а был ему противоположен. На первых шагах человечества, когда господство принадлежало животному миру, чуждое существо, с которого человек брал пример, обаянию которого подчинялся, освободившись от обаяния предков, в большинстве случаев могло быть только животным, хотя время от времени, и чем позднее, тем чаще, происходили столкновения между племенами, дававшие возможность и чуждому человеку играть подобную же роль. Известно, что во всех древних

¹ См. об этом *Мифологию* Андрию Ланга.

² Зато я готов согласиться, что запрещение употреблять в пищу мясо известных животных, так часто встречающееся в древних религиях, объясняется тотемизмом, а вовсе не гигиеническими соображениями, которые явились только позднее; как у сомнамбулы, готовой действовать по внушению, всегда являются соображения, оправдывающие в ее собственных глазах акт бессознательного послушания, который она намерена совершить.

мифологиях странным образом соприкасаются два главные разряда мифов: мифы, относящиеся к богам-животным и мифы, относящиеся к богам или героям, исполняющим цивилизаторскую миссию. Это странное сочетание останется решительно непонятным, если не принять нашей точки зрения, в силу которой две эти категории мифов — только разновидности одного и того же рода. Как те, так и другие свидетельствуют о существовании в древнейшие времена внешнего и современного престижа, источника моды, в противоположность отеческому престижу, источнику обычая.

Пойдем дальше. Я еще не перечислил всех источников, из которых черпали первобытные религии. Чтобы закончить это исследование, основанное на догадках и являющееся до некоторой степени отступлением от моей темы, замечу, что после диких животных человек должен был обоготворить и действительно обоготворял животных домашних. Таким образом добрые божества должны были выступить вслед за злыми, что в свою очередь явилось переходом от *терiomорфизма* к антропоморфизму, не считая тех переходных стадий, о которых мы упоминали выше. Подумайте в самом деле, какое огромное и благодетельное преобразование должно было произойти в маленькой колонии, не знавшей земледелия, индустрии, лишенной всяких средств к существованию, кроме охоты с луком и стрелами, рыбной ловли с острогой, после того как какой-нибудь гениальный дикарь вздумал приручить собаку, барана, северного оленя, корову, осла, лошадь¹. Что значат наши новейшие изобретения, все в совокупности, в сравнении с этим капитальным изобретением — приручением животных? То была первая решительная победа над животным миром; а из всех исторических событий величайшим и самым поразительным без сомнения было торжество человека над окружающей фауной, которое только и сделало возможной историю. И чем далее мы обращаемся в глубь веков, тем более возвышается ценность домашних животных: это была самая драгоценная добыча, самое желанное сокровище, первая монета. Отсюда обоготворение быков и коров в древнем мире, лам в Америке. В сравнении с апофеозом хищных зверей это было значительным прогрессом, о котором свидетельствует Египет, отводя Апису высшее место сравнительно с богами полутиграми,

¹ Значение открытий, относящихся к приручению животных, как впоследствии значение открытий, относящихся к эксплуатации минералов было так велико, что может служить достаточным признаком для характеристики различных цивилизаций. Подобно тому как различают эпохи оббитого и шлифованного камня, бронзы и железа — различают или можно различать и народы, пользовавшиеся быком или коровой (первобытные арийцы), лошадью (туранцы, арабы), ослом (египтяне), верблюдом (номады пустынь), северным оленем (лапландцы) и пр.

львами или кошками своей более древней мифологии. В Греции эта форма обожания животных, свидетельствующая уже о значительных успехах цивилизации, была сильно развита в архаическом периоде. Это доказывается между прочим мифом о центаврах, в которых без сомнения отразилось постепенное очеловечение лошади, служившей первоначально предметом поклонения, и которые соответствуют в этой новой фазе идеи божества египетским богам в виде тигров с лицом человека. При раскопках в Арголиде Шлиман находил тысячи очень древних идолов, изображающих подобное же превращение богини-коровы в богиню-женщину, на разных ступенях развития¹, так что в конце концов от животной природы богини остается только два маленьких рожка, откуда и название *Boopis*, так неверно понятое большинством комментаторов Гомера. Бесполезно упоминать об индийском культе коровы.

Но не одним обоготворением домашних животных отпраздновал человек свою победу над животным миром; она отразилась на культе всех остальных богов. Приручив животных и оценив громадные выгоды этого приручения, человек стал думать, нельзя ли ему приручить и некоторых из богов, этих великих духов, которые уже являлись в его представлении тайными причинами великих явлений природы, бурь и дождей, солнца и луны, и изображались в виде животных и людей. Раз эти представления принялись и развились в бесчисленную *божественную фауну*, приручение богов стало сильно занимать выдающихся людей. Надо было иметь своих, домашних богов, как имели овец, собак или северных оленей. Таковы были лары, которые не всегда являлись духами предков. Но каким образом укротить и очеловечить этих диких богов? Теми же средствами, которые применялись для приручения животных, т. е. действуя лаской и лестью, а в особенности доставляя им столь редкую в то время выгоду — постоянную, регулярную, обильную пищу. Таково происхождение жертв. Эта точка зрения не будет казаться странной, если мы постараемся понять, чем было приручение животных в начале. Для нас лошадь, укрощенная и покоренная узде — только известная мускульная сила. Но в глазах дикаря давно минувших эпох это была таинственная сила, к которой он относился не без страха и суеверного почтения. Остаток этого чувства и до сих пор сохранился у араба. После этого не удивительно, что культ мог быть попыткой к приручению, если приручение было одним из видов культа.

В подтверждение этих соображений приведу еще одно обстоятельство, которое пополняет их и кажется мне столь же вероятным.

Мысль об обращении человека в рабство вместо того, чтобы убивать и съедать его, могла явиться лишь после идеи приручения животных, по той же причине, в силу которой война с хищными зверями должна была предшествовать войне с другими племенами. Когда человек поработил, приручил себе подобного, он стал думать о человеческом скоте, а не только о человеческой дичи.

Но все вышесказанное о вероятном образовании первых религий есть собственно отступление, которое, надеюсь, извинит мне читатель. Вернемся к нашему специальному предмету и предложим себе тот же вопрос, который предлагали относительно языка, а именно: к каким последствиям приводит в религиозной сфере переход от обычая к моде и обратно, т. е. распространение культа и следующее затем утверждение его в расширившейся области; и далее — какие внутренние признаки связаны с распространением и торжеством известного культа? На первый вопрос мы ответим в двух словах, что широкое распространение религии есть необходимое предварительное условие каждой великой цивилизации, а прочное утверждение религии столь же необходимое условие всякой сильной и оригинальной цивилизации. Каков культ, такова и культура. По поводу второго вопроса заметим, что наиболее духовная и филантропическая религия имеет всего больше шансов распространиться, и обратно: религия, удаляясь от центра своего возникновения, стремится принять все более и более духовный и человеческий характер.

Это стремление религий к спиритуализму по мере удаления от своего источника — факт хорошо известный; примеры: культ Аполлона, столь чистый и благородный в сравнении с предшествовавшими ему грубыми культами; еврейский профетизм, спиритуалистический в сравнении с более древним мозаизмом; христианство еще более спиритуалистическое; протестантство и янсенизм, особенно утонченные формы христианского спиритуализма — все это последовательные ступени на указанном нами пути. Но теперь нам сделается понятной причина такого прогресса. Идея божества, имевшая животный или физический характер в эпохи, когда столкновения с животным или неорганическим миром случались чаще и имели больше значения, чем столкновения с людьми из чужих семей, одухотворяется или лучше сказать очеловечивается по мере того, как человек начинает чаще вступать в соприкосновение с себе подобными — своими или чужими, и реже — в непосредственное соприкосновение с природой. Так мы видели, что животный характер богов с течением времени исчезал, заменяясь человеческими чертами, которые в свою очередь преобразовались и исчезли в идее о высшей Мудрости и бесконечном Могуществе. Это изменение идеи бо-

¹ Они имели вид «то женщин с рогами по обеим сторонам груди, то коров».

жества совершилось в то время, когда религия переступила границы семьи. Оба эти изменения должны были идти параллельно, так как они порождены одной и той же причиной: перевесом социальной и следовательно духовной стороны над естественной и материальной. Подражание освободилось от наследственности по той же причине, в силу которой дух освободился от материи¹. С другой стороны этот последний прогресс облегчил первый. Наименее телесный и наиболее духовный бог — в каждую данную эпоху — имеет наиболее шансов подчинить себе чуждые нации, потому что люди различных рас менее отличаются духом, чем телом. По той же причине самая понятная мифология, самая рациональная и систематическая теология берут верх над остальными.

Распространение религии за пределы данного народа влекло за собой или предполагало другой важный прогресс. Потому ли способна распространиться религия, что ее основатель провозгласил братство всех людей, или он провозгласил этот догмат для того, чтобы дать ей возможность распространиться? Это все равно: ясно, что провозглашение такой истины как нельзя более содействует распространению связанных с ней верований. Христианство и буддизм доказывают это. При безраздельном господстве обычая религиозное чувство обращается к прошлому и будущему, заботы сосредотачиваются главным образом на предках и загробной жизни, как в Китае и Египте, или на потомстве, как в Израиле; словом, благочестие поддерживается мыслью о бесконечном времени. Наоборот, в эпоху, когда торжествует дух моды, религиозное чувство находит источник живейших вдохновений, сильнейших порывов в идее о земной или астрономической бесконечности, в представлении о беспредельной вселенной, о вездесущем Боге, отце всех тварей, населяющих бесконечные пространства. Но разве симпатия, сострадание, любовь, развивающиеся в сердцах верных вследствие этого

¹ В Греции и Риме одухотворение религии, до тех пор материальной, сопровождалось заменой наследственного жречества жречеством по свободному посвящению, выбору или жребию. Это нововведение произошло в Афинах ок. 510 г. до Р. Х., благодаря реформе Клисфена, который, пополняя дело Солона, уничтожил четыре древние трибы — религиозные корпорации, основанные на кровном родстве, заменив их новыми трибами, состоявшими из дем, чисто территориальных единиц. Вследствие этого жреческие функции стали избирательными. Подобное же изменение произошло в Спарте и других городах в ту же эпоху, именно с тех пор как в догматы стала проникать философия. В Риме борьба патрициев с плебеями происходила в значительной степени из-за того, останутся ли наследственными, или сделаются выборными должности фламинов, салиев, весталок. К концу существования республики, уже затронутой греческим просвещением, наступил момент, когда плебеи, получившие доступ к различным должностям, до тех пор остававшимся за патрициями, стали добиваться также права на жреческие должности, передававшиеся из рода в род в высшем сословии. Это была одна из их последних побед.

верования, не являются источником нравственной жизни? Отсюда следует, что чем более религия соприкасается с нравственностью, тем она заразительнее. И так как я не вижу, каким путем могла зародиться и распространиться проповедь высшей нравственности помимо распространения религии, то считаю себя вправе заключить, опираясь на историю, что без религиозного прозелитизма не могла бы явиться великая цивилизация.

Прибавлю, что без утверждения религии, укоренившейся и окрепшей после своих завоеваний, невозможна сильная и оригинальная цивилизация. Я подразумеваю глубоко-логический социальный строй, откуда путем упорной и продолжительной работы изгнаны главные противоречия, где большая часть элементов согласуется, где почти все проистекает из одинаковых принципов и стремится к одинаковым целям. Религия должна немало поработать, чтобы переделать таким образом на свой лад более или менее обширное общество, в котором она распространилась. Правда, мы не знаем сколько потребовалось времени для того, чтобы египетская религия — в эпоху, предшествовавшую древней империи, после того, как туземные боги Мемфиса или всякого другого города распространились по всей Нильской долине — могла создать египетскую цивилизацию. Мы не знаем также, сколько времени длилась выработка вавилонской цивилизации под влиянием Халдейской религии после того, как ее боги распространились на всем протяжении этой долины, когда-то столь плодородной и населенной. Но мы знаем, что культ Аполлона Дельфийского, первая религия, общая всем дорийским и ионийским племенам Греции, явился в X в. до Р. Х., а «апогей зрелости и красоты» греческого искусства, поэзии, мысли и политики относится к VI в. Мы знаем также, что литература, архитектура, философия, правительственная система в XI в. н. э. начинают процветать и приходить в гармонию с началами христианской веры, распространившейся в Европе четырьмя-пятью столетиями раньше. Арабская цивилизация, порожденная магометанством, вынашивалась не так долго; зато и существование ее было кратковременным.

Итак, мнение, будто прогресс цивилизации вытесняет религию, несправедливо. Религия по самому существу своему может быть только всем или ничем. Если господствующая религия теряет значение, то значит на ее место незаметно выступает новая, подготовляющая новую цивилизацию, которая в конце концов будет чисто религиозной, как и ее предшественница в эпоху своего расцвета. Если на первых шагах общества все самые незначительные мысли и действия людей, от колыбели до могилы, проникнуты суеверием и обрядностью, то и взрослые и законченные общества представля-

ют такую же картину. Часто говорят, что христианство чуждается политики в противоположность античным культам, так тесно связанным с властью. Но это только так кажется. В современных, спиритуалистических и склонных к прозелитизму, религиях, также как и в древних, грубых и замкнутых, догмат неотделим от морали, от кодекса правил, охватывающих как действия, так и мысли людей. Но широкое внешнее распространение религии не дает ей возможности самой следить за разнообразными проявлениями мысли и воли. Подобно монарху, царство которого расширилось и администрация усложнилась, она передает своим подчиненным часть своего двойного — воспитательного и правительственного — авторитета и предоставляет этим подчиненным известную долю независимости, избавляя их от слишком строгого контроля, именно в виду их низшего положения. С одной стороны она предоставляет королям и государственным людям, личность которых несколько не интересуется ее, лишь бы они оставались ей верными, командовать армиями, взимать налоги, издавать законы, с условием не предпринимать ничего противного главным правилам ее катехизиса — этой высшей конституции, господствующей над всеми остальными. Таким образом, она остается верховным правительством, последней инстанцией, к которой может обратиться всякий подданный, оскорбленный властью. С другой стороны она разрешает, в известной мере, пытливым и любознательным умам открывать и формулировать те или другие теоремы, те или другие законы природы, но разумеется с условием не высказывать ничего, явно противоречащего текстам священных книг или выводам из этих текстов. В итоге христианский или мусульманский Бог, по крайней мере в течение всех средних веков, был единственным наставником и владыкой христианства и ислама, напоминая этим лары первобытной семьи, и папа или халиф, органы этого Бога, наставляли и управляли неограниченно. Все различие между всемогуществом диких или варварских религий и всемогуществом религий цивилизованных заключается в том, что первое поддерживается культом, формальным эквивалентом морали в эту эпоху, а второе моралью, духовным эквивалентом культа. Этот последний приобрел большую глубину, приняв новую оболочку. Первоначально, у древних, культ был верховной политикой, военной и гражданской тактикой. Древние армии вступали в битву только после религиозных церемоний, жертвоприношений, гаданья авгуров, и можно сказать без преувеличения, что следовавшие затем удары мечей и копий казались современникам только аксессуаром, продолжением предшествовавших им обрядов, чем-то вроде кровавого священнодействия. По той же причине никакое собрание в ту

эпоху не приступало к обсуждению дел без предварительного жертвоприношения, молитвы, очищения. Вотировать и сражаться было только одним из способов молитвы и поклонения, умиловления и прославления богов. Позднее, когда различные города и народы вступили в сношения, сообщая друг другу свои обряды, упрощавшиеся по мере распространения, наступил момент, когда чисто духовный культ, т. е. мораль, как ее понимают христиане, мусульмане и буддисты, был по-видимому признан единственным культом, достойным этого имени. Тогда стали говорить, что мораль должна руководить политикой и даже войной. Говорят также и с таким же правом, что она должна руководить искусством и промышленностью. Дело в том, что всякий религиозный народ всегда подразумевал в религии не только высшую политику и тактику, но и высшее искусство и главную индустрию. Архитектура, скульптура, живопись, поэзия, музыка, ювелирное мастерство, резьба — все формы искусства происходят из храма, выходят из него как бы в виде торжественной процессии, распространяя во внешнем мире его внутреннее величие. Великие гекатомбы были в глазах греческих граждан источником ценностей и богатства, безопасности и могущества — отчасти воображаемых, но отчасти и действительных, потому что вера несомненно есть сила. Что значил в сравнении с этими мистическими трудами скромный труд раба или ремесленника? Кроме того, всякий сколько-нибудь важный акт в жизни земледельца или ремесленника начинался жертвой или молитвой, так что всякое промышленное или земледельческое занятие было только продолжением молитвы или жертвы. При более духовной и дальше развитой цивилизации то же самое в сущности высказывается в замечании, что труд есть одна из форм долга, и что экономическая сторона обществ, равно как политическая и эстетическая, представляют только развитие их моральной стороны.

Вследствие этого, в тот день, когда ученый, вроде Галилея, решится сформулировать самый неважный закон, самый неважный научный факт, противоречащий самому коротенькому тексту; в тот день, когда монарх решится издать самый маловажный декрет, противный самому второстепенному правилу господствующей религии, например — разрешение продавать мясо в пост или работать в воскресенье; в тот день наконец, когда в обществе начинает процветать отрасль промышленности или искусства, безнравственная или нечестивая с точки зрения религии, например светский театр или свободомыслящая печать, — в тот день семя раздора проникло в социальный организм, и затем должно произойти одно из двух: или это

семя будет изгнано, или благодаря философской, революционной, реформаторской пропаганде оно примется и разрастется, пока не преобразует социальный порядок на новых началах. Такой момент переживает современная Европа. Эта страшная дилемма ставит перед нами проблему социальной логики¹. Неизвестно, как она будет разрешена. Но можно быть уверенным, что раз завершится будущий порядок, то явится столь же интенсивная и нетерпимая общая вера в какую-нибудь истину, в какое-нибудь неоспоримое благо или долг. И наука, преобразованная обширным синтезом, пополненная высоко-эстетической моралью, сделается нравственной философией будущего, перед которой смиренно преклонятся и ученые, и государственные люди — всякий ум и всякая воля.

Это всемогущество, это вездесущее религии в общественных функциях достаточно объясняет, почему мы отвели ей такое исключительное место в настоящей главе. Но это не мешает нам сделать быстрый обзор частных и специальных властей, которые управляют с ее согласия и пользуются некоторой, опасной для нее, независимостью; такова в некоторые эпохи философия и во все эпохи собственно так называемое правительство, законодательство и обычай. Признанная философская система, возникшая в любознательном обществе, также относится к религиозным догматам, как правительственная форма, кодекс прав или совокупность потребностей во всякой стране — к религиозной морали. Первая есть второстепенное правило мысли, второе — поведение, что не избавляет от столкновений между верховной или якобы верховной властью и вассальными властями. Стычки философии с теологией соответствуют стычкам светской власти с духовенством. Впрочем, если верно, что религия владычествует над цивилизацией в ее целом и формирует ее по своему образцу, то не менее несомненно, что философия, господствующая в данный момент, владычествует над наукой и придает ей свой характер, что правительство ведет политические дела и войны на свой лад, что наконец законодательство и обычай определяют направление и характер промышленности. Посмотрим же, совершается ли и здесь переход от обычая к моде и *vice versa*, также как и в выше разобранных случаях, и приводит ли к аналогичным последствиям. Но оставим в стороне философскую и научную сторону обществ, так как для этого потребовался бы особый том. Перейдем к практической стороне.

¹ Дай Бог, впрочем, чтобы разрешение этой проблемы затянулось подольше! Дай Бог, чтобы подольше существовала драгоценная для свободомыслящих умов интеллектуальная анархия, которую так оплакивал Огюст Конт.

III

Правительство

Все предыдущее сводится к тому, что в начале единственную социальную группу представляла семья или возникшая рядом с ней псевдосемья; что каждое дальнейшее изменение уменьшало ее значение в этом отношении, создавая новые, более обширные группы, образовавшиеся искусственно за счет общественного значения различных семей и мало-помалу низводившие эти последние к простой физиологической роли; но что в конце концов многочисленные, расчленившиеся таким образом семьи стремятся к слиянию вроде обширной семьи, естественной и в тоже время социальной, как в начале, с тем различием, что признаки, передаваемые наследственно, стремятся в ней главным образом облегчить передачу путем подражания элементов цивилизации, а не *vice versa*. В самом деле, в лингвистическом отношении мы видели, что каждая семья в очень отдаленную доисторическую эпоху должна была иметь свой собственный язык; позднее один и тот же язык охватил тысячи семей и наконец благодаря *connubium*'у, практиковавшемуся с большим удобством между людьми, говорившими одним и тем же наречием, эти семьи дали начало одной и той же расе. Таким образом, в окончательном результате каждый язык создал свою расу, т. е. свою обширную семью, тогда как первоначально каждая семья имела, как мы уже сказали, свой язык. Далее, относительно религии мы видели, что в начале каждая семья имела свой культ, представляла особую церковь; позднее же одинаковый культ соединил тысячи семейств, и эти последние, путем более или менее строгого запрещения браков с неверными и исключительной практики *connubium*'а, слились наконец в особую расу, нарочно созданную для своей религии.

В отношении правительства мы замечаем подобный же ряд превращений; в начале каждая семья образует особое государство; затем одно и тоже государство обнимает тысячи семей, соединенных совершенно искусственно; наконец государство создает свою нацию, т. е. свою расу или под-расу, свою семью.

Я мог бы повторить по поводу этого все, что Семнер Мэн и Фюстель де Куланж так хорошо высказали о *patria potestas*, превратившейся мало-помалу в *imperium* римского магистрата, и о первичном слиянии и постепенном разделении власти *родовой* и власти *правительственной*. Но я не хочу утомлять читателя. Замечу только, что этот взгляд следует дополнить, принимая, что в начале истории или доисторических времен государства образовывались чисто искусственным путем, вслед-

ствие общего стремления соединяться под властью знаменитого вождя или разбойника, и возрастали благодаря присоединению беглецов из всех окрестных селений. Города, служившие убежищем, как зарождающийся Рим или *вольные города* средних веков, могут дать понятие об этих первичных агрегатах. Быть может, даже наверное, из них образовались первые города в настоящем смысле слова. И в самом деле, городской элемент, существовавший наряду с сельским с самых отдаленных времен, всегда отличался от него новаторским духом. Можно думать, что эти первые сборища недисциплинированных людей были самыми деятельными очагами войн и завоеваний и следовательно, если они повинны во всех бедствиях, связанных с военной жизнью, то им же принадлежит и честь основания великих национальных агрегатов, явившихся в конце концов гарантией богатства и мира.

Кроме того, мы всюду замечаем, как мода и обычай воплощаются политически в двух великих партиях, борьба и попеременное торжество которых объясняют все явления политического прогресса народов. В самом деле, мы всегда встречаем только две партии, более или менее подразделенные. Их имена меняются в зависимости от страны и эпохи, но можно, не рискуя впасть в большую неточность, назвать одну консервативной, другую — новаторской. Соперничество их выражается обыкновенно у приморских народов борьбой земледельческих интересов, выразителем которых в Афинах был консерватор Аристид, с интересами мореплавания, олицетворявшимися в новаторе Фемистокле; у народов континентальных — борьбой земледелия с торговлей, деревень с городами, крестьян с рабочими. А ясно, что борьба консерваторов и либералов, древняя, как сама история, и начавшаяся уже в недрах первичной семьи или трибы, всегда и везде сводится к борьбе обычая с модой. Прогрессистская партия всеми силами цепляется за новые идеи, новые права, новые продукты, ввозимые и заимствуемые от иностранцев; тогда как партия традиционная отталкивает их, опираясь на древние, унаследованные от предков, идеи, обычаи, индустрию. В более специальном случае — новаторская партия требует изменения в государственном устройстве страны сообразно с понятиями, которые ей внушило знакомство с чужеземными правительствами, и которые, несмотря на то, что они явились результатом более или менее бессознательного внушения, — а может быть именно поэтому, — кажутся ей приложимыми путем подражания ко всем народам, населяющим землю; напротив, партия тори требует уважения и сохранения в неизменном виде правительственной формы прошлого¹. Как известно,

¹ В каждую данную эпоху какой-нибудь из наиболее выдающихся народов по-видимому воплощает в себе дух консерватизма, другой — дух новаторства. Но обращаясь к про-

столкновение между этими двумя партиями всегда и везде возникает вследствие того, что партия либералов, возбужденная или вызванная участвовавшими столкновениями с более блестящим внешним миром, появляется среди народа, бессознательно придерживавшегося традиций, и пробуждает самосознание в консервативной партии, т. е. в огромном большинстве. Это значит, что сначала обычай царствовал безраздельно или почти безраздельно, потом стал заменяться модой. Между тем, мода растет, и олицетворяющая ее партия, вначале разбитая, заставляет наконец принять свои новшества. В результате мир делает шаг вперед к политической ассимиляции народов, ассимиляции, которая продолжается даже в то время, когда их политическая агломерация — что далеко не одно и то же — остается неподвижной или регрессирует. В самом деле, всегда, даже в средние века или в древности, только благодаря новаторской партии, распространяется на данной территории сначала очень незначительной, потом все более и более обширной, известное однообразие правительственных форм, сопутствующее или предшествующее единству. Начиная от времен героической Греции, мы замечаем, по некоторым признакам, что время

шлому этих народов, мы замечаем, что они меняются ролями. В наше время представителями этой антитезы являются Англия и Франция, как в древней Греции консервативные дорийцы и новаторы ионийцы; на эту тему уже достаточно толковали. «Во Франции, — говорит г. Бутми в своих «Etudes de droit constitutionnel», — естественный и непосредственный авторитет принадлежит идеям, эмоциональная основа которых коренится в чувстве связи со всем вообще человечеством. В Англии — идеям, основа которых лежит в чувстве связи с предшествующим поколением. Французам по душе только широкая концепция, далеко хватающая в пространство, обнимающая все народы, которые вместе с ними преклоняются перед статусом всемирного законодательства. Англичанам нравится узкая, забирающая в глубь концепция, в которой виднеется вся вереница эпох национальной жизни».

Иными словами, французы восхищаются идеями, которые способны распространяться путем свободного внешнего подражания и которые сами они получают нередко именно этим способом; напротив, их соседи любят идеи, передающиеся только путем узкого наследственного подражания. Но, во-первых, — заметим мимоходом, — это не мешает английскому парламентаризму распространяться, несмотря на его самобытный характер, от народа к народу путем самого свободного и общего заражения, какое только можно себе представить. Далее, известно что в XVII ст. Англия олицетворяла собою революционный дух в противоположность монархической Франции; да и в настоящее время разве мы не видим, как после двухвекового спокойствия революционный фермент начинает проникать в английскую почву, благодаря радикальным и социалистическим идеям, занесенным с континента? Очень может быть, что когда этот кризис разразится по ту сторону Ламанша, французы, наоборот, успеют наконец создать национальное правительство.

Прибавим, что различие, установленное г. Бутми между конституциями, стремящимися к универсальности, и конституциями, ограничивающимися известной расой или нацией, напоминает различие между религиями прозелитическими и религиями замкнутыми. Если основываться на этой аналогии, то будущность принадлежит французской системе, потому что прозелитические религии повсюду имеют перевес над своими соперницами. Но как самый открытый культ в конце концов достигает своих пределов и становится замкнутым, так и самая космополитическая правительственная система превращается наконец, как мы увидим ниже, в обычай предков.

от времени веяние моды увлекало самые закоренелые в обычаях нации. С удивлением видишь, что например дорийцы, раса традиционная по преимуществу, на заре своей истории управляются законами критского происхождения, введенными иностранцем Ликургом, и подчиняются недорийским царским родам. Можно ли объяснить это иначе, как допустив, что в более раннем периоде среди этой нации господствовало почтение к предкам? Второй из вышеупомянутых фактов не представляет впрочем ничего исключительного: напротив он встречается часто. Курциус, историк Греции, упоминает по этому поводу об Оакидах, царствовавших над молоссами, Теменидах — над македонянами, Вакхиадах — над линцестами, Ликиянах — над ионийцами и пр., как в наше время преемники Бернадота управляют шведами. Итак, это почтение к иностранцам было всегда общим явлением уже в самые отдаленные времена и должно было достигать значительной силы, если мы примем мнение только что упомянутого мною ученого, согласно которому вера в божественную природу царей объясняется их чужеземным происхождением. Родина их теряется в безвестной дали, и потому «они могли сойти за детей богов, — честь, которую местный уроженец вряд ли бы получил от своих соплеменников». Кроме того, всякий раз, когда мы замечаем добровольное подчинение коренных семей какой-нибудь одной, даже принадлежащей к той же расе, мы должны предположить, что эта привилегированная семья обязана своим главенством более или менее эфемерному увлечению, заставившему остальные семьи забыть на время почтение к своим предкам. Но дух семьи, разрушенный таким образом, благодаря возникновению династии, впоследствии преобразуется, расширяется и получает название цивизма или патриотизма.

Если в десятом столетии нашей эры мы застаем Европу покрытой миллионами мелких государств, называемых сеньориями, близко сходных между собою по своему феодальному устройству, поражающих своей оригинальностью также как и сходством при кажущемся разнообразии, то нельзя сомневаться, что они обязаны своим существованием интеллигентным либералам той эпохи, копировавшим тип лена, явившийся в каком-нибудь одном пункте, и распространявшим его все далее и далее наперекор упрямым реакционерам, галло-римским сенаторам и другим. В то время лен был великим плодотворным новшеством, по образцу которого сформировалась наконец сама королевская власть. До тех пор король смутно связывал свой авторитет с властью древних римских императоров, являвшейся в глазах народов традиционным типом верховной власти. Но Гуго Капет додумался до гениальной, можно сказать, хотя и очень простой идеи. Вместо того, чтобы искать свои идеал позади, в римской империи, он заим-

ствовал его тут же, бок о бок с собой. Семнер Мэн приписывает ему инициативу и первый пример королевской власти, чисто феодальной, а не императорской. «Гуго Капет и его преемники, — говорит он, — были французскими королями в совершенно новом смысле; они относились к французской земле также, как барон к своему лену, вассал — к своему». В общем, новшество состояло в преобразовании суверенитета по типу сюзеренитета¹ и в распространении на всю территорию большого народа феодальных отношений, ограничивавшихся раньше тесными пределами кантона. Тем не менее успех был огромный. «Всякий суверенитет, устанавливавшийся или утверждавшийся впоследствии, формировался по этому образцу. Власть норманских королей, скопированная с французской, была положительно территориальной. В Испании, в Неаполе, в княжествах, основанных на развалинах муниципальных вольностей в Италии, основались территориальные суверены».

Еще быстрее распространилась в новейшее время другая идея, противоположная предыдущей — идея государства в том смысле, как мы его понимаем ныне. Где родилась современная политика? В маленьких итальянских республиках, и прежде всего во Флоренции, откуда этот тип правительственного действия распространился во Франции, Испании, Германии и даже Англии. В особенности Испания и Франция, так долго оспаривавшие друг у друга Италию, «стали уподобляться, — говорит Бурхардт, — централизованным итальянским государствам, — даже воспроизводить их, только в колоссальных размерах». К этой моде в XVIII столетии² прививается новая, которая впрочем не противоречит первой, а дополняет ее. Англomania в это время вскружила головы всем. Парламентская конституция Англии является образцом для подражания, до ее великого распространения в нашем веке, в двух главных формах — сначала в Соединенных Штатах, где она просто была переведена в республиканскую форму, как показал Семнер Мэн в своем *Народном Правлении*, потом в революционной Франции, которая не замедлила довести парламентаризм до вдохновенного радикализма Руссо. Это последнее преобразование, в свою очередь заразительное и производшее при своем

¹ Точно также духовная администрация одевала имперскую ливрею во время империи, феодальную — в средние века.

² XVIII век — царство моды en grand. Это хорошо видно в частностях учреждений и нравов. В эту эпоху, например, при муниципальных выборах начинает господствовать тайная баллотировка, и Альфред Бабо (в своей книге о городе при старом порядке) говорит, что она «вошла в моду». Он прибавляет, что уже в XVI в. — тоже век господства моды — городское управление Анжера приняло эту баллотировку, основываясь на обычаях «при выборе сенаторов в Венеции, Генуе, Милане, Риме». До такой степени в эту эпоху муниципальный дух был возбужден и искал образцов.

появлении страшный фурор, породило бог знает сколько эфемерных республик в Южной Америке, перевернуло вверх дном континент и отозвалось даже на британской почве.

Одна из самых замечательных черт либеральной партии и, следовательно, эпох, в которые эта партия господствует, есть космополитический характер ее стремлений. В самом деле, космополитизм — вовсе не исключительная черта нашего времени. Он процветал и в древности, и в средние века в периоды господства подражания-моды. «Космополитизм, — говорит Бурхардт, — отличительный признак всякой эпохи, когда открывают новые миры и чувствуют себя неладно на родине. У греков он является, по словам Нибура, после Пелопонесской войны¹. Платон был плохим гражданином... Диоген говорил, что отсутствие родины — истинное счастье, и называл себя «арolis». Итальянцы эпохи Возрождения задолго до XV в. — космополиты не только потому, что изгнание сделалось для них привычным, но и потому, что их время и страна изобилуют нововведениями всякого рода, и умы людей устремляются к настоящему иностранному сильнее, чем к домашнему и отечественному прошлому. Упадок патриотизма во Франции XVI, XVIII столетия известен. Напомним чудовищные союзы партий с иностранцами во время религиозных войн и комплименты Вольтера прусскому королю после Росбаха. Даже Гердер и Фихте, сделавшиеся впоследствии под игом завоевателя такими рьяными патриотами, начали с презрения к идее отечества. В наши дни только очевидная необходимость защиты вооруженной рукой могла отчасти вернуть национальному чувству его древнюю силу в Германии и Франции. Но кончается ли дело победой моды над рутиной? Отнюдь нет. Сама победа становится полной только после того, как консервативная партия, признав свое поражение, овладевает позицией, преобразуется в партию национальную и вливает в новую прививку соки традиции. Эта национализация чужеземных элементов есть развязка исторической драмы, вызванной соприкосновением народа с более цивилизованными соседями. Именно таким образом феодальные королевства, образовавшиеся, вследствие моды, наподобие монархии Капетингов, сделались в высшей степени национальными и традиционными.

Река обычая вступает после этого в свое русло, правда чрезвычайно расширившееся, и начинается новый цикл. Он развивается и оканчивается также, как и предыдущий; и так будет происходить без сомнения до полного политического объединения и однообразия всего человеческого рода. Следовательно, новаторская партия игра-

¹ На самом деле он должен был являться много раз и гораздо раньше.

ет во всем этом вредную, но необходимую роль. Она служит посредницей между духом консерватизма, относительно узкого, который ей предшествует, и духом консерватизма, относительно широкого, который за ней следует. Стало быть нельзя противопоставлять традиционализм либерализму. Наша точка зрения показывает, что они нераздельны и что без *наследственного подражания*, без консервативной традиции всякое изобретение, всякое новшество, введенное либералами, умерло бы на месте, так как первое связано с последним как тень с телом, вернее сказать, как свет с лампой. Самые глубокие революции стремятся, так сказать, традиционироваться; и наоборот — источником самых закоренелых традиций является породившее их революционное состояние. По-видимому, конечная цель всех исторических преобразований — превращение в могучий, обширный и окончательный обычай, в котором подражание, сильное и свободное, соединит наибольшую глубину с наибольшей шириной.

Заметим, что осуществление этого идеала совершается путем ритмического повторения одних и тех же фаз все в большем и большем масштабе. При переходе от первичного правительства семьи к правительству трибы, общества должны были пережить те самые периоды, которые с таким трудом переживают современные общества, переходя от национального правительства к континентальному, которому принадлежит будущее. В промежутке потребовались такие же ряды усилий, чтобы создать правительство города, потом правительство маленького государства, провинции, и наконец — нации. Чтобы лучше понять, каким образом происходили в прошлом эти последовательные и промежуточные возрастания политического агрегата, посмотрим, как они происходят в настоящее время. Маленькие американские республики, превратившиеся позднее в Соединенные Штаты, жили разобщенной и независимой жизнью; общая опасность соединила их, и союз был провозглашен. Война, вызвавшая это великое событие, была впрочем только исторической случайностью, как и те войны за независимость или ради завоевания, которые в течение всей истории возбуждали, ускоряли и замедляли, но отнюдь не создавали действительно прочных расширений государства, от государства-семьи до государства-нации. Американский союз был провозглашен, но что сделало его возможным и прочным? Какая причина не только вызвала необходимость этой федеративной связи, но и действует постоянно, упрочивая ее и создавая из соединения — единство? Токвиль объясняет нам это: «В английских колониях Севера, более известных под именем Штатов Новой Англии, — говорит он, — сосредоточились две-три главные идеи, составляющие теперь основу социальной теории в Соединенных Штатах. Принципы Новой Англии распро-

странились сначала в соседних Штатах, потом мало-помалу охватили и самые отдаленные, и наконец ими *прониклась* вся конфедерация. В настоящее время они оказывают влияние на весь американский мир, далеко за пределами своего первоначального распространения. Цивилизация Новой Англии¹ уподобилась костру на вершине горы, который, распространяя теплоту вокруг себя, озаряет своим светом самые отдаленные пределы горизонта. Несомненно, что если бы каждый из Штатов остался верен конституции своих отцов, и не принял двух-трех чужеземных идей, сформулированных в небольшой группе соседних Штатов — политическое сходство всех этих Штатов, которое одно сделало возможным их слияние, никогда бы не было достигнуто. Итак, этот прогресс совершился в силу действия подражания-моды. Прибавлю, что идеи, внесенные таким образом в большинство Штатов, акклиматизировались в них до полного слияния с их первичными обычаями. В окончательном результате развился коллективный патриотизм, не менее интенсивный и в настоящее время уже не менее традиционный и протекционистский, чем первичные патриотизмы.

Если великая американская федерация создавалась таким образом на наших глазах, то мы должны предположить, что и маленькая эллинская федерация создавалась когда-то таким же точно образом. Бесчисленные муниципальные республики Греции и Архипелага были лишь слегка измененными копиями двух главных типов: дорийского и ионийского; очевидно, их сходство, побуждавшее их к соединению, не может быть объяснено одной только колонизацией немногих родных городов — *наследственным* распространением; оно объясняется главным образом подражательным распространением, которое последовало за первым и вызвало новую эру в греческой цивилизации: в эту эпоху происходит внешнее распространение Спарты и Афин, двух огней, зажженных на вершинах гор, по выражению Токвиля. Это было подражание вследствие моды; и мода, утвердившись и укоренившись, превратилась для всех городов в национальный и общий обычай, дававший пищу для самого живого и наследственного чувства. Но если мы будем рассматривать отдельно каждый из этих маленьких городов, столь преданных своим родным учреждениям до той ассимиляции, о которой я говорю, и если спросим себя, каким образом различные составляющие их трибы соединились в этой городской форме, то объяснение этому найдем только в их первичном сходстве, явившемся опять-таки вследствие добровольного или вынужденного подражания всех какой-нибудь одной.

¹ Автор указывает причину ее заразительного превосходства: только поселенцы Новой Англии, эмигрировавшие пуритане, явились работать во имя идеи.

Периоды блеска, к которым невольно обращается взгляд историка — век Перикла, век Августа, век Людовика XIV, имеют то общее, что отмечает собой эпоху, когда после эры неожиданных новшеств, быстрых слияний и ассимиляций, обрисовывается новая общественная форма и выступает новая традиция. Язык, после продолжительных изменений, отливается в известную форму, которая послужит образцом на будущее время. Религия, после многих изменений вследствие слишком гостеприимного отношения к чужеземным идеям, получает определенную и правильную организацию. Правительственные учреждения, переделанные, отрегулированные после великих потрясений, снова укореняются. Искусство, во всех его отраслях, после бесчисленных попыток, находит свой *классический* путь. Законодательство, после хаотической массы ордонансов, декретов, законов, кодифицируется и, так сказать, окостеневает. В этом отношении Перикл, хотя и глава демократического государства самого беспокойного из древних народов, походит на Августа и французского Короля-Солнце. Все элементы афинской цивилизации, находившиеся в беспорядочном состоянии вследствие предшествовавшего Периклу великого потока подражания-моды, который впрочем никогда не мог быть прерван надолго в греческом мире, при постоянном смешении различных цивилизаций путем торговли и мореплавания, — все эти элементы логически согласуются в эпоху правления Перикла как элементы латинской и французской цивилизаций в эпоху правления его двух великих соперников по славе, после эпохи смут, дезорганизовавших римскую республику в одном случае, и французское общество в другом. В эту эпоху афинское наречие распространяется, охватывает всю колониальную империю Афин и по мере распространения определяется, превращается в бессмертный язык всей последующей древности. В то же время скульптура, драматическая поэзия достигают своего апогея, *образцового совершенства*. Наконец правительство, финансы получают прочную и истинно консервативную организацию. Ибо Перикла, при всей своей склонности к интеллектуальным новшествам и приветливости к чужеземным мыслителям и писателям, был таким же *консерватором*, как Август и Людовик XIV, тоже поощрявшие интеллектуальную и эстетическую жизнь с целью властвовать над ней.

Ясно, что если в эпохи этих великих людей или этих великих царствований происходит возврат к традиции, то к традиции, расширившейся двояким образом: путем расширения территории, на которой она господствует, и усложнения элементов, из которых она составляется. До Перикла Афины были только эллинским городом, лишь более обширным и блестящим, чем остальные; в эпоху Перикла они

становятся столицей довольно обширной империи, живущей одной с ними жизнью — жизнью более интенсивной и сложной, чем жизнь Афин первых веков.

Очевидно, великие эпохи, о которых я говорю, могут быть рассматриваемы с двоякой точки зрения: во-первых, как момент достижения нового *логического равновесия*, осуществившегося благодаря расширению того, что я назвал *грамматикой* элементов цивилизации, в противоположность их *словарю*; во-вторых, как исходный пункт новой эры *традиционной жизни*. Но обе эти точки зрения тесно связаны между собой, потому что новшества, принесенные веянием моды, превращаются в прочный обычай лишь после того, как придут в гармонию. Доказательство этой гармонизации мы находим в том симметрическом, даже искусственном виде, который имеют все создания этих достопамятных эпох: администрации централизуются, получают однообразный характер; города перестраиваются в смысле геометрического расположения улиц и площадей... Так, например, Курциус сообщает нам, что когда Перикл перестроил Сибарис под именем Турии, «этот город был устроен по образцу Пирея»: «четыре главные улицы пересекали его вдоль, три — поперек». У Бабо (*La ville sous l'ancien régime*) можно прочесть о перестройках *à la* Гаусманн, происходивших во всех городах Франции в эпоху Людовика XIV, и сравнить его данные с теми, которые сообщает нам римская археология относительно городов после Августа... Впрочем, Перикл, человек суровый и самовластный, потомок знатной фамилии, нечто вроде республиканского Пита, стремился к морскому могуществу и расширению власти Афин, но ревниво противился допущению иностранцев в город в качестве членов патриотического целого. В этом отношении, говорит Курциус, «он вернулся к суровому античному законодательству». Он управлял демократически, но упразднил все демократические принципы, то есть «срочность должностей, разделение власти и даже ответственность должностных лиц». Он, как Август, сосредоточил в своем лице все республиканские должности и создал из них верховную власть для себя.

Во всяком случае сходство между ним и древними *тифанами* только чисто внешнее. Тиран, при всем своем деспотизме, далеко не был представителем и покровителем консервативного обычая и радушно относился к потокам иностранной *моды*, разрушавшей главные препятствия на его пути — национальные предания. Перикл же стоял за возврат к традиционной жизни, благоприятствовавшей его интересам.

Это не значит, что Перикл, налагавший печать своего авторитета на все учреждения родины, создал потребность более национальной, более традиционной жизни, которой и пользовался, к несчастью,

слишком недолго. Персидские войны, как и всякие военные кризисы, обновили чувство национальности (но национальности расширившейся), пришедшее в упадок в прежние века, в особенности в VI столетии, под влиянием космополитической жизни. «В эпоху Солона, — говорит Курциус, — в Афинах господствовал легкомысленный образ жизни ионян (азиатских); богатые граждане выставляли на показ свой пурпур, свое золото, свои благоухания, своих лошадей, своих собак, своих любимцев и свои пиры; но несомненно, что с персидскими войнами возникло более серьезное отношение к жизни»... Происходит возврат к жизни предков. «День Марафонской битвы возродил почтение к древней расе *землепашцев* Аттики; и чем более ядро афинского народа привыкает смотреть на себя как на высшую нацию сравнительно с *мореходными* племенами Ионии (гордость, всегда связанная с практикой подражания-обычая, заметим мы), тем более оно стремится отделиться от них по языку, нравам и костюму». Костюм вернулся к первобытной простоте. «Это — чисто внешнее различие между ионийцами и афинянами, но уже задолго до него их нравы и образ жизни сделались совершенно различными» (*доказательство того, что внутреннее подражание предшествует внешнему*).

Многие признаки указывают на то, что в эпоху, непосредственно предшествовавшую Периклу, в начале V и особенно в VI в. веяние иностранного подражания чувствовалось во всем Архипелаге, во всех цивилизованных или способных цивилизоваться бассейнах Средиземного моря. Это — эпоха Поликрата и других греческих тиранов, которые все были противниками старинных нравов, проповедниками иностранных обычаев, предвестниками *административного* управления на современный лад. Притом *тифания* своим быстрым распространением с острова на остров доказывает восприимчивость эпохи к внешним примерам. Еще лучшее доказательство мы находим в неслыханном зрелище, которое представляет тогдашний Египет в правление Псамметихов и Амазисов, поклонников греческой цивилизации, старавшихся насадить ее в этой классической стране традиций. Амазис «взял в жены киринеянку, пировал за одним столом с греками, принимал греческих владетелей и водил с ними дружбу; подобно Крезу (который с своей стороны вводил те же новшества в Лидии), он почитал греческих богов». Точно так же в XVIII столетии нашей эры Фридрих Великий пытался офранцузить свое королевство.

В Дарие также можно видеть одного из участников этого стремления к эллинизации, но в более скрытой и широкой форме. Во всяком случае он проложил путь великим *административным* империям, которые последовали за ним. Персия была им «преобразована сверху до низу. Новый административный дух занял место старых обычаев».

Отсюда — *индивидуализм*, возникший в эту эпоху. «Пробудилось совершенно новое чувство личности». Решили думать по своему; результатом этой смелости явилась философия. Софисты — проводники личной духовной свободы. Отсюда же космополитизм этой эпохи.

Достаточно ли я сказал для того, чтобы уяснить, какую капитальную роль играет в политической истории попеременное изменение уровня двух великих потоков, между которыми неравномерно распределяется подражание. Конечно — нет, но мы дополним наше изложение, изучив поближе политические последствия этого простого ритмического изменения в направлении одной и той же силы, и признаки, которые должна была получить правительственная форма, чтобы распространиться и укорениться, как сказано выше.

Эти последствия, в общем итоге, суть: прогрессивное увеличение и упрочнение политической агломерации, о чем мы уже знаем, затем, как увидим ниже, постоянно возрастающая административная и военная централизация, все более и более увеличивающаяся легкость для личной власти принять универсальный характер и укорениться, сделавшись традиционной. Эти черты представляют собой относительно рациональный и уравнилельный вид распространяющихся конституций и относительно самобытный и деспотический вид конституций, укореняющихся после распространения. Лучше всего это выяснится путем сравнения нашей антитезы с двумя различными, но близкими друг к другу антитезами, принадлежащими двум выдающимся, хотя и неодинаковым по глубине и широте взглядов, мыслителям.

Токвиль и Спенсер были поражены великой социальной трансформацией, медленной и неуклонной, характеризующей наш век; оба пытались формулировать ее в терминах, которые, по их мнению, выражают общий закон истории. Спенсер был в особенности поражен промышленным развитием нашей эпохи; в нем он увидел господствующую черту наших обществ, объясняющую собой все остальные их черты, а именно: эмансипацию личности, замену прав прирожденных — правами приобретенными, личного статуса — договором, привилегий — правосудием, наследственных и предписанных государством корпораций — свободной и добровольной ассоциацией. Обобщая свои взгляды, он видит в разрушительном или производительном, воинственном или мирном характере деятельности основной факт, достаточный для характеристики двух типов цивилизации, находящихся в вечной борьбе: военного, которому суждено погибнуть, и промышленного, которому предстоит идиллическая и грандиозная будущность мира, свободы, нравственности, любви.

По словам Токвиля, нивелировка условий, неизбежно влекущая народы Европы и Америки по пути демократии, произвела на него

глубокое, благоговейное впечатление. Потребность равенства — вот в его глазах главный двигатель наших времен, как потребность привилегии была главным двигателем прошлого. На противоположности этих двух сил он основывает контраст между аристократическими и демократическими обществами, которые во все времена различались всем: языком, религией, промышленностью, литературой, искусством и политикой. Без страха, напротив — с очевидной симпатией, но и без излишних иллюзий, по крайней мере без той дозы оптимизма, которую мы находим у Спенсера, предвидит он последствия равенства в будущей демократии и рисует их картину, местами по истине пророческую.

Антитезы Спенсера и Токвиля во многом совпадают: военные общества первого в значительной степени соответствуют аристократиям второго, и то же самое следует сказать относительно промышленных обществ и демократий. Но Спенсер говорит нам, что милитаризм порождает принудительную кооперацию, подавление личности под гнетом административной централизации, тогда как индустриализм создает добровольную кооперацию, личную независимость, децентрализацию. Напротив, Токвиль — на страницах, соединяющих самую основательную эрудицию с глубокой и искренней пронизательностью — сознается против воли, что демократическое равенство, порожденное общим однообразием, почти фатально ведет нас к подавляющей, все регламентирующей централизации, и что местные вольности, личные гарантии были более обеспечены во времена аристократического разнообразия и неравенства. Это сознание должно было обойтись ему не дешево, и я не понимаю, каким образом он примиряет свою страстную любовь к свободе — еще более сильную, чем к равенству — с симпатией к конформистскому, нетерпимому, словом социалистическому строю, который он так ясно провидит. Впрочем его либерализм не более непоследователен, чем либерализм великого английского эволюциониста. Как бы то ни было, спрашивается — кто из них прав? Должны ли мы согласиться с Токвилем, что аристократический режим — режим децентрализующий, дифференцирующий и в известном смысле либеральный, а демократический — централизующий, нивелирующий и деспотический; или признать по-видимому совершенно противоположное мнение Спенсера? Я думаю, что тезис Токвиля более близок к истине, но что он недостаточно осветил одну сторону своей мысли, оставшуюся в тени. В сущности под аристократическим режимом он чаще всего понимает владычество обычая, под демократическим — владычество моды, и если бы он выразил свою мысль так, как я ее передаю, то она была бы неоспоримо верной. Но он выразил ее неточно, потому что преданность тради-

циям не составляет существенной черты аристократии, и не всякая демократия радушно относится к новшествам. Тем не менее за ним остается важная заслуга: он обратил внимание на наследственное или ненаследственное происхождение власти, прав, чувств и идей, и оценил капитальное значение этого различия, незамеченного или едва затронутого Спенсером. Последний не отличает феодального милитаризма, наследственного и освященного обычаем, от милитаризма, свойственного современным народам — добровольного, связанного с заимствованием извне и освященного законодательством. Для него капитальный факт — воинственный или трудолюбивый характер обыденной деятельности. Но говорит, что обязательная кооперация свойственна всякому народу, в котором господствует армия — основываясь на том, что военная организация имеет существенно принудительный характер — значит забывать, что крупная мастерская управляется не менее деспотично, чем орда варваров, толпа вассалов или даже современный полк. Перу, во времена Инков, не представляет ли скорее огромный фаланстер, чем огромную казарму? Во всяком случае, военный деспотизм никогда не доходил до большей регламентации, чем этот земледельческий деспотизм. Это потому, что подчинение обычаю никогда не достигало большой силы — разве только в Китае. Китай — страна наименее воинственная, наиболее трудолюбивая в мире: тем не менее кооперация там как нельзя более принудительная, нетерпимость абсолютная, и административная централизация доведена до такой степени, какую только позволяет отсутствие железных дорог и телеграфов на такой обширной территории; все это потому, что иго обычая, владычество предков тяготеет там над всеми, не исключая императора¹. Влиянию милитаризма, развившегося во Франции, вследствие войн, более частых чем в Англии, Спенсер при-

¹ Не привычка ли воевать делает авторитет наследственным и более суровым? Нет. Победоносная война может вызвать усиление раньше существовавшей знати, или даже создать ее, но только в том случае, когда общество живет под властью обычая и таким образом предрасположено делать наследственной всякую власть. В противном случае ничего не выйдет. Можно ли думать, что двадцатилетняя непрерывная война воскресит феодализм в современной Европе? Разумеется, нет; результатом ее явится диктатура, опирающаяся на плутократию, еще более нахальную, чем нынешняя — и только. Первичный корень всякой аристократии — сельский, патриархальный, домашний. Невоинственные аристократии особенно живучи и неизменны; пример — швейцарская аристократия, которая несмотря на республиканскую и федеральную форму общественного устройства, сохранила свою силу до нашего столетия, в то время как остальной континент уже давно начал демократизироваться. Если, несмотря на это, идея милитаризма связывается обыкновенно с идеей аристократического режима, так это потому, что раздробление территории, порожденное аристократическим господством обычая, умножает число вооруженных столкновений. Индустриализм может отлично ужиться с милитаризмом: Флоренция, быть может самый воинственный город средних веков, была в то же время самым промышленным городом в Европе. Другой пример — древние Афины.

писывает регламентаторский и централизаторский характер старого порядка во Франции (как известно, довершенный революцией). Но, заметим мы, этот характер усиливается по мере усиления королевской власти, которая опирается главным образом на общины, т. е. на промышленный класс нации, расширяется за счет воинственной касты феодальных сеньоров, и таким образом является помехой если не для временных внешних, то по крайней мере для непрерывных внутренних войн, к величайшей выгоде для труда. Французские короли были по существу миротворцами. Если Англия осталась страной сравнительной децентрализации, так это потому, что она осталась аристократической страной. Ее промышленное богатство, в отношении которого она не превосходила Францию до конца прошлого столетия, не играло тут никакой роли. Что касается до новейшего стремления современных наций к государственному социализму — стремления, которое является таким сильным опровержением либерального влияния, приписываемого Спенсером промышленному развитию, и таким формальным противоречием с его взглядами на политическую будущность — то можно ли видеть в нем случайный и скоропреходящий результат чрезмерных вооружений в Европе после франко-прусской войны? Не правильнее ли приписывать этому глубокому, непобедимому, представляющему все признаки долговечности, движению не случайную внешнюю, а постоянную внутреннюю причину, которая тесно связывает прогресс современного государства с успехами самой индустрии и демократии?¹

Эта причина — все более и более распространяющаяся привычка брать пример в настоящем, подле себя, вместо того, чтобы искать его только в прошлом, позади себя. Замечательно, что с тех пор, как водворилась эта привычка, — и мир, и война ведут к крайней централизации и объединению, к распространению демократического государства вширь и вглубь; так же как в эпоху господства противоположной привычки мир и война, осады замков и труды корпораций стремились к поддержке феодального раздробления. Почему? Потому, что внешнее подражание создает однообразие идей и вкусов, привычек и потребностей, которое в свою очередь делает возможным, а потом и необходимым не только слияние ассимилировавшихся народов, но и

¹ Даже в Соединенных Штатах, несмотря на миролюбивый характер американского народа, замечается общее стремление к централизации. В мартовской книжке *Political Science quarterly*, американского журнала, издаваемого в Бостоне, г. Бёрджесс старается доказать, по словам *Journal des économistes* (июль 1886), что «в настоящее время происходит внутренняя работа, стремящаяся уменьшить значение Штатов, превратив их в провинции или департаменты и увеличив значение Союза. Впрочем, как доказывает автор, Союз и всегда первенствовал над Штатами». — См. также об этом предмете интересную и поучительную книгу Claudio Jannet *Etats-Unis contemporains* (4 изд. 1888).

уравнение прав и условий, т. е. юридическое сходство граждан каждого народа, сделавшихся сходными в стольких других отношениях. Потому, что это однообразие делает кроме того возможной, а потом и необходимой обширную индустрию, производство посредством машин, а также и обширную войну, истребление посредством машин. И наконец — потому, что это самое однообразие, из которого следует, что все люди равны, необходимо заставляет относиться к ним как к подобным единицам, пересчитывать их воли путем общего голосования, их действия путем статистики, и гнуть их всех под ярмо одинаковой дисциплины, поддерживаемой тоже машинами, известными под именем «управление и канцелярия». Если что играет при этом существенную, истинно причинную роль — так это усиление внешних сношений между сословиями и между народами. Справедливость этого положения доказывается тем, что социальная трансформация, о которой идет речь, возникла тотчас же после новейших изобретений в области прессы, передвижения и корреспонденции, и развивается параллельно с этими изобретениями; а там, где она еще не началась, достаточно провести железные дороги и поставить телеграфные столбы, чтобы вызвать ее к жизни. Если американская демократия представляет в замечательной степени черты, которые Токвиль считает характерными для всех вообще демократий и в частности для европейских, если эти последние нашли в ней уже готовый образец, — так это потому, что Северная Америка опередила Европу в широком и смелом употреблении новых способов передвижения — пароходов и железных дорог; это потому, что нигде не путешествуют так много и так быстро, не рассылают столько писем и телеграмм.

Кроме того, нельзя ли предположить, что с течением времени наши демократии, упрочившись наконец, уклонятся во многих чертах от картины, рисуемой Токвилем? Точно ли демократия неизбежно ведет к владычеству того, что я назвал модой? Правда ли поэтому, что обычай и мнение всегда останутся в ней столь же непостоянными, сколько однообразными и тираническими; большинство — столь же недалеким и капризным, сколько всемогущим? Я не вижу никакого основания для такого предположения. Общественный организм есть во всяком случае живой организм, порождаемый воспроизведением и для воспроизведения. Он стремится продолжить свою социальную форму и не находит лучшего средства для этого, как связать ее со своей жизненной формой и передать вместе со своею кровью. Всякая цивилизация, исчерпавшая свое назначение, — Египет, Китай, Римская империя — представляет зрелище более или менее обширного общества, которое, *обратившись* как бы вследствие какой-то благотворительной эпидемии в совокупность учреждений и идей, замы-

кается и сохраняется в этой форме в течение веков вследствие почтения потомков к предкам. Я уже говорил о Китае. В римской империи, в последние века ее существования, мы находим общество, довольно аристократическое, но весьма однородное и в то же время весьма устойчивое, рутинное и управляемое весьма централизованной администрацией. Древний Египет, до известной степени демократический, не менее поражает своим однообразием от одного конца Нильского бассейна до другого, своей административной централизацией и своей чудовищной неподвижностью. Все эти примеры и все эти основания заставляют нас думать, что и современное общество, само того не сознавая, стремится, пережив состояние подвижности, благоприятное для развития индивидуума (как волнение придает кораблю вид свободы) — перейти в состояние неподвижного обычая, которым закончится современная работа всеобщего объединения. У Токвиля эта мысль проскальзывает в виде предчувствия в конце его книги. Демократическое государство — говорит он — не только не благоприятствует переворотам, но, раз укоренившись, становится их врагом; «я предвижу — прибавляет он — такое политическое состояние, которое, соединившись с равенством, сделает общество устойчивее, чем оно когда-либо было на нашем Западе»¹.

¹ Внимательно перечитывая Токвиля, можно заметить, что он постоянно подходит к принципу подражания, хотя и не формулирует его, а только перечисляет его последствия. Но если бы он выразил его отчетливо и поставил исходным пунктом своих дедукций, то, я думаю, это избавило бы его от многих ошибок и противоречий в подробностях... Он очень метко замечает: «Нет общества, которое могло бы процветать — даже просто существовать — без одинаковых верований, потому что без общих идей нет и общего действия, а без общего действия могут существовать люди, но не общественное тело». В сущности это значит, что истинные социальные отношения заключаются в подражании друг другу, так как сходство идей, — я подразумеваю идеи, необходимые для общества, — есть сходство приобретенное, и никогда не бывает прирожденным. Равенством объясняет он всемогущество большинства, эту страшную проблему будущего, и необыкновенную силу общественного мнения в демократических государствах, «огромное давление», оказываемое умом всех на ум каждого. С другой стороны он объясняет равенство сходством, причем первое есть в сущности только форма второго. «Только в том случае, когда люди сколько-нибудь походят друг на друга, — говорит он — они признают за собою одинаковые права». Что прибавить к этому? Только одно слово, но слово необходимое: именно, что это сходство, отнюдь не прирожденное, явилось результатом подражания. Стало быть, подражание есть собственно социальное действие, из которого все вытекает.

«В демократические эпохи — говорит он далее — крайняя подвижность и нетерпеливые желания людей заставляют их беспрестанно переменять место, вследствие чего обитатели различных стран сталкиваются, видят друг друга, слушают друг друга и заимствуют друг у друга. Поэтому не только члены одной и той же нации, но и различные нации начинают походить друг на друга». Нельзя лучше очертить под именем демократической революции действие подражания-моды. Он дает остроумное — и как мне кажется, основательное — объяснение склонности демократий к общим и абстрактным идеям, которые часто заставляют их упускать из вида живую действительность: люди, сделавшись гораздо более похожими друг на друга, легче представляют себя в массе, в целом, и привыкают на

IV

Законодательство

Вышеизложенные рассуждения, относящиеся к правительству, могут быть приложены и к законодательству. Законодательство, подобно политической и военной конституции, есть только особенная форма развития религии. В самом деле, закон представляет в начале такую же священную вещь, как и корона; в древнейших сборниках законов — Второзаконии, ирландских кодексах древних Брегонов, в законах Ману мы встречаем примесь легендарных рассказов, космогонических повествований. Отсюда видно, что пророк, создающий догматы и обоготворяемый после смерти, есть в то же время законодатель, который повелевает, и царь, который управляет. В начале истории, отец семейства, а также предводитель шайки, соединяет в себе все эти функции. Главная его роль — роль первосвященника, в качестве такового он же и начальник, и судья. Он начальник, поскольку направляет коллективное действие группы на защиту общего интереса всех ее членов; судья, поскольку решает своим авторитетом ссоры, возникающие между последними. Если он последователен в своих решениях, если, как сказали бы наши законоведы, у него есть известное судопроизводство, то этим самым он и предупреждает ссоры. Является закон, т. е. воспоминание о прежних судебных решениях, которое дает возможность предвидеть и будущее. Таким образом законодательство в начале, — да в сущности и во все времена — есть только накопленное, обобщенное, капитализованное правосудие; также как государственное устройство — накопленная, обобщенная, систематизированная политика. Законодательство по отношению к правосудию и конституция по отношению к политике — то же, что Женевское озеро по отношению к Роне.

В общем, между обычным правом, завещанным традицией, и законодательным правом, явившимся в силу новаторской моды, — такое же различие, как между первичным и рациональным государственным строем, замкнутыми и прозелитическими религиями, или даже местными наречиями и языком образованного общества. Местные наречия, местные культы, первичные правительственные системы,

все смотреть таким образом. То же действие подражания. — Я выбираю эти цитаты среди тысяч подобных же. — Он пишет также: «Если значительное число граждан остается под властью одного правительства, то это происходит не столько вследствие сознательного решения жить в союзе, сколько вследствие инстинктивного и до некоторой степени произвольного соглашения — вследствие сходства чувств и одинаковости мнений».

обычаи — стремятся к передаче из рода в род; выработанные языки, прозелитические религии, сочиненные конституции, новые кодексы — к распространению шаг за шагом сначала в пределах страны, потом и за границей. Это не мешает самому распространенному языку являться вначале таким же местным наречием, как и все другие; самой распространенной религии — происходить из узкой секты; самой победоносной или честолюбивой конституции — создаваться по примеру маленького местного правительства, вроде Спарты, которой так восхищались наши члены конвента, или, во всяком случае, по примеру традиционного правительства, как английское, которым и теперь так восхищаются наши парламентаристы; это не мешает наконец самому заразительному законодательству, каково Римское право, или его «ублюдок» — современное Французское право, иметь свои источники или свои источники в скромных обычаях, как *Jus quiritium* или законы франков. Далее, это не мешает самым распространенным языкам, религиям, конституциям, законодательствам сосредоточиваться после распространения, локализоваться после рассеяния, и в свою очередь превращаться в местное наречие, местный культ, обособленную конституцию, обычай — только в большем масштабе и при большей степени сложности. Итак, повторяю, перед нами являются три главные фазы, и их характеристика с законодательной точки зрения так же проста, как во всех других отношениях. В первой фазе — право распадается на множество форм, крайне устойчивых, крайне различных в разных странах, но одинаковых в разные эпохи; во второй, напротив, оно очень однообразно и очень изменчиво, как например в современной Европе; наконец в третьей — оно пытается примирить приобретенное однообразие со вновь найденным постоянством. Вот какой ритм представляет нам история права: и мы сейчас увидим это из нижеследующего коротенького очерка.

Было время, когда каждая семья или псевдосемья имела свои законы, потом — каждый клан или каждая триба, потом — каждый город, потом — каждая провинция. Чтобы понять, каким образом совершались эти последовательные шаги к будущему законодательному единству, посмотрим, каким образом провинциальное право превратилось в национальное. В течение долгого времени каждая провинция Франции имела свой особенный обычай, над которым однако все более и более брал верх свод королевских ордонансов. Конечно, каждый парламент или каждый трибунал объяснял новые законы по своему и создавал свою собственную юриспруденцию, вследствие чего законодательство возвращалось к первоначальному провинциальному характеру и, казалось, не могло отрешиться от него в эту эпоху, когда еще господствовало наследственное подражание. Но после того,

как оно было окончательно истреблено заразительным подражанием, стремлением брать пример в законодательных и судебных новшествах Парижа, законы, созданные парижскими деятелями в эпоху революции и империи, без труда покорили французские провинции, переставшие теперь преклоняться перед авторитетом своих предков и своих местных юристов. Мало того, судопроизводство каждого трибунала, каждой палаты сформировалось (скажут, пожалуй, — насильственно; но почему? — разве в том смысле, что необходимость территориального конформизма сделалась настоятельной) по образцу парижского судопроизводства в кассационной палате. Прибавим, что эта национальная юриспруденция, установившаяся таким образом вследствие моды, уже стремится принять прочную форму традиции и сделать законодательство неподвижным.

Между тем как совершается это движение, начинает обнаруживаться еще более величественное изменение. Та же причина, которая сделала необходимым сначала перевес национального права над провинциальным, а потом замену последних первым, побуждает различные национальные права формироваться по одному образцу и готовить законодательное единство будущего. В XVI столетии — вулканическом периоде, эпохе новаторской заразы — Римское право, возродившееся из своих рассеянных остатков, распространилось по всем государствам в то время, как в каждом из них прогресс королевской власти объединял законодательство. Вчера — кодекс Наполеона I распространился за границами французской империи. Сегодня — распространяется нечто новое, пока еще в мало заметной и несовершенной форме; я говорю об *акте Торренса*. Эта крайне удобная процедура, так существенно облегчающая все вопросы права, относящиеся к продаже недвижимой собственности и ипотеке, правда еще не могла проникнуть в старые страны — Англию и Францию; но зато с необыкновенной быстротой распространилась во всех новых землях, в английских и других колониях. Этот быстрый успех доказывает возможность радикально изменить и упростить целые главы наших законодательств путем серьезного усилия юридической изобретательности — смелой, подкрепляемой сильным потоком свободного подражания. Видя, что среди современных европейцев находят-ся люди достаточно предприимчивые, чтобы соперничать с автором этой плодотворной идеи, мы можем заключить, что источник большинства процессов иссякнет для наших потомков.

Но если верно, что только расположение современной публики к свободному заимствованию извне могло сделать возможным распространение *акта Торренса* и французских кодексов, то не должны ли мы считать вероятным, что и в прежние времена, когда одно и то

же провинциальное право распространялось в целой группе городов, одно и то же городское право — в целой группе триб, и т. д. — подобное же стремление проявлялось среди публики того времени, и что без него не могло бы осуществиться ни одно из этих постепенных расширений юридической области? В XII и XIII столетиях многие города Франции и Германии, управлявшиеся ранее весьма различными обычаями, представляют относительное сходство в законодательстве: мы знаем, что во Франции это однообразие установилось вследствие подражательного распространения первой общинной хартии, которая понравилась тогдашней публике; мы знаем также, что эта мысль о подражании друг другу явилась в городах, уже связанных разнообразными отношениями торговли или союза, языка или родства. Обычай Лорриса, например, очень быстро распространился в королевских владениях и Шампани. В Германии происходило тоже самое. «Почти все муниципальные законы рейнских городов находятся в связи с законами Кельна», говорит Шульте в своей классической книге об истории германского права. Рейнские города жили общей жизнью благодаря непрерывному потоку взаимного подражания, который поддерживал и символизировал течение этой реки. «Право Любека — говорит тот же автор — послужило образцом для права Гольштейна, Шлезвига и большей части прибалтийских городов». Магдебургское право также копировалось и развивалось в Гальте, Лейпциге, Бреславле и других «городах-братьях», а из Бреславля распространилось в Богемию, Польшу, Моравию, так что сделалось почти общим для всего Востока. Несомненно также, что распространившись благодаря моде, с некоторыми изменениями, под каким-нибудь новым именем, хартия, муниципальный закон вскоре превращались в обычай, дорогой сердцу подчинившихся ему людей.

Проникнувшись этой мыслью, мы не станем делить право на древнее и новое, создавать между ними искусственную пропасть и предполагать, что *поворот* от одного к другому, насколько он реален, совершился в истории только однажды. Выдающийся мыслитель, так глубоко исследовавший право прошлых времен, Семнер Мэн, не избежал этой иллюзии. По его мнению, великий, капитальный переворот совершился в праве, когда идея семейного родства заменилась идеей территориального сожителства, послужившего основанием для политического и юридического единства. В этом мнении много справедливого, но если мы захотим точно формулировать его, то увидим, что его следует выразить в других терминах и что оно выиграет от этого. Несомненно, что семья в течение долгого времени была тесной областью, в пределах которой замыкались все нравственные обязательства, тогда как весь остальной мир считался только охотничьей территорией

ей. Отсюда вытекало право верховного суда, которым пользовался в своем доме отец семейства античного мира; как известно, он мог осудить на смерть свою жену, своих рабов, своих детей. Но что представляет из себя эта герметически замкнутая семейная жизнь, как не полное презрение ко всякому внешнему примеру? Понятно, что такую исключительность было трудно поддерживать; мало-помалу домашние преграды разрушались и к отеческим традициям присоединялись внешние влияния. В эту-то эпоху, когда различные семьи вступают на путь взаимного подражания, отношения соседства начинают соперничать с отношениями родства, создавая правовые связи. Но так как единственным признанным типом солидарности была кровная связь, то и дружеским отношениям придается фиктивный вид родства путем усыновления или иным способом. В связи с усыновлением находится позднейший обычай духовного родства в христианских странах, отношение крестного отца к крестнику с вытекающими из них правами и обязанностями, отношение кормильца к питомцу (ирландское *fostéragé*), наконец отношение духовного кормильца, т. е. наставника, к ученику. В Ирландии, например, наставник пользуется правом наследства после ученика. В той же стране, опять таки по словам Семнера Мэна, сама церковная организация, совокупность монастырей и епископств, походит на настоящую трибу. Быть может вследствие подобной же фикции во всех мужских и женских монастырях употребляются выражения: отец, брат, мать, сестра, несмотря на обязательное безбрачие монахов и монахинь. Но мало-помалу, по мере того как люди, не связанные узами родства, сближались и ассимилировались, фикции, подобные предыдущим, становились невозможными, и в конце концов простого факта обитания в одной и той же стране оказалось достаточно для установления юридической связи между людьми. Почему? Потому что в огромном большинстве случаев соплеменники сделались похожими друг на друга вследствие привычки ко взаимному подражанию. Когда, в исключительных случаях, среди них выявлялась группа людей, значительно отличавшихся от остальных, как евреи в средние века, или негры в Америке, или мавры в Испании при Филиппе II, или католики в протестантских странах, протестанты — в католических в XVI в., их устранили от участия в общем праве или, если и допускали, то лишь с большим трудом, несмотря на общность территории. До такой степени верно, что истинная основа и первое условие права есть известное предварительное сходство людей. Сначала стремились к установлению родственной связи, потому что она одна давала представление об известной степени сходства: в настоящее же время для такого представления достаточно общности территории. Кроме того, территориальная связь стремится

к усилению путем соединения с родственной. Представители наций даже наиболее современных, в которых различные расы успели уже слиться вследствие продолжительного подчинения одним и тем же законам, убеждены, что они происходят от одних и тех же предков, и территориальный по внешности характер их права маскирует эту веру в общее происхождение. В числе условий национального объединения Сили по справедливости ставит на первом месте «общность расы или, вернее *веру в эту общность*». В новейшие, как и в самые древние, времена, важно не столько реальное, сколько фиктивное или только считающееся реальным родство. Итак, капитальный юридический переворот, о котором говорит Семнер Мэн, происходил не один раз, но очень часто, благодаря действию подражания-моды. Характеризовать его в терминах этого автора значит допускать, что в этом преобразовании действовали причины физиологические или физические (воспроизведение или климат и почва), тогда как на самом деле оно целиком зависит от силы существенно социологической — подражания.

Правда, во всем предыдущем изложении подражание высшему смешивается с подражанием современному новатору. Но есть случаи, в которых это последнее обособляется в юридической области так же, как и во всякой другой. История уголовного права представляет в этом отношении несколько поразительных примеров. Я ограничусь здесь простым указанием на эти примеры, так как говорил о них подробнее в другом сочинении¹. С изумлением видишь, как быстро в известные эпохи распространяются уголовные процедуры — отвратительные и нелепые, как пытка, или недействительные, как суд присяжных. Пытка вошла в моду в Европе после болонского восстановления римского права; и до XVI столетия она распространяется, как какое-то кровавое наводнение. В XVIII столетии все начинают возторгаться судом присяжных, не зная его, со слов нескольких англо-манов; до такой степени, что все наказания Генеральных Штатов 1789 г. представляют полное единодушие в этом отношении, как и во многих других. Известно далее, до какой степени слепое уважение к этому распространилось в наш век просвещения и равенства. На основании этих двух примеров нельзя ли заключить, что и процедура, предшествовавшая пытке — судебный поединок — распространилась вследствие подобного же увлечения?

Как бы то ни было, должно заметить, что эти странные моды быстро превращались в обычаи, дорогие сердцу населения. В настоящее время суд присяжных — национальное учреждение во Франции,

¹ Philosophie pénale. Storck, édit. 1890.

и затрагивать его не позволяется. В XVII столетии попытка пользоваться таким же почетом. Много раз Генеральные Штаты, даже Штаты 1614 г., высказываются не только за сохранение, но и за расширение этого способа доказательств, свидетельствуя этим о его укоренившейся популярности.

Спешим прибавить, что модные поветрия редко приводят к таким печальным последствиям, и что являясь вообще только вспомогательным средством подражания высшему и социальной логике, они обыкновенно содействуют прогрессу законодательства. То же можно сказать о новых обычаях, являющихся вслед за этими кризисами. Посмотрим же, какие признаки приобретает законодательство, когда стремится сначала к распространению, потом к утверждению на более обширной площади, и каковы последствия этого распространения и утверждения.

Вообще эти признаки следующие: для распространяющегося права — большее богатство содержания, большая простота форм и более значительная доля участия, отводимая контрактам, взаимным обязательствам, справедливости, человечности, индивидуальному рассудку; для права, которое утверждается и кодифицируется, — вид ученой казуистики и деспотическая регламентация, присоединяющиеся к только что упомянутым качествам. Римское право, в том виде, как оно сформулировалось самопроизвольно под влиянием *Jus gentium* и преторских смягчений, и в том виде, как оно кодифицировалось и установилось в эпоху Империи, — представляет нам замечательный пример этой двойственности типа. Всюду, где оно распространялось, благодаря юристам, его принимали как саму справедливость и логику, — от этого и зависит отчасти вытеснение им почти всех других законодательств древности и средних веков; всюду, где оно утвердилось, оно служило могущественным орудием в руках деспотов. Заметим по этому поводу, что хотя часто противопоставляют равенство — привилегии, и правосудие — обычаю, но равенство, привилегия, правосудие и обычаи имеют одно и то же происхождение. Обычай кажется справедливым первобытным людям, потому что, дарует ли он привилегию индивиду или возлагает на него жертву, он третирует его также, как единственных лиц, с которыми тот себя сравнивает, т. е. его предков или членов его касты. Таким образом его потребность сходства, равенства в обращении удовлетворена, несмотря на юридические различия и неравенство, которые обычай устанавливает между людьми, уже не различающимися во всех других отношениях. Но когда индивид заботится о юридическом сходстве не столько с предками и родственниками, сколько с соплеменниками и с современниками вообще, — потому что сходство его с последними уже достигло зна-

чительной степени во многих других отношениях, — он требует той формы одинакового обращения, которая называется справедливостью или равенством. И тогда ему безразлично, обращаются ли с ним так же, как обращались с его предками, лишь бы не было разницы в обращении с ним и с его соседями.

Различие между поземельной собственностью и движимым имуществом, которые, как кажется, попеременно господствуют в обществе, связано до известной степени с различием между подражанием-обычаем и подражанием-модой. Замечательно, что в эпохи господства традиций и обычаев, наследство, передаваемое от предков — земли, дома, должности, заводы — считается, и совершенно основательно, важнейшей частью состояния; то, что индивид может приобрести в течение своей эфемерной жизни, своей незначительной частной деятельностью, торговлей, личной или заимствованной у современников инициативой, прибавляет вообще лишь немного к этому наследственному фонду, результату сбережений, скопленных путем эксплуатации древних изобретений, земледельческих, финансовых, промышленных, художественных и других. В такие эпохи естественно рассматривать *патримонию*, как самую священную собственность, достойную сохранения во всей неприкосновенности путем охранительных законов, права *выкупа родового имени*, назначения наследников, религиозного почтения к воле завещателя. Привычка подражать отцам, искать примера позади себя приучает повиноваться предкам, ставить, их волю выше всего. Напротив, когда господствует подражание современникам, т. е. когда эти последние отличаются изобретательностью, которая временно заставляет побледнеть изобретения предков, легкость обогащения путем эксплуатации современных новшеств все более и более заставляет смотреть на патримонию, как на простую вспомогательную сумму для начала дела, первый фонд торговли, который вскоре должен исчезнуть или удесятериться путем спекуляции, труда, смелых предприятий. Вследствие этого, наследование теряет свой престиж, а приобретение получает большую привлекательность и благородство. В деле собственности наиболее почтенным кажется то, что приобретено личным трудом, разумным применением новых промышленных, земледельческих и т. п. идей. В настоящее время мы видим это во Франции и повсюду. Неудивительно, что теперь почти всюду толкуют, — по моему мнению несправедливо, — об уничтожении старых законов о наследстве, об ограничении или уничтожении права завещания, об основании права собственности исключительно на личном труде.

Как мы видим, влияние подражания-моды и *здесь, как во всех других случаях*, сказывается в смысле развития индивидуализма.

Заметим в скобках, что эта противоположность земледельческой собственности и движимого имущества лежит в основе противоположности между юридической и экономической точкой зрения. Напомним, что *политическая экономия возникла* — в Греции, во Флоренции, в Англии XVIII в. — *в эпохи моды*.

Последствия, которые влечет за собой прогресс распространения, а позднее укоренения права, бывают разного рода, потому что законодательство имеет отношение ко всем направлениям, какие может принять внутри нации *индивидуальная* деятельность; а эти направления гораздо многочисленнее тех, которые принимает *коллективная* деятельность под управлением правительственной конституции. Все, что представители нации могут сделать *en masse*, заключается в военном или дипломатическом воздействии на другие государства или во внутренней политической реформе — проявлениях могущества, славы или национальной свободы. Сама политическая реформа есть не что иное, как законодательная переделка, касающаяся действий и интересов частной жизни, индивидуальных прав и обязанностей. Но действия, совершаемые индивидами *отдельно*, бесчисленны: всевозможные занятия — сельские и городские; работы земледельческие и промышленные; всякого рода преступления, все столкновения и соглашения интересов. При этом нужно различать деятельность противную законам и согласную с ними. Деятельность противная законам, которую законодательство должно предвидеть, чтобы подавлять ее, есть совокупность фактов, ведущих к гражданским или уголовным процессам, так как и первые предполагают нарушение права одним из тяжущихся только вследствие ошибки, а не злой воли. Деятельность согласная с законами — это, во-первых, совокупность трудов гражданского или уголовного правосудия, охранение мира и безопасности — особый вид индустрии; во-вторых, мирные и законные занятия всеми профессиями, производство различных богатств, индустрия в собственном смысле слова. Что касается правосудия, то однообразие законодательства, сменившее прежнее разнообразие, приводит к централизации, регулированию, механизированию, если можно так выразиться, функций трибуналов, к расширению судопроизводства; а упрочнение законодательства освящает и укрепляет расширившееся судопроизводство. Это в особенности справедливо относительно гражданского правосудия, но и уголовное возмездие претерпевает подобные же изменения. Карательные меры, установленные обычаем, рутинные, избобилующие столь же жестокими, сколько нелепыми наказаниями, сменяются рациональной и методической ответственностью, правда осуществляющейся очень медленно, но уже приведшей к замечательному контрасту между исправительными домами наших

дней и прежними тюрьмами. С каждым революционным приступом моды, в каком бы то ни было разряде фактов, вводится в наши общества большая доза разума (*raison*), с каждым возвратом к обычаю — большая доза благоразумия (*sagesse*). Что касается промышленности, то однообразное законодательство, установившееся на месте прежнего законодательного раздробления, есть условие *sine qua non* всякого производства *en grand*, при помощи машин и ассоциации капиталов, идет ли дело о железных дорогах, заводах или крупных хозяйствах; поэтому оно одно делает возможным цветущее благосостояние; и только устойчивое законодательство делает это благосостояние прочным. Но так как промышленное развитие еще более зависит от изменений привычек и потребностей, этих основных и всегда подразумеваемых законов, чем от собственно так называемого закона, — то дальнейшие соображения на эту тему мы отложим до следующего отдела. Впрочем, в числе различных отраслей промышленности есть одна — земледелие, которая более непосредственно зависит от законодательства. В самом деле, известно, какую помеху встречает прогрессивное земледелие, пользующееся машинами и располагающее обширными рынками, во множестве обычаев, имеющих силу закона и относящихся к сервитутам, пожизненным пользованиям, различным формам собственности, залогам, наследству, продаже, аренде, давности и пр. Когда вследствие произвольного или обязательного, но заразительного принятия общего свода законов, изданных какой-нибудь палатой или столицей, пользующейся престижем, или современной знаменитостью, — эти преграды уничтожаются, тогда только является возможность для развития крупной земледельческой промышленности.

Обычаи и потребности

(Политическая экономия)

Нет правительства более мелочного и деспотичного, нет законодательства, строже соблюдаемого и более сурового, чем обычаи. Под этим словом я разумею бесчисленное множество воспринятых старых или новых привычек, которыми регламентируется частная жизнь не сверху и отвлеченно, как регламентирует ее закон, а непосредственно и во всех частностях, и которые обнимают собой все искусственные потребности, все симпатии и антипатии, особенности нравов и обращения, свойственные в данное время той или другой стране. Удовлетворить совокупности этих особенных потребностей и стремится промышленность, избирая обусловленные ими формы и применяясь к законам, более или менее плохо сформулированным политической экономией. В этом смысле обычаи, подобно правитель-

ству и законодательству, находится в связи с религией; он является отпрыском обрядности. Кто бы мог, например, подумать, что обычай писать слева направо имеет религиозное происхождение? А между тем это совершенно верно. Греки, по примеру финикийян, первоначально писали справа налево; но позднее они изменили этот обычай, подражая примеру своих жрецов, писавших предсказания в обратном направлении, потому что признавали правую сторону хорошей: жрец, совершая жертвоприношения и наблюдая небо, становился лицом к северу и имел, следовательно, восток по правую свою руку. «Во время молитвы — говорит Курциус — молящиеся поворачивались направо; поэтому чаша, употреблявшаяся на пирах во время жертвоприношений, шлем со жребиями, цитра, служившая для восхваления богов, передавались также в этом направлении»; вот почему и писать стали слева направо. Этого обычая придерживаемся и мы. Не курьезно ли после этого, что антропологи объясняют этот факт физиологическими причинами?.. Впрочем, даже в обществах, не пользующихся репутацией религиозности, обычай продолжает служить выражением их истинных и глубоких убеждений, рыцарских или материалистических, аристократических или демократических. Уже внешний вид стульев и ящичков XII и XVIII столетий свидетельствует о мистицизме первой эпохи и эпикуреизме второй.

В наше время в Европе, Америке и других частях света все более распространяется однообразие в постройках, пище, одежде, предметах роскоши и проявлениях вежливости. Это однообразие, которое конечно поразило бы Геродота, нас несколько не удивляет. Оно составляет факт громадной важности, потому что без него было бы немыслимо теперешнее широкое развитие промышленности, хотя с другой стороны, именно успехи промышленности и содействовали установлению этого однообразия. Путешественник, который посетил бы разные страны Европы в XII в., заметил бы, что народы, придерживающиеся одной религии, сходные по языку, законодательным постановлениям и политическим формам, едят, пьют, одеваются, строятся, наряжаются и веселятся каждый по своему¹. Если бы тот же путешественник посетил эти местности сто лет спустя, он нашел бы, что внуки во всем этом мало чем разнятся от своих предков. Напротив, современный турист, путешествующий по европейскому материку, встречает, — в особенности если он ограничивает сферу своих наблюдений столицами и высшими слоями общества, — всюду ту же кухню, те же услуги в гостиницах, то же убранство комнат, тот

же покрой платья, те же драгоценности у женщин, даже те же пьесы на театральных афишах и книги в окнах книжных магазинов. Но пусть он посетит эти местности через десять, пятнадцать лет, и он убедится, что все это изменилось: в отелях появились новые меню, мебель изготавливается в другом стиле, фантазия портных и золотых дел мастеров изобрела новые туалеты и драгоценности; модные романы, оперы и комедии заменились другими. Я уже раньше указывал на это различие, проявляющееся здесь сильнее, чем где-либо. Значит ли это, что происходящая, благодаря успехам цивилизации, правильная замена многообразия в пространстве — многообразием во времени и однообразие во времени — однообразием в пространстве является неизбежным историческим законом и совершенно непреложным порядком вещей? Нет. Но постепенный переход от географического многообразия к географическому однообразию действительно неизбежен, потому что нельзя себе представить, чтобы после установления единства в обычаях совершился бы возврат к прежнему их разнообразию. Это только возможно в случае какого-нибудь социального переворота. Но легко себе представить, что без всякого потрясения установится большее однообразие и в смысле хронологическом, т. е., что обычаи утратят свою изменчивость после периода постоянных перемен или, точнее говоря, и порывистых поисков. Постоянство привычек не противоречит общему их распространению; напротив, оно ему способствует. Столь беспокойная в наше время Европа приближается, сама этого не подозревая, к мирной пристани. Цивилизационная горячка, терзающая ее в настоящее время, не представляет собой нового или небывалого явления в истории, и мы знаем, чем в прежнее время она кончалась. Конечно, не без сильных потрясений достигли однообразия в отдаленном и туманном прошлом народы, населяющие бассейны Нила или Евфрата, Небесную Империю и Индию. Сколько местных особенностей исчезло! Они уничтожены течением, сила которого определяется грандиозными размерами совершившегося переворота. Но это течение, сделав свое дело, прекратилось, и теперь на громадных азиатских территориях мы, к нашему удивлению, встречаем не только поразительное сходство в костюмах, домашней обстановке и т. д., но и полную неподвижность древних обычаев. Эта неподвижность доходит до того, что, руководствуясь типом теперешних восточных дворцов, можно было воссоздать план древних ассирийских дворцов, развалины которых представляют картину почти полного разрушения.

Не подлежит почти сомнению, что попеременное действие этих двух родов подражательности одно могло с течением времени повлиять на постепенное исчезновение первоначальных местных обычаев. Но я должен предупредить одно возражение. Археологи, иссле-

¹ Идеи и верования распространялись, следовательно, быстрее, чем обычаи, которые утрачивали свое разнообразие только под влиянием первых.

дующие доисторические времена, находя во всех пещерах приблизительно одинаковые каменные и железные орудия и домашнюю утварь, спешат вывести отсюда заключение, что дикари не отличались друг от друга одеждой, нравами и образом жизни, и что сходство между ними в этом отношении объясняется самостоятельным возникновением среди них одних и тех же понятий и потребностей. Такое заключение в высшей степени произвольно. Логика допускает только тот вывод, что изготовление и употребление каменных орудий, глиняной посуды и пр. широко распространилось в силу подражания, хотя часто и предполагают, что в то отдаленное время подражание одного племени другому не было еще в ходу. Однако, если вспомнить, что инки — народ с весьма развитою цивилизацией — не имели никакого понятия ни о повозке, ни о колесе, ни даже об употреблении ламп или свечей, хотя в их распоряжении было большое количество маслянистых веществ, то нельзя сомневаться, что гончарное производство осталось бы неизвестным большинству диких народов, если бы оно не было занесено к ним извне. Поэтому мне кажется, что почти всемирное распространение этого производства вовсе еще не служит доказательством необходимости или, так сказать, *прирожденности* некоторых изобретений. Я признаю, что жизнь диких племен, остановившаяся на низшей ступени человеческого развития, отличается недостатком оригинальности и разнообразия, и что они во многом походят друг на друга, хотя о подражании между ними не может быть и речи. Но в этом отношении их сходство не имеет социального характера; оно, если можно так выразиться, чисто растительного свойства, потому что им известны одни только естественные потребности. Но если мы поднимемся одной ступенью выше, где семья, уже более искусственная, чем естественная, становится и желает быть обществом, а не только физиологической группой, мы увидим, что обычаи в собственном смысле этого слова, искусственные потребности возникают самостоятельно в каждой группе и становятся все разнообразнее по мере того, как они явственнее обозначаются, а число их увеличивается. Но их разнообразие и определенность продолжают развиваться среди данного племени; распространение же их на другие племена задерживается склонностью подражать народам, отличившимся на полях битв или в области открытий. Эта склонность проявляется по временам с особенной силой, и благодаря такому периодическому стремлению усваивать себе иноземные потребности, в связи с постоянным стремлением охранять прежние традиции, сперва каждое племя, затем каждый город, провинция, народ, и наконец почти весь земной шар начинает представлять в своих обычаях, нравах, как и во многих других отношениях, зрелище все возрастающего сходства наряду с увеличивающимся разнообразием.

Остановимся несколько на этом вопросе, хотя бы для того, чтобы точнее выяснить различие, о котором можно было упомянуть в прежних главах этой книги, но которое здесь удобнее охарактеризовать: различие между производством и потреблением. Каждая семья или группа в начале своей социальной жизни была, на подобие церкви или государства, мастерской или хранилищем всевозможных полезных предметов. Другими словами: она изготовляла все, что потребляла, и потребляла все, что производила в сфере ли частных и индивидуальных потребностей, в сфере ли верований или общих нужд. Это значит, что обмена, т. е. экономической солидарности между семьями не было, как не было между ними и политической или религиозной солидарности. Отдельные семьи не производили хлеба или риса, холста или сукна для других; последние, в свою очередь, не потребляли этих продуктов и взамен их не давали первым других товаров или не оказывали им каких-либо услуг, например, политических или военных. Равным образом одни семьи не обучали других и не распоряжались ими, а последние не повиновались первым, вознаграждая их за их труды какими-либо продуктами или услугами. Вот я и останавлиюсь теперь на вопросе, как потребление отделилось от производства в различных сферах, и как закон попеременного влияния двух родов подражательности применяется одновременно к развитию производительности и к спросу со стороны потребителей.

Когда семья является замкнутой мастерской, сама удовлетворяет своим нуждам, тогда приемы и способы производства, приручения животных и обработки земли передаются от отца к сыну, и подражание происходит только путем наследственной передачи. В то же время, таким же способом передаются и потребности, удовлетворяемые этой зачаточной промышленностью. Но когда семья, узнав о существовании лучших способов производства, перенимает их и отрешается от прежних, менее совершенных, то одновременно среди потребителей возникает спрос на новые продукты, всегда несколько отличающиеся от прежних; следовательно, спрос распространяется сам собой в силу моды. Наконец бывает всегда так, что после прилива промышленных нововведений, принятых совершенно свободно, в силу подражания, не подчиненного игу наследственности или традиции, возникает желание пользоваться ими в более широких размерах, и тогда образуются корпорации. Таким образом спрос на соответственные предметы потребления в конце концов упрочивается и становится привычкой¹.

¹ О наступлении такого периода свидетельствует утрата прежними профессиями своих особенностей. В этом случае люди, вместо того чтобы подражать исключительно своим хозяевам или главам профессиональных семей, к которым они принадлежат, начинают подражать представителям других профессий.

Потом все это движение опять возобновляется. С одной стороны, дореволюционные замкнутые корпорации уступают место свободной конкуренции, т. е. свободному подражанию, внешним образцам, которое неизбежно кончается возвратом к монополии в более широких размерах под названием крупных компаний или профессиональных синдикатов. С другой стороны, господство старых обычаев заменяется царством каприза и всепоглощающей моды, пока наконец не наступит предчувствуемое уже спокойное время устойчивых и однообразных потребностей.

Но здесь я должен отметить факт, по-видимому, весьма простой, но в сущности имевший важные последствия. Дело в том, что спрос развивается путем подражания гораздо скорее и легче, чем соответствующее ему производство. Когда первобытное племя видит в первый раз оружие или бронзовые украшения, оно тотчас чувствует потребность приобрести их. Но желание приступить к их выделке является гораздо позже. Тем временем оно старается приобрести эти вещи у первоначальных производителей, и вот возникает торговля. Весьма интересен факт, что в доисторическое время составные части бронзы, несмотря на крайне произвольное их сочетание, были одни и те же у семитов, кушитов и арийских народов (не у китайцев). «Факт этот, — говорит г. Ленорман, — имеет важное значение. Он доказывает, что мы тут встречаемся с одним и тем же изобретением, распространившимся от одного племени к другому в области, географические границы которой в точности определены г. Ружмоном». Это значит, что в известный доисторический период желание приобретать этот новоизобретенный металл распространилось подобно тому, как воспламеняется пороховой провод, и что племена и народы покупали его уже задолго до того, как научились его выделывать; в противном случае, состав его значительно видоизменился бы у разных народов. Этот взгляд на дело подтверждается и другими фактами, например, распространением амбры в доисторические времена на значительном расстоянии от тех мест, где ее находят. Следовательно, в прежнее время происходило то же, что происходит и теперь, когда страны с

Вольтер, например, писал в своем «Siècle de Louis XIV»: «В прежнее время различные сословия узнавались по недостаткам, их характеризовавшим. Военные и молодые люди, предназначавшие себя военной карьере, отличались вспыльчивостью; юристы — напыщенной важностью, которой немало содействовало усвоенное ими обыкновение являться в мантии даже ко двору. То же самое следует сказать о профессорах и ученых. Коммерсанты носили еще особый костюм, когда они посещали свои собрания или отправлялись к министрам, и даже крупные коммерсанты отличались грубостью. Но общественная жизнь, театры, публичные гулянья содействовали тому, что постепенно всякое внешнее различие между гражданами исчезло. Ныне даже лавочники вежливы; эта перемена отразилась также и на жителях провинций».

зарождающейся цивилизацией являются покупателями старых европейских народов: они уже заразились новыми потребностями, но еще не пытаются самостоятельно их удовлетворять. Этим между прочим объясняется столь важное по своим последствиям торговое преобладание англичан во всем мире.

Хотя это явление, как я сказал, представляется нам весьма простым, но обратное явление было бы, а priori, более понятно. Чтобы производство могло возникнуть, надо только, чтобы небольшая группа людей пожелала им заняться; между тем как для того, чтобы спрос мог вызвать к жизни соответственную отрасль промышленности, он должен распространиться среди многочисленного населения. Было бы удивительно, если бы в целом народе обнаружилась склонность носить известные материи или драгоценности, жить в домах известного типа, и если бы среди этого народа не явились лица, желающие заняться изготовлением этих материй и драгоценностей или постройкой подобных домов. Человек вообще не только склонен к подражанию, но даже проявляет в этом отношении большую пассивность. Как бы то ни было, указанный нами факт постоянно встречается в разных сферах социальной жизни. Любовь к стихам, картинам, музыке и к сцене развивалась у народов путем подражания гораздо раньше, чем склонность слагать стихи, писать картины, сочинять музыкальные или сценические произведения. Отсюда столь легкое распространение крупных литературных и артистических известностей за пределами своей национальности¹. Равным образом желание иметь мудрое и полное законодательство является у народов гораздо раньше, чем желание и умение выработать юридическую систему. Вот почему римское право распространилось среди визиготов и других варваров, а после эпохи возрождения почти во всей феодальной Европе. Точно также развитие религиозного чувства предшествует творчеству в области религиозной или философской. Этим объясняется тот факт, что молодые или старческие народы так быстро принимают новую религию. То же наблюдается по отношению к боевой славе и патриотизму: народы проникаются ими раньше, чем среди них появляется военный или государственный гений, делающий честь их оружию или доставляющий славу их отечеству. Это обстоятельство благоприятствует стремлению знаменитых завоевателей присоединять обшир-

¹ В своем весьма интересном сочинении «Международная политика» г. Новиков по-видимому полагает, что для того, чтобы удостоиться названия нации, народ должен иметь собственных писателей и художников. Мне кажется, что это мнение ошибочно. Ведь в таком случае пришлось бы допустить, что пока Европа пробавлялась главным образом произведениями греческой и латинской литературы, в ней не было ни французской, ни немецкой, ни английской национальностей.

ные территории, как, например, при образовании римской империи. Наконец, вступая в сношения с иностранцами, народы ощущают потребность говорить на богатом и разработанном языке, хотя у них еще нет ни желания, ни умения достигнуть других культурных успехов, без которых язык не может обогатиться и усовершенствоваться. То же самое можно сказать и о низших общественных классах, которые, приходя в общение с образованными классами, прежде всего заимствуют выработанный в придворной и салонной жизни язык, хотя они еще и не думают вводить у себя формы светской жизни. Этим объясняется быстрое распространение какого-нибудь языка в другой стране, как например, греческого в Турции, или английского в северной Америке и во всем свете, или наречия Иль-де-Франса почти во всей Франции¹.

Сделанный нами вывод, что потребность потреблять предшествует потребности производить вытекает также из подражания *ab interioribus ad exteriora*, т. е. от внутреннего желания к внешнему его проявлению, которым служит в данном случае производство, осуществляющее мысль и желание потребителя. Эта мысль и желание составляют скрытую *сущность*; предмет потребления — *форму*. Мы уже знаем, что в переходные эпохи форма всегда запаздывает. Очень верно, например, г. Гюйо замечает, что «политическая революция первой половины текущего столетия (во Франции) совершилась сначала в идее, а потом уже на деле: философия, религиозные, социальные мысли, до тех пор неизвестные поэтам, вдруг сменяют мирные александрийские стихи Делиля». Переворот, совершенный романтиками в стихосложении, был не чем иным, как новым родом литературного производства в применении к новым поэтическим требованиям. Не напоминает ли это бессилие новаторов в области идей и чувств немедленно приискать подходящие размеры, образы и формы, неспособность стран, только что познакомившихся с роскошью и комфортом, создать отрасли промышленности для удовлетворения вновь народившихся потребностей?

Ни одно социальное явление не имело столь важных последствий, как то, о котором я говорю. Оно, как мы видели, в сильной степени способствовало падению национальных преград перед потоком цивилизаторских новшеств. Таким образом возникла международная торговля. Предположим, что потребность производить новый предмет, появившийся за границей, предшествовала бы или появилась бы

одновременно с потребностью им пользоваться. В таком случае первобытные семьи только перенимали бы друг у друга, но не вступали бы во взаимное общение, оставались бы, после всякого нового заимствования, подобно монахам Лейбница, друг другу чуждыми, если не враждебными. Но в то же время совершенно верно, что эта разнородность в связи со сходством, это раздробление в связи с однообразием составляют своего рода противоречие и не могут бесконечно продолжаться. Таким образом пассивность человека в деле подражания способствовала увеличению коммерческих, политических, духовных сношений между человеческими группами и подготовила их слияние. Когда после продолжительной пассивности подражание становится наконец активным, и народ, долго выписывавший из заграницы книги, картины, предметы роскоши, государственных людей и законодателей, задумывает создать собственную литературу, искусство, дипломатию и пр., то его попытки по большей части оказываются неудачными; если же они и имеют некоторый успех, благодаря высоким таможенным пошлинам и другим покровительственным мерам, направленным к восстановлению прежней обособленности, то укоренившаяся привычка бывает так сильна, что рано или поздно восстанавливаются к общей выгоде прежние сношения.

Действительно, когда после долгого периода застоя обнаружится во всей силе потребность в новых предметах потребления и в новых отраслях производства, то она не ограничивается простым и точным воспроизведением литературы, искусства, стратегических приемов и промышленности той нации, которая до тех пор наводняла страну своими произведениями. Нет, в ней возникает самостоятельное производство, стремящееся, и весьма часто с полным успехом, найти сбыт своим произведениям среди прежних своих поставщиков. Вот почему в предыдущих главах я указывал на широкое распространение *одного* языка, *одной* религии, *одного* законодательства, как на первое и предварительное условие развития *выдающейся* литературы, цивилизации и политики. Теперь мне не трудно будет выяснить, что первым и предварительным условием развития крупной промышленности, значительного благосостояния, а также искусства, является широкое распространение однородных потребностей и вкусов или индивидуальных *обычаев*.

Здесь, как и выше, следует различать влияние, которое оказывает на характер промышленности переход от обычая к моде, затем обратно от моды к распространившемуся обычаю.

В такое время, когда обычай предписывает каждой местности особую пищу, покроем платья, мебель и пр., сохраняемые несколькими поколениями, понятно, что машинное производство, если бы даже

¹ Пятнадцатилетний или восемнадцатилетний ребенок, не умеющий еще лепетать, уже понимает речь матери. По Гузо, некоторые животные, каковы обезьяны и собаки, улавливают мысли своих хозяев. Таким образом и они «потребляют» язык раньше, чем «производят» его.

оно было известно, оказалось бы бесцельным. Ремесленник изготавливает в такое время небольшое количество предметов, но работает основательно и прочно¹.

Позднее, когда наступает господство моды, однообразной в различных местностях, но изменяющейся из года в год, — промышленник заботится больше о количестве, чем о прочности. Один строитель торговых судов в Америке говорил Токвилю, что для него прямой расчет строить непрочные суда, в виду изменчивости вкуса на них. В эпохи господства обычая производитель добывается *внутренних* рынков, менее обширных, но устойчивых, между тем как во времена моды он дорожит изменчивыми, но обширными *внешними* рынками. По отношению к предметам, существенное свойство которых составляет прочность, каковы: строения, драгоценные вещи, мебель, переплеты, статуи и пр., возможно, что недостаток современных потребителей в эпохи обычая может до известной степени вознаграждаться перспективой постоянного нарождения клиентов в будущих поколениях. Вот почему, несмотря на крайнее разнообразие местных обычаев в средние века², эта эпоха имела великих архитекторов, замечательных золотых дел мастеров, краснодеревцев, переплетчиков, скульпторов. Но относительно производства таких предметов, которые скоро портятся, этого вознаграждения не существует. Поэтому не следует удивляться, что садоводство и даже земледелие, стеклянное, горшечное и суконное производства так мало процветали в феодальное время. И наоборот, если изменчивость вкусов во времена господства моды тормозит развитие таких производств или искусств, как архитектура и ваяние, рассчитывающие на будущие поколения, то однообразие вкусов на обширной территории, несмотря на их неустойчивость, в сильной степени содействует успеху таких эфемерных производств, каковы: бумажное производство, журналистика, ткацкая промыш-

¹ «Римское шерстяное производство, — говорит Рошер, — отличается прочностью своих фабрикатов, которым дает тон монашеское одеяние, не подчиняющееся капризам моды».

² Это еще не значит, что в средние века не было увлечений модой. «Уже в XIII веке, — говорит Чиббаро, — среди дворян установился обычай носить платье, заимствованное у более отдаленных народов, как например, у сарацинов и славян. Флорентийские женщины выписывали зеленую шелковую материю из Камбрэ. Моды на платья менялись весьма часто, особенно среди дворян и богатой буржуазии, но все-таки гораздо реже, чем теперь во всех классах и на самые разнообразные предметы». «Народный костюм, — говорит Рамбо, — мало изменялся в средние века». Это объясняется тем, что народ придерживался традиции. «Зато, — прибавляет он, — богатые классы то и дело изменяли покрой своего платья». Значит, они подчинялись моде. Во все эпохи, как в древности, так и в средние века, царство моды совпадает с периодом блестящего расцвета цивилизации. «Персы, — говорит Геродот, — чрезвычайно склонны заимствовать костюмы у мидян, и во время войны носят латы по примеру египтян... От греков они переняли любовь к мальчикам».

ленность, садоводство и пр. Верно и то, что если бы наряду с этим установившимся однообразием обычаев водворилась опять и прежняя их устойчивость, то наступил бы период необычайного процветания промышленности. Его можно уже предвидеть. Китай, например, уже много веков тому назад достиг такого процветания. Известно, как поразительно богата эта страна в промышленном отношении, несмотря на почти полное отсутствие в ней новых изобретений.

Преувеличил ли я во всем вышеизложенном роль подражания? Не думаю. Замечательно, что при возникновении в стране крупной промышленности внимание ее обращается прежде всего на предметы роскоши, драгоценные вещи, обои и пр., и только впоследствии распространяется и на предметы первой необходимости. Объясняется это тем, что объединение обычаев происходит сначала в высших классах, потребляющих предметы роскоши, а затем уже распространяется на народную массу. Поэтому Кольбера напрасно упрекали в том, что он поощрял производство шелковых тканей и другие аристократические отрасли промышленности. В его время только они и могли существовать. Однако Рошер, выставляющий на вид странный порядок, в каком одни формы крупной промышленности сменяются другими, как кажется, просмотрел основную причину этого явления. «В прежние времена, — говорит он, — неудобные пути сообщения, более резкое различие нравов, обычаев и привычек, равно как отсутствие машин неизбежно вызывали разбросанность промышленности». Здесь причина, которую я считаю единственной, даже не указана. Напротив, причины, приводимые Рошером, являются, по моему мнению, лишь последствиями. Так, не была ли неудовлетворительность путей сообщения, равно как и различие нравов, обычаев и привычек, последствием слишком слабого подражания иностранцам? Если бы различные страны проявляли желание покупать одни и те же товары, то возникла бы потребность иметь хорошие пути сообщения, и они были бы сооружены. Но религиозная конгрегация (*fratres pontifices*), учрежденная в средние века исключительно для сооружения дорог и мостов, напрасно проводила новые дороги¹: никто ими не пользовался, и они разрушались. Римская империя имела превосходные пути сообщения, но несмотря на толчок, данный обаянием Рима² распространению асси-

¹ См. *Jusserand. La vie nomade au moyen âge.*

² Обаяние Рима и склонность человека подражать своему победителю выразились в том поразительном факте, что странный и неудобный обычай есть лежа распространился по всей империи, по крайней мере, в высших слоях общества. Этот обычай породил новый вид роскоши, именно, различие между *спальной* и *обеденной* постелями. Кроме того, существовала особая *брачная* постель.

миляции, местные обычаи были еще слишком разнообразны, и крупная промышленность не могла развиваться¹.

Что же касается до отсутствия машин, то оно объясняется тем же. В сущности, машины, необходимые для развития крупной промышленности, существовали в зачаточном виде во всех отраслях производства, встречавшихся в Египте, Финикии, Греции, Вавилоне. Если бы они распространились путем подражания между производителями, то вероятно скоро бы усовершенствовались. Следовательно, недоставало именно склонности подражать иностранцам. Таким образом все сводится к той же причине. Первое условие для развития обширного бумажного производства заключается конечно в том, чтобы получил широкое распространение обычай писать. К тому же, машины в собственном смысле этого слова, не необходимы для крупной промышленности. Она столько же пользуется ручным трудом (мануфактура), сколько и машинным. В Риме, за отсутствием типографии, существовали целые мастерские, в которых переписывались издания Virgiliana, Горация и других классиков и это была крупная промышленность, потому что она снабжала своими произведениями всех просвещенных людей империи получивших одинаковое образование, говоривших на одном языке и имевших одинаковые литературные вкусы².

Но не забудем еще следующего обстоятельства. Для развития крупной промышленности одного существования однородных обычаев и потребностей еще недостаточно; нужно, чтобы народ с ней познакомился. В средние века, по Жюссерану, плохими дорогами того времени пользовались только короли со свитами, вельможи, богомольцы, странствующие рабочие, беглые преступники, менестрели, монахи-проповедники, продавцы реликвий или индульгенций.

¹ Впрочем, благодаря обаянию, которым пользовался Рим среди варваров, в то время существовала уже отпускная торговля. Варвары, сами того не замечая, приобретали вкус и потребности римлян, и «мало-помалу, — говорит Тьерри, — привычка к римским товарам так распространилась, что сарматы и германцы изготовляли себе одежду исключительно из материй, выписанных из соседних провинций или из самой Италии». (Tableau de l'Empire romain).

² Медленное развитие промышленности в средние века и даже в начале нового времени объясняют также бессмысленными законами против роскоши и узкой, рутинной организацией корпораций. Но это только последствие указанной мной причины. Законы против роскоши задерживали или подавляли склонность одного класса подражать другому; а корпоративная монополия препятствовала одной корпорации заимствовать приемы производства у других. Утверждают, что промышленное процветание Германии, даже до 1871 г., вызвано существованием таможенного союза, т. е. Zollverein'a. Но предположим, что все эти маленькие княжества и вольные города, составляющие ныне объединенную Германию, сохранили бы свои особые потребности. В таком случае таможенный союз, очевидно, не мог бы состояться.

Из этого перечня видно, что единственным предметом отпускной торговли в то время были индульгенции и реликвии. Что касается до менестрелей, то их искусство ценилось только в замках да при двух-трех дворах. Значит ли это, что в то время народ имел лишь одну потребность, т. е. покупать только реликвии и индульгенции?¹ Конечно, нет; но это сходство, вытекавшее из религиозной общности, было очень распространено, между тем как сходства в других отношениях еще не имели такого характера. Однако богомольцы и остальной странствующий народ способствовали распространению смутного сознания этих уже многочисленных сходств, и оно все усиливалось. В этом отношении они подготовляли промышленность будущего. Монахи-проповедники бессознательно содействовали тому же, ассимилируя умы, распространяя демократические идеи под евангельской окраской или евангельские истины под демократической окраской. Таким образом, они действовали на сердца, а это — самое верное средство для достижения и материального благосостояния. Только после пламенных проповедей Савонаролы, речей Лютера и однородных деятелей, страстных теорий французских энциклопедистов, почти все классы общества или все нации сознательно и открыто слились в одежде и образе жизни, а это дало возможность расправить крылья и крупной промышленности.

Из множества обычаев, сходство которых необходимо для развития крупной промышленности, прежде всего следует рассмотреть один, потому что помимо него ассимиляция других не может состояться. Я говорю об обычае, касающемся установления цен. Охотно допускаю, что логическое правило, — но не закон *предложения и спроса*, этот пустой кумир экономистов-догматиков, — а другое, более точное и полное, влияет на образование цен там, где они *впервые устанавливаются*. Но как только где-нибудь установлена цена путем точного расчета или вполне выяснившегося соглашения, она распространяется, в силу моды, уже далеко за пределы тех мест, где существуют условия, повлиявшие на ее установление; или же она, в силу привычки, держится на месте еще долго после того, как исчезли эти условия. Хотя устойчивость в силу привычки или распространение в силу моды представляются или должны представляться классическим экономистам злоупотреблением или нарушением их закона, несомненно, что не будь этой устойчивости или этого распространения, развитие промышленности с первых же своих шагов было бы затруднено. Могли ли существовать наши большие магазины, если

¹ Заметим мимоходом, что в то время возникла особая роскошь: в зажиточных домах появились богатые киты и божницы.

бы всякий город, куда они отправляют свои многочисленные товары, платил свою цену, а не ту, какая назначена ими для всех? А наши крупные заводы, могли ли они держаться, если бы платили рабочим постоянно одну и ту же плату, не принимая в расчет ее повышения и понижения в других местностях? С другой стороны, в прежнее время, когда ремесленник работал для будущего, так как на получение значительных выгод в настоящем не было надежды, и он, чтобы жить и обогащаться, должен был рассчитывать не на увеличение числа клиентов и прибылей, а только на их устойчивость; когда его связывали с хозяином суровые узы на долгие годы, и когда сами хозяева были еще связаны между собой постоянной ассоциацией, — какой гарантией располагал бы он тогда, если бы цены не были обеспечены на долгие годы вперед?¹ Таким образом, обусловленная обычаем прочность цен уравнивала в прежнее время их местное разнообразие, подобно тому, как теперь их изменчивость уравнивается их однообразием, пока наконец не наступит день, когда цены будут и устойчивыми, и однообразными, а крупная промышленность, вместе с тем, заручится обеспеченными и широкими рынками, которые удесятерят ее предприимчивость.

Всякая новая мода имеет стремление превратиться в обычай, но это не всегда ей удастся, подобно тому, как не всякое зерно дает росток. Однако достаточно, чтобы некоторые новые потребности или средства их удовлетворения, занесенные извне, привились в данной стране, чтобы потребление все более и более усложнялось, потому что прежние потребности не исчезают, а если и уступают место новым, то лишь после долгого сопротивления. В Европе привычка есть хлеб не исчезла после того, как привезен был азиатский рис; а в Азии привычка питаться рисом не пострадала от привоза европейского хлеба. Но кухня здесь и там усложнилась новым элементом. «Во Франции² в момент подписания торговой конвенции 1860 г. ошибочно предполагали, будто бы французские вина вытеснят в Англии пиво. Тогда надеялись, что наши вина распространятся среди английских потребителей, отказывавшихся от них, как полагали, только по причине высоких пошлин, а следовательно, значительных цен. Эта надежда не сбылась. Если французское вино и проникло в Англию, то лишь в очень ограниченной среде, и в числе его потребителей нет ни

¹ Я дозволю себе сослаться здесь на две статьи, помещенные мною в сентябрьской и октябрьской книжках журнала «Revue philosophique» 1881 г. См. преимущественно стр. 405 и след. Я коснулся этого вопроса полнее в «Revue économique» г. Жиде (в 1888 г.) в статье «Les deux sens de la valeur».

² Journal des Economistes. Февр. 1882.

рабочих, ни даже большинства лиц среднего сословия¹. Хотя в настоящее время вино получило более широкое распространение в Англии, однако нисколько не в ущерб пиву. Потребление этого напитка всегда возрастало гораздо сильнее, чем потребление иностранных вин». Следовательно, вино прибавилось к пиву в Англии, но не заменило его.

Не трудно проследить, какой характер придает промышленности господство моды. Для того, чтобы распространиться широкою волною и охватить массы, язык неизбежно должен быть правильным, логичным, а вместе с тем утратить живость, образность, поэтичность; религия должна быть рациональною и утратить свою оригинальность; правительство должно быть деятельным и лишиться доли своего обаяния; законодательство должно отличаться более разумностью и справедливостью, чем оригинальностью своих форм; наконец промышленность должна развиваться в механическом и научном отношениях и утратить свою самобытность и художественность. Словом, господство моды связано, — что может показаться весьма странным, — с господством разума и, прибавлю я, с господством индивидуализма и натурализма. Это весьма понятно, если принять во внимание, что в настоящее время подражают образцам, оторванным от почвы, на которой они создались, между тем как в прежнее время подражанием скреплялся союз наследственной солидарности между отдельной личностью и его предками. Так, не трудно будет убедиться, что характеристическими признаками всех подражательных эпох (в Афинах при Солоне, в Риме при Сципионах, во Флоренции в XV в., в Париже в XVI в. и затем в XVIII в.) является вторжение так называемого естественного права (т. е. индивидуального) в гражданское право, естественной религии в традиционную, искусства, которое я также назову естественным, т. е. верно наблюдающего и воспроизводящего индивидуальную жизнь, — в религиозное и традиционное искусство, естественной нравственности — как мы скоро увидим — в национальную нравственность. Итальянские гуманисты, Рабле и Вольтер, воплощают в себе разные стороны этого движения. Так как человеку ничто так не свойственно, как разум, и так как ничто лучше не удовлетворяет индивидуальную разума, как логика и симметрия, заменяющие сложные тайны жизни, то не следует удивляться, что в этом отношении существует связь между рационализмом, индивидуализмом и натурализмом. Господство моды во всех сферах представляется благоприятным условием для появления свободных и выдающихся личностей. Так, в сфере лингвистики являются такие личности, как

¹ Здесь опять-таки мы видим, что чем выше общественный класс, тем менее держится он старых привычек и тем более доступен общению с иностранцами.

Вожеда, и изобретатели всякого рода языков, как, например, Волапюка, могут даже рассчитывать на некоторый успех, при том условии, чтобы их язык отличался правильностью и симметричностью. В религиозной области наступает эра великих реформаторов, еретиков, философов, причем успех их обуславливается простотою и рациональностью их учений. В политике и законодательстве начинается эра основателей государств и знаменитых законодателей, совершенствующих административную и законы. В экономической области начинается период великих промышленных изобретений и усовершенствования машин. Наконец и в эстетической области являются выдающиеся художники, доводящие искусство и приемы композиции до высшего совершенства. Поэтому можно сказать, что всюду, где нарождается знаменитость, мода сделала свое дело, хотя каждая из этих знаменитостей служит впоследствии исходным пунктом нового традиционного фетишизма, исключительного и упорного, каким было и разрушенное ею прежнее идолопоклонство. Так, например, мольеристы с их рабским пристрастием к мелким традициям французской сцены невольно нам напоминают, что Мольер, их идол, был самым ярким новатором и врагом всякого рода фетишизма. Гомер, как и Мольер, жил в такое время, когда подражание было в полном ходу, когда весь архипелаг и вся Малая Азия начинали подчиняться ионическому влиянию.

Короче говоря, роль, которую играют обычай и мода в экономической сфере, вполне соответствует роли, какую играют в других социальных сферах эти два вида подражания, всегда существующие одновременно, но поочередно, то усиливаясь, то ослабевая. Это не противоречит формулированному нами общему закону. Но кроме того, мы теперь уяснили себе и причину этого закона, этой полной разных неожиданностей борьбы между обычаем и модой, которая будет продолжаться до тех пор, пока окончательно не восторжествует первый. Подражание ищет себе образцов преимущественно там, где процветают новые изобретения, следовательно, то исключительно в прошлом, если предки были более изобретательны, чем современники, то в настоящем или за границей, если современники более изобретательны, чем были предки. Это обращение то к прошлому, то к настоящему неизбежно чередуется в течение долгого времени, потому что раз новая серия изобретений открыта, ее всякий эксплуатирует, и она вскоре истощается, увеличивая собой наследие прошлого в ожидании новой; а когда последняя серия будет исчерпана, поневоле придется обращаться за примерами исключительно к предкам.

Мода и изобретательность соперничают друг с другом, но это не должно вводить нас в заблуждение относительно первенства изобретательности. Как я уже заметил, мода, раз начав действовать, конечно

возбуждает воображение изобретателей в такой степени, что получается избыток новых изобретений. Но чем вызвана мода, как не толчком, данным соседней страной, где сделаны новые плодотворные открытия? Относительно промышленности в этом теперь нельзя сомневаться, так как первоначальная причина, заставляющая европейские народы ревностно подражать друг другу, заключается в изобретении паровых машин, развивших крупное производство, и в появлении железных дорог, доставляющих его произведения в отдаленные страны. Мы не говорим уже о телеграфах. Особенно сильно проявилась современная изобретательность в промышленности и науке. Поэтому обычай ниспровергнут главным образом в сфере экономической и научной. Что же касается до искусства, то здесь напротив воображение часто было лишено творческой оригинальности, а потому традиции тут держатся упорнее. Этот второстепенный факт не лишен значения. В архитектуре мы не изобрели ничего нового, и наша эпоха рабски подражает готическим, римским и византийским образцам. Между тем как XII век проложил в архитектуре совершенно новые пути, наш век в этом отношении строго придерживался традиции, по крайней мере до того момента, когда начали широко пользоваться железом для строительных целей.

Несмотря на отчасти случайный характер изобретений, мы видим, что сами изобретатели по большей части являются подражателями, так что каждая эпоха имеет, так сказать, свой цикл изобретений в религиозном, архитектурном, скульптурном, музыкальном, философском или др. отношениях. Существуют такого рода изобретения, которые всегда или часто предшествуют другим. Например, мифология обыкновенно — но не всегда, как утверждает Конт — предшествовала метафизике. Не подлежит сомнению, что филологическое творчество — предшествовало обеим. Поэтому оно и исчерпалось раньше других, и нечего удивляться, что в обществах, наиболее прогрессивных, отрешившихся от разных традиций, господство обычая в лингвистическом отношении все более упрочивается, вследствие чрезмерного уважения к орфографии и усиливающегося пристрастия к филологической неподвижности. Подобного рода соображениями можно было бы объяснить многие кажущиеся странности в истории. Но читатель сумеет это сделать и без нашей помощи.

Нравственность и искусство

Вкусы, воплощающиеся в определенных художественных правилах и нравы, формулирующиеся в известных предписаниях морали, изменяясь во времени и пространстве, влияют на две важные сферы

общественной деятельности, и следовательно являются, подобно обычаям, законам, конституциям, составною частью общественного управления в истинном и широком значении этого слова. Поэтому чем развитее народ в нравственном и художественном отношениях, тем менее он нуждается в правительстве. Если бы народ достиг нравственного совершенства, он мог бы обходиться без всякого правительства. Но во избежание банальностей, весьма возможных при обсуждении этой двухсторонней темы, мы ограничимся лишь несколькими замечаниями. Так, мы напомним только о религиозном происхождении искусства (мы коснулись уже этого вопроса в одной из предыдущих глав), а также и нравственности, веления которой первоначально признавались исходящими от божества¹. Таким образом нравственные чувства и художественные вкусы имеют своим первоисточником религию и семью, — прибавлю я. В те времена, когда каждая семья, каждое племя имели свой язык и свою собственную религию, у них, если они обладали художественными способностями, было свое искусство, благоговейно передававшееся от отца к сыну, и, если они были воодушевлены симпатическими инстинктами, своя особая нравственность или кодекс нравственных, а часто и безнравственных предрассудков, в точности соблюдавшихся с незапамятных времен. Сколько раз это обособленное искусство и замкнутая нравственность разрушали окружавшие их преграды! И сколько раз они прочно оседали в своих новых границах и вновь раздвигали их, пока наконец мир не представил небывалого зрелища больших и многочисленных народов, одинаково понимающих прекрасное и безобразное, добро и зло, восхваляющих или осмеивающих одни и те же картины, романы, драмы, оперы, одобряющих одни и те же подвиги и порицающих одни и те же преступления, о которых периодическая печать одновременно извещает своих читателей во всех частях света.

С этой новой точки зрения мир представляет тот же контраст, о котором мы так часто говорили. В прежнее время, когда в искусстве, нравах и религии господствовал обычай, каждый народ, а раньше каждая провинция, каждая община отличались от соседних народов, провинций, общин оригинальными предметами роскоши, оружием, затейливой мебелью, поэтическими легендами, добродетелями, так что в каждой местности добро и зло, прекрасное и безобразное понималось различно. Но зато в каждой отдельной местности понятие о красоте и добре отличалось устойчивостью, а добродетели и харак-

¹ В римской империи до последних дней ее существования общественные зрелища и праздники, на которых искусство проявлялось во всех своих видах, входили в состав религиозных торжеств. Вместе с тем древние народы вовсе не знали разницы между музыкой духовной и светской.

тер художественных произведений оставались неизменными. В наши же дни, в наш век широкой и всепоглощающей моды, наоборот, художественные произведения и добрые дела везде или по крайней мере на двух материках очень сходны, но по прошествии какого-нибудь десятилетия — если не из года в год — нарождаются, согласно вкусам публики, новые школы в живописи, музыке, поэзии; и даже правила нравственности изнашиваются, меняются, обновляются с ужасающей легкостью. Однако не следует очень тревожиться этой необычайной изменчивостью, если только правда, что она имеет общий характер и находится в связи с целым рядом правильных и все расширяющихся колебаний, последствия которых, именно с точки зрения нравственности, были весьма благотворны; в особенности если справедливо, что опыт прошлого дает нам право рассчитывать в более или менее близком будущем на восстановление устойчивости и умиротворяющего однообразия идеала.

Все обязанности, как бы они ни казались простыми тем, кто их давно исполняет, первоначально придумывались самостоятельно отдельными личностями и, как всякое изобретение, появлялись и распространялись постепенно¹. Их возникновению и успеху способствовали то догматы новой религии, то новые условия социальной жизни. Так, появление или успехи искусства обуславливаются переменами в области идей или нравов. Уважение к старикам, родовая или семейная месть — vendetta, храбрость, позднее — труд, честность, неприкосновенность чужого имущества, скота, поля, жены, еще позднее патриотизм, феодальная верность, благотворительность, освобождение рабов или облегчение участи несчастных и пр. добродетели расцветали в разные времена, подобно тому, как постепенно появились египетские гробницы, греческие храмы и готические соборы. Для того, чтобы какая-нибудь новая обязанность или новое понятие о прекрасном распространились, нужно было, чтобы поднялся, так сказать, благоприятный ветер, который разнес бы новые семена за пределы, отделяющие племена и города с их традиционной нравственностью или искусством. Отсюда часто возникали противоречия между старыми привычками и вновь занесенными примерами, чем отчасти объясняется отрицательный характер нравственных постановлений и эстетических правил. Не убивай побежденного неприятеля, чтобы пожрать его, не продавай своих детей, не убивай своих рабов без причины, не бей и не убивай жены, кроме случая неверности, — вот весьма оригинальные и спорные в свое время предписания, составляющие в боль-

¹ Бокль, как мы видим, странно заблуждался, противопоставляя устойчивость нравственных правил прогрессивному характеру развития ума и науки.

шинстве случаев нравственный кодекс каждого народа. Эстетический кодекс также содержит главным образом запретительные постановления.

Я не хочу этим сказать, что братство, свобода, равенство, составляющие зачаток и душу всякой нравственной жизни, были изобретены только в новейшее время. Характерный признак современности есть распространение среди обширной группы людей этого высшего чувства, существовавшего во все времена, но лишь в тесных группах, которые сокращаются по мере того, как мы углубляемся в историю. Это возвышенное и могучее чувство действительно составляет уладу и обаяние общественной жизни, единственный противовес всем ее невзгодам, а эти невзгоды так велики, что если бы это единственное преимущество исчезло в каком-нибудь обществе, оно немедленно бы распалось и исчезло с лица земли. Тот, кто привык соединять с представлением о примитивных обществах только убийства и резню, людоедство и другие ужасы, или истязания рабов и продажу малолетних детей отцами семейств, — тот их не понимает. Он видит только внешнюю сторону их жизни. Внутренняя же сторона, сущность этих обществ определялась отношениями между равноправными членами, между отцами семейств одного племени, между гражданами Спарты или Афин на народных собраниях, между дворянами в дореволюционных салонах... Всегда и везде мы видим, что, за исключением скоропреходящих распрей, царит согласие, мир, вежливость между этими равноправными людьми, из которых исключительно состоит общество, отвергающее рабов, несовершеннолетних сыновей, женщин и в особенности иностранцев. Иностранцы, по отношению к общим интересам полноправных граждан, являются *препятствием*, которое приходится преодолеть. Несовершеннолетние дети, женщины, рабы по отношению к тем же интересам служили простым *средством*. Ни те, ни другие не были товарищами или сообщниками.

Но продолжительное общение с высшими классами внушает низшим сильное желание проложить себе дорогу к социальному равенству. Это желание однако осуществляется не без переворотов и лишь постепенно. Как же совершается этот процесс? Путем простого и очень продолжительного подражания. Когда установление социального равенства приписывается влиянию философов и богословов, то очевидно последствия смешиваются с причиной. Обыкновенно случается так, что низший, копируя во всем высшего, перенимая его образ мыслей, разговорную речь, способ молиться и одеваться, вообще его образ жизни, внушает ему непреодолимое чувство, что они оба принадлежат к одному и тому же общественному классу. Это чувство находит тогда выражение, большею частью преувеличенное, в

какой-нибудь философской или богословской формуле, подтверждающей его и способствующей его распространению. Если Сократ в своих беседах старался возвысить женщину и даже раба, а Платон даже мечтал об установлении в своей республике полной равноправности мужчины и женщины и об отмене рабства, то только потому, что в их время в Афинах женщина давно уже перестала вести затворническую жизнь, а рабы мало отличались от свободных граждан¹. «Народ в Афинах, — говорит Ксенофонт, — не отличается от рабов ни одеждой, ни вообще внешностью». Впрочем, пока окончательно осуществилась эта двойная мечта, прошли целые века: различие в правах мужчины и женщины, гражданина и раба, сглаживалось лишь постепенно и исчезло окончательно только при Антонинах. Аристотель, оправдывавший рабство, оставался в этом отношении верен практической морали своего времени, а проповеди первых представителей стоицизма, защищавших равноправность рабов и женщин, оставались гласом вопиющего в пустыне до тех пор, пока мир не был подготовлен к восприятию учения Эпиктета. Дружба, к сожалению, равно как и общество, составляют «круг, утрачивающий свою форму, когда он слишком расширяется». Этим серьезным возражением мотивируется противодействие, оказываемое консерваторами всех времен стремлениям поработенных классов к социальному равенству. Но это противодействие должно исчезнуть, и социальный круг должен распространиться на весь человеческий род. Является однако вопрос: не было ли постепенное расширение области, в которой действует упомянутое чувство, достигнуто ценой уменьшения его интенсивности, и нет ли основания полагать, что в прошлом, даже в глубокой древности *там, где оно существовало*, оно было гораздо интенсивнее, чем теперь? Имеет ли слово *pietas* для нас такое же полное, глубокое, умиленное значение, какое оно имело для древних?

Как бы то ни было, но не подлежит сомнению, что из века в век число людей, подчиняющихся одинаковым правилам нравственности и придерживающихся одинаковых художественных вкусов, постоянно увеличивалось, хотя бы и с значительными перерывами. Я хочу этим сказать, что группа лиц, по отношению к которым отдельный человек признавал свои нравственные обязанности и мнение которых влияло на его собственную нравственность, равно как и круг лиц, для кото-

¹ Другая причина, содействовавшая облегчению участи афинских рабов, могла, как я полагаю, заключаться в подчиненном положении женщины как в Афинах, так и в остальной Греции. В «Альцесте» Еврипида, у Ксенофонта и других писателей мы видим, что греческие женщины внушали своим рабам глубокую привязанность, объяснявшуюся конечно общностью их жизни и их поработением. В деле своего освобождения они взаимно помогали друг другу.

рых трудился художник и суждениями которых он дорожил, все расширялись. Это расширение происходило двояким образом: внешним, т. е. путем безостановочного расширения границ городов, провинций, наций, за которыми честный гражданин не видел уже никого, кому бы он считал себя обязанным оказывать уважение или справедливость, а художник или поэт видел только варваров¹; и внутренним, т. е. путем понижения преград, разделявших классы и определявших для каждого из них уровень его нравственности и вкусов. Это уже само по себе составляет огромный прогресс, который, кроме того, сопровождался дальнейшим внутренним развитием нравственности и искусства. Как однако мог и должен был совершиться этот процесс? Прежде всего, все порывы и проявления внешнего подражания в области религиозной, политической, промышленной, законодательной или лингвистической значительно способствовали этому результату, постепенно ассимилируя все возрастающее число лиц. Если, начиная с XVI в., международное право воспрещает разграбление неприятельских городов, конфискацию имущества и порабощение побежденного; если в то же время отменяется право казны на наследство, оставшееся после иностранца; словом, если признаются известные обязанности по отношению к иностранцу или, по крайней мере, по отношению к европейцу и христианину, то главным образом потому, что этот новаторский век дал замечательный толчок подражанию на континенте и преимущественно ознаменовался открытием ему самых широких путей. Если Расин имел только несколько тысяч образованных читателей во Франции, а Виктор Гюго несколько миллионов во Франции и Европе, то это расширение читающей публики в значительной степени объясняется общим распространением изобретений и открытий, сделанных после консервативного XVII в., в прошлом столетии и продолжающихся до сегодняшнего дня. Предположим, что паровая машина, локомотив, телеграф не были бы изобретены, главные факты современной химии и физики не были бы открыты; в таком случае Европа наверное осталась бы раздробленной на бесконечное число несходных между собой провинций, т. е. она продолжала бы оста-

¹ В некоторые эпохи можно проследить стадии этого развития. До Сократа в маленьких греческих республиках проявлялся только *муниципальный* дух; начиная с Сократа, Платона, после мидийских войн и периода слияния, следовавшего за ними, преобладает дух греческой национальности, подобно тому, как после столетней войны проявился французский патриотизм. Даже Платон строго отличает грека и варвара, хотя, по его теории, оба они должны были бы слиться в представлении о человеке вообще. Победы Александра расширяют греческое отечество до самого сердца Азии, и различие между Грецией и Персией — «этими двумя сестрами» — исчезает, а нравственная область значительно расширяется; но только перс и эллин признаются братьями. Благодаря римским победам, в этот золотой круг вступают Италия, Испания, Галлия, Африка, даже Германия...

ваться в таком состоянии, которое решительно несовместимо с широким распространением нравственности и искусства, равно как и с успехами крупной промышленности. Таким образом, все великие идеи, двинувшие всемирную цивилизацию, могут быть рассматриваемы как открытия, содействовавшие успехам нравственности и искусства.

Но по крайней мере относительно нравственности этой общей причины было бы недостаточно для устранения препятствий, встречаемых широким ее распространением. К идеям, косвенным образом содействовавшим ее успехам, присоединились идеи, прямо и сознательно направленные к ее процветанию. К последней категории я причисляю прежде всего все фикции, которые в прежнее время, когда социальное и нравственное равенство обуславливалось родством, создавали искусственное родство и распространяли на последнее преимущества кровного родства. У многих диких народов существовал обычай скреплять союз смешиванием нескольких капель крови будущих союзников, чем как бы устанавливалось их единокровие. Этот обычай мог появиться в такое время, когда нравственные обязательства признавались только между родственниками, и Тайлор совершенно справедливо смотрит на него, как на «торжественный способ расширения братских обязанностей и чувств за тесные пределы семьи». Другим, не менее гениальным способом этого рода было усыновление, практиковавшееся в самых различных и своеобразных формах. Наконец, и в основе гостеприимства лежала, вероятно, та же мысль. Допущение в дом и в семейный храм могло действительно считаться как бы фиктивным присоединением к семье, напоминающим усыновление и смешивание крови союзников. Но из всех подобных новых идей самой замечательной и несомненно плодотворной было евангельское учение, что все мы братья и дети одного Отца. В силу этого учения, узы родства распространяются уже на весь род человеческий.

Когда, благодаря всему этому или просто благодаря успехам цивилизации, нравственные поступки и художественные произведения находят себе широкий рынок, тогда народ или общественные классы, до тех пор придерживавшиеся своей собственной морали и искусства, начинают стремиться к обмену идей, и это взаимное стремление ведет к торжеству высших нравственных и художественных идеалов, которые в свою очередь неизбежно подвергаются видоизменению. Между заимствованною нравственностью и самобытной, воспринятой с молоком матери, между нравственностью-модой и нравственностью-обычаем существует такая же разница, как между заимствованным чужеземным искусством и самобытным. Последнее, несмотря на продолжительное свое существование и сравнительную неподвижность,

отличается свежестью, силой и оригинальностью. Этому не следует удивляться, как не следует удивляться и странной живучести обязанностей, предписываемых древними обычаями, как, например, семейной мести. Но другие стороны вопроса представляются более существенными.

По отношению к искусству я хотел бы обратить внимание на два пункта. Во-первых, в эпохи господства обычая, там, где искусство рождается самостоятельно, оно развивается из ремесла, как цветок из стебля, под теплыми лучами религиозного вдохновения. Так было в Египте, Греции, Китае, Мексике и Перу и во Флоренции¹. Архитектура, готическая и всякая другая, обязана своим возникновением каменщикам; живопись XVI в. — переписчикам, украшавшим книги виньетками, скульптура — средневековым краснодеревцам и строителям египетских гробниц, современная музыка — церковным певчим; ораторское искусство — профессорам и адвокатам; поэзия, литература — всем, кто желал рассказывать, трогать, убеждать. Во-вторых, в те же эпохи произведение искусства отвечает не потребности узнать новое, что более свойственно эпохам господства моды, когда любопытство чрезмерно возбуждено впечатлениями, приходящими извне, но сладостной и все усиливающейся потребности снова увидеть и найти то, что уже известно, что мы любим, понимаем, чем восхищаемся: верования предков, божественные легенды, жизнеописания святых и героев, эпические рассказы из отечественной истории, сцены из обыденной жизни, воплощающие старинные нравы, — словом потребности испытывать традиционные волнения, вытекающие как для художника, так и для публики из глубокой любви к далекому прошлому и из столь же глубокой веры в продолжительность земной жизни и загробного существования, которое сулит нам религия. Тогда мы требуем от архитектуры и от музыки не разнообразия впечатлений, заимствованных у иноземных цивилизаций, уже погибших, но искусственно воскрешенных; мы от них требуем сильного выражения или воспроизведения впечатлений и верований, которыми живем сами. От скульптуры и живописи мы требуем не создания чуждых нам или фантастических групп, сцен и пейзажей, но сильного и выразительного воспроизведения двенадцати апостолов, св. Михаила, св. Христофора, Христа, св. Девы или фамильных портретов, видов родины с ее обычаями, празднествами, местными особенностями. От эпопеи или драмы мы требуем не интереса, поддерживаемого незнакомым сюжетом или сенсационной развязкой, а выразительного

¹ Во Флоренции ремесла, которые там назывались искусством и заслуживали этого названия, бесспорно были колыбелью искусства.

воспроизведения легендарных вымыслов, знакомых нам с детства — смерти Прометея, Геракла, несчастий Эдипа, драмы сотворения мира, грехопадения, смерти Роланда и т. д.

Таковы две главные характеристические черты искусства в эпохи господства обычая, и мы видим, что они находятся в тесной связи. В такую эпоху искусство бывает, не скажу ремесленным, — но профессиональным, потому что оно образуется путем медленного накопления эстетических приемов, передаваемых отцом сыну вместе с разными полезными рецептами. Причина, действовавшая в этом направлении, т. е. привычка обращаться сердцем и умом назад, к прародителям и их заветам, требует, чтобы и искусство было волшебным и живым отражением этого прошлого, еще полного жизни и веры в себя и в свою будущность, а не восстановлением погибшего прошлого или воспроизведением иноземных образцов. Во времена моды, напротив, занесенные формы искусства естественным образом представляются оторванными от своего стебля, потому что не он, а исключительно появившийся на нем цветок возбуждает интерес. Тогда искусство становится ремеслом чаще, чем ремеслом искусством, а любопытство, составляющее отличительную черту такого времени, требует обманчивого, раздражающего удовлетворения, которое и доставляется изобретательными людьми. Тогда появляются шаблонные и написанные по заказу драмы или романы, повествующие о небывалых происшествиях, фантастические картины, музыка будущего, эклектические памятники. Эпоха, жаждущая новинок, требует художников, обладающих только богатой фантазией; времена, исполненные любви и веры, требуют художников, проникнутых этими чувствами.

Итак, в эпоху господства моды искусство отличается от прежнего искусства и происхождением, и содержанием, и вдохновением. Такое же различие существует во многих отношениях между двумя соответственными видами нравственности. Прежде всего, происхождение их весьма различно: традиционные добродетели — по преимуществу религиозные — расцветают на почве потребностей ограниченной группы людей; отраженные добродетели, т. е. добродетели низшего класса, перенимающего нравственные качества аристократии, или добродетели народа, который перенимает хорошие или дурные нравы другого народа, как, например, Англия перенимала французские нравы во время реставрации Стюартов, — составляют нравственную вывеску, желательную личину, которой прикрывается собственная порочность, но которая не имеет с ними ничего общего. Это бывает даже в том случае, когда заимствованные добродетели добыты из прошлого, воскрешенного модой. Такое явление, скажем, нравственного мимикризма, при помощи которого мода принимает на-

пусковой вид обычая, встречается в истории нередко. Но подобного рода нравственные перевороты (мы видим, например, что в XVI в. возрождаются добродетели, которые были уместны во времена еврейских патриархов или первых христиан) на самом деле являются нововведениями, задуманными сперва каким-нибудь реформатором, увлекшимся плохо понятым прошлым, и затем распространившимися только благодаря всеобщему стремлению к свободному подражанию. В этом отношении они напоминают литературные или художественные *возрождения*, повторявшиеся неоднократно в истории. Объект и побудительные причины двух видов нравственности отличаются между собою не менее ясно. Обязанности, налагаемые обычаем, вынуждают человека нести жертвы ради частных, но постоянных потребностей замкнутого общества людей: семьи, племени, города, округа, государства. Заимствованные, условные или, как их называют, рациональные обязанности налагают на него жертвы во имя интересов более общих, захватывающих более обширный круг людей, но часто менее устойчивых и продолжительных. Силу нести требуемые жертвы человек черпал в прежнее время в наследственной своей солидарности с целым рядом поколений, по отношению к которым он составляет лишь звено, так что, умирая за свою семью, племя, город или ради бессмертия этих коллективных личностей, он думал, что жертвует собой для самого себя. Он черпал эту силу чаще всего и в религии, унаследованной от предков. Этот двойной источник энергии исчезает или ослабевает для человека в такое время, когда подражание освобождается от наследственности, родственные узы по восходящей и нисходящей линии исчезают и устанавливается связь между лицами, оторванными от своих семейств¹, чуждыми друг другу, но близкими по возрасту. Столкновение между различными религиями

¹ Отсюда индивидуальный характер нравственности, как и искусства во времена господства моды. Тут в глазах художника и моралиста начинает приобретать значение отдельный индивид, что однако несколько не мешает обязанностям распространяться во времена господства моды на общие, но мало устойчивые интересы, равно как произведения искусства того же времени изображать под видом характеристических черт одной личности чувства и психологические состояния, правда, весьма распространенные, но и весьма изменчивые. Я указал выше также на натуралистический характер нравственности и искусства в эпохи господства моды. «Во второй половине XVI века, — замечает очень верно г. Брюнетьер, — среди шума религиозных войн все решительнее выдвигается важный вопрос о том, утратит ли древняя нравственность, обоснованная богословской наукой, догматом о грехопадении, но в действительности покоящаяся на прирожденной порочности человека, свое руководящее значение для людей и достаточно ли *одной природы*, чтобы поддержать социальный строй?» Заметим мимоходом, что натуралистическое и индивидуальное вдохновение совпадает с оптимистическим. Спрашивается, не составляет ли пессимизм, — я говорю об истинном пессимизме (например, христианском и янсенистском), а не безусловном — неизбежную принадлежность времен господства обычая, а оптимизм принадлежность времен господства моды?..

или одной из них с философией порождает скептицизм. Но человек до некоторой степени восполняет утрату этой энергии новой нравственной силою, именно чувством чести.

Под этим словом я разумею честь не в аристократическом и семейном смысле, но в смысле демократическом, индивидуальном, современном, так как мы переживаем в настоящее время самый замечательный по своей широте и продолжительности период господства моды. Это понятие о чести ведет, по Буркгардту, свое начало со времени возрождения; на самом же деле оно возникает всюду, где благодаря ниспровержению некоторых социальных преград нравственность быстро распространяется среди новых элементов населения. Почему однако — спросят нас — это желание пользоваться личным уважением усиливается именно в такое время, когда древние основы нравственности — семья и религия — все более расшатываются? Ответить на этот вопрос не трудно. То, что колеблет прежние основы нравственности, упрочивает и расширяет новую: я разумею облегчение сношений и чрезвычайно ускоренный обмен мыслей в сфере, постоянно расширяющейся за пределы племени, сословия, вероисповедания, государства. Когда обычай заменяется модой, человек менее гордится своею кровью, утрачивает веру, но зато, вследствие прогрессивной ассимиляции умов, придает громадное значение общественному мнению. А что такое в сущности честь, как не пассивное, слепое, героическое повиновение общественному мнению?

Мы видим, как перед нашими глазами нарождается и растет этот новый и могучий фактор, когда молодой рекрут поступает из отцовской избы в полк. По истечении некоторого времени он уже не думает о своем отце, к которому питал почтительный страх, о клочке земли, которого добивался, о молодой девушке, с которой мечтал основать новую семью, а еще менее о поучениях своего священника: источник его трудолюбия, честности, относительной чистоты его нравов иссякает. Но его нравственность скорее видоизменяется, чем исчезает. Если он сделался менее воздержанным и трудолюбивым, то он более мужествен и честен, потому что к соблюдению дисциплины, к стойкости на поле битвы его побуждают, кроме опасения военного суда, мысль о стыде, унижении перед товарищами, которого он желает избежать, хотя бы ценой жизни. В то же время он сознает, что, исполняя свои новые обязанности, он приносит пользу массе людей, ставших недавно его товарищами, великому отечеству, членом которого он теперь себя сознает, хотя раньше мало думал о нем, будучи поглощен исключительно своими личными заботами.

Мы можем прибавить, что если его новая нравственность соответствует заботе о более многочисленных, широких и общих инте-

ресах, то его прежняя нравственность была рассчитана на удовлетворение интересов менее скоропреходящих и более устойчивых. Во всяком случае значение жертв, которых требуют его новые обязанности, охватывает сравнительно гораздо большее пространство, но зато распространяется на более короткий срок, между тем как прежде его жертвы приносили пользу тесной среде, его окружавшей, но действие их было сравнительно продолжительнее. Все чисто семейные и патриархальные, местные и примитивные добродетели, как, например, женское целомудрие, составляют лишение, претерпеваемое для пользы, правда, одной семьи, но зато и для потомства этой семьи. Напротив, современная нравственность, очень снисходительная к порокам, от которых может пострадать только наше потомство, строго порицает ошибки, могущие отразиться невыгодно на интересах современников, хотя бы живущих очень далеко от нас. В этом смысле нравственность эпохи господства моды походит на ее политику. Какова бы ни была форма правления, — государственные люди, стоящие во главе власти в такие эпохи, отличаются от прежних государственных людей расширенным кругозором подлежащих их ведению тождественных интересов, подчиненных одинаковым законам, но в то же время и своей недалековидностью относительно интересов потомства. В прежнее время французский феодальный король, царствовавший только в Иль-де-Франсе, носился с мыслью о создании прекрасного французского королевства и в поте лица трудился над осуществлением своего отдаленного идеала. Прусский король жертвовал настоящим для весьма отдаленного будущего, для этой империи, которая, увы, осуществилась при его внуках. В наше же время ни одна страна, начиная с Германии, ни одно политическое собрание не поступит ни одним настоящим интересом даже ради интересов ближайшего потомства. Напротив, мы предоставляем нашим потомкам расплачиваться за наши долги и наше безрассудство.

Но если справедливо, что всякое модное течение стремится упасть в мирное и спокойное русло обычая, то указанный нами разительный контраст не может быть продолжительным. Конечно, пока модное течение не ослабеет, предписания нравственности будут все менее и менее сообразоваться с пользою или вредом наших детей или внуков, особенно же с некоторыми проявлениями воздержания или супружеской неверности, уважения к родителям или отсутствия семейной дисциплины, патриотической храбрости или трусости, которые в прежнее время считались главными добродетелями или пороками, но польза которых сказывается лишь по прошествии долгого времени. *Après nous le déluge* — говорит общество. Но беда в том, что постоянное провозглашение этого лозунга может привести к гибели.

Поэтому есть основание предполагать, что после периода усиливающейся, но кратковременной близорукости, наступит время, когда коллективная предусмотрительность снова начнет проявляться не только относительно, так сказать, пространственно расширенных интересов, но и относительно вреда или пользы отдаленного будущего, и народы придут к одинаково глубокому сознанию своих общих и постоянных интересов. Этот момент наступит тогда, когда цивилизация, достигнув своего апогея, войдет наконец в себя, как это неоднократно уже бывало в истории: в Египте, Китае, Риме, Византии. Прошлое служит ручательством за будущее. Тогда и нравственность сделается опять во многих отношениях тем, чем она была. Обязанности чести, эту искусственную нравственность, которой довольствуется век, подчиняющиеся окружающему нас изменчивому общественному мнению, — сменят обязанности совести, в том виде, какими их знали наши отцы, столь же властные, безусловные, устойчивые, но более разумные и просвещенные. В то же время и искусство отрешится от своих блестящих увлечений и снова будет черпать свою силу в глубокой вере и любви.

Мы изучили главные законы подражания, и нам остается только выяснить общую их идею, пополнить их несколькими соображениями и указать на некоторые выводы.

Верховным законом подражания является по-видимому его стремление к бесконечному распространению. Это своего рода врожденное и безмерное властолюбие¹, — составляющее душу вселенной и выражающееся физически победоносным завоеванием пространства, а биологически стремлением каждого, даже самого скромного вида наполнить вселенную своими особями, побуждает всякое открытие или изобретение, даже самое пустое, не исключая и ничтожнейшего индивидуального нововведения, распространиться во всей бесконечно-расширившейся сфере социальных отношений. Но это стремление, когда ему не содействуют либо вспомогательные открытия в области логики или телеологии, либо обаяние, окружающее предполагаемое превосходство, встречает различные препятствия, которые ему приходится постепенно преодолевать или обходить. Этими препятствиями являются либо противоречащие ему новые логические или телеологические учения, либо преграды, воздвигаемые многообразными причинами, — главным образом, предрассудками и племенной гордостью между разными семьями, племенами, народами, а в каждом народе и племени — между разными сословиями. Вследствие этого, когда хоро-

¹ Чтобы выразить сущность моей мысли о неизвестном и непостижимом источнике мировых повторений, скажу, что для объяснения их одного безмерного и повсеместно распространенного властолюбия пожалуй недостаточно. По временам, признаюсь, я готов допустить другое объяснение. Мне сдается, что склонность бесконечно повторяться служит одним из признаков любви, что свойство любви в жизни и искусстве состоит в том, чтобы говорить и повторять постоянно одно и то же, изображать и воспроизводить одни и те же сюжеты. В таком случае, не происходит ли в недрах вселенной, склонной к этим однообразным повторениям, бесконечная трата скрытой любви еще более, чем властолюбия? Я не могу не высказать предположения, что все существующее, вопреки постоянной внутренней борьбе, было создано в отдельности, соп атоге, и что только этим объясняется его красота, несмотря на господствующие в мире зло и несчастья. Но иногда, помышляя о смерти, я склонен оправдывать пессимизм. Все повторяется и все гибнет — таковы две характеристические черты вселенной, из которых вторая обуславливается первой. Почему же признавать призрачной мысль о совершенном мире, в одно и то же время устойчивом и самобытным, в котором все сохраняется и ничто не повторяется?.. Но бросим мечты!

шая идея зарождается в той или другой группе людей, она легко распространяется в ней самой, но дальнейшее ее распространение задерживается этими преградами. К счастью, задержка эта лишь временная. Во-первых, что касается сословных преград, то заметим, что если какое-нибудь удачное нововведение случайно зародилось и распространилось в низшем классе, то в период господства наследственной аристократии и, так сказать, физиологического социального неравенства, оно не передается высшим классам, за исключением того случая, когда его выгоды слишком очевидны; но зато нововведение, задуманное или принятое последними, легко передается низшим слоям общества, привыкшим подчиняться обаянию высших. Вследствие этого подражания, низшие общественные классы, постепенно возвышаясь, усиливают собой ряды высших. Таким образом, подражая своему образцу, низшие классы, в конце концов, уже не отличаются от них, т. е. становятся в свою очередь способными служить образцами, хотя их превосходство имеет уже не наследственный, а лишь частный и индивидуальный характер. Подражание низших классов высшим прекращается; но предполагаемое им неравенство не имеет уже прежнего значения. Взамен неравенства аристократического, органического, так сказать, природного, является неравенство демократическое, чисто социального происхождения, которое пожалуй можно называть равенством, но которое в сущности является взаимодействием обаяния, всегда безличного и проявляющегося между отдельными индивидами и профессиями. Таким образом, поле подражания постоянно расширяется и освобождается от влияния наследственности. Во-вторых, по отношению к семейным, племенным и национальным преградам следует сказать, что знания или учреждения, верования или отрасли промышленности, существующие в одной из этих групп, могущественной и победоносной, легко передаются соседним группам, побежденным и униженным; зато побежденные и слабые, за исключением только тех случаев, когда они обладают бесспорно высшей цивилизацией, никогда не вызывают подражания со стороны победоносных и сильных. Отсюда — заметим мимоходом — следует, что от войны гораздо более выигрывает в цивилизационном отношении не победитель, а побежденный, потому что первый ничему не учится у второго, который, с своей стороны, подчиняясь обаянию победы, заимствует у победителя множество плодотворных идей или приобщает их к своему национальному капиталу. Египтяне ничего не заимствовали из книг своих пленников-евреев, и совершенно напрасно; евреи же очень много выиграли от изучения иероглифов своих властелинов. Но когда данный народ ослепляет других своим блеском, последние начинают ему подражать. Это-то распространение подражания за пределы данной национальности, которое я назвал модой, составляет в сущности не что иное, как перенесение

закона, управляющего сословными отношениями, в область международную. Благодаря вторжению моды, все государства подражают государству, пользующемуся в данный момент превосходством, подобно тому, как низшие общественные классы подражают высшим. Поэтому нечего удивляться, что господство моды приводит к таким же последствиям, как и законы, управляющие сословными отношениями. И в самом деле, подобно тому, как обаяние, которым пользуются высшие классы, подготавливает поглощение ими низших классов, точно так же обаяние преобладающих государств подготавливает расширение этих государств. Они сперва были семьями, позднее общинами и нациями, а теперь постоянно расширяются путем ассимиляции стран, которые они присоединили, или путем присоединения стран, которые они ассимилировали. Другая аналогия: подобно тому, как подражание низших общественных классов высшим приводит, если оно длится долго, к так называемому демократическому равенству, т. е. к слиянию всех сословий в одно, среди которого безостановочно происходит взаимное подражание относительному превосходству, точно также продолжительное действие подражания-моды уравнивает в конце концов подражающие народы с народами, служащими им образцами в деле вооружения, искусств и наук, и создает между ними нечто вроде федерации, каково, например, в наше время так называемое европейское равновесие, под которым разумеют обмен услуг и всякого рода заимствований между разными центрами, стоящими во главе европейской цивилизации. Вот каким путем, даже в международных отношениях, свободное и ничем не стесняемое подражание расширяется почти безостановочно.

Но в то же время традиция и обычай — консервативные формы подражания — упрочивают и увековечивают эти новые приобретения, закрепляют их распространение как в каждом классе, воспитанном на примерах высших классов, так и в каждом народе, воспитанном на образцах более цивилизованных соседей. Кроме того, каждый зародыш подражания, воспринятый каким-либо подражателем под формой верования или стремления, идеи или новой способности, развивается постепенно, получает внешнее выражение в словах и действиях и охватывает всю нервную и мышечную системы, согласно с законом развития изнутри наружу.

Таким образом, мы подвели все законы, изложенные в предыдущих главах, под одну общую точку зрения. Они лучше всего выясняют и постепенно удовлетворяют стремление к подражанию, развивающееся в геометрической прогрессии. Следовательно, всякое отдельное подражание подготавливает условия, облегчающие дальнейшее его проявление, более свободное и рациональное и в то же время более точное и строгое. Этими условиями являются: постепенное уничтожение кастовых, сословных, национальных преград и, прибавлю, постепенное уменьше-

ние расстояний путем ускоренного передвижения и возрастания плотности населения. Это последнее условие осуществляется по мере того, как плодотворные, т. е. вызывающие широкое подражание земледельческие и промышленные открытия, равно как не менее плодотворное открытие новых территорий, позволяют наиболее изобретательным и в то же время подражательным национальностям распространяться по земному шару. Предположим, что все эти условия соединились и развились до последней степени; тогда подражательное распространение сделанного где бы то ни было счастливого открытия на весь род человеческий будет происходить почти моментально, подобно тому как волна моментально распространяется в совершенно упругой среде. Мы быстро приближаемся к осуществлению этого странного идеала, и указанное мною стремление уже проявляется под различными формами в социальной жизни, если взглянуть на вопрос с точки зрения случайной наличности более существенных из упомянутых условий; так, например, в мире ученых, разбросанных всюду, но постоянно находящихся в общении друг с другом, или в мире коммерческом, представители которого находятся в постоянных сношениях, как бы далеко они не жили друг от друга. В речи, произнесенной в 1882 г. по поводу успехов Дарвиновских теорий, Гекель между прочим сказал: «Громадное влияние, оказываемое решительной победой унитарной теории на все науки, — влияние, усиливающееся из года в год в *геометрической прогрессии*, открывает нам самые утешительные перспективы». Дело в том, что учения Дарвина и Спенсера распространились с быстротой молнии. Что же касается до быстрого распространения подражания в сфере коммерческой, когда оно ничем не стеснено, то явление это наблюдалось не только в наш век, но и во все времена. Просмотрите у Ранке данные о торговых успехах Антверпена в период от 1550 до 1566 г. Торговля его с Испанией в течение этих шестнадцати лет удвоилась; торговля с Португалией, Германией, Францией почти утроилась, торговля с Англией возрасла почти в двадцать раз! К сожалению, война положила конец этим успехам. Но, несмотря на их отрывочный характер, они свидетельствуют о постоянстве силы, вызывающей такое беспредельное развитие.

I

Мы указывали уже на переход от одностороннего подражания ко взаимному. По этому поводу не мешает остановиться на одном общем соображении. Подражание не только распространялось; оно, вместе с тем, постепенно самоприобретало характер взаимности и в этом смысле влияло и на многие другие личные отношения. Везде с течением времени одностороннее подражание заменилось взаимным.

Мы уже давно перестали верить в «общественный договор» Руссо, и нам хорошо известно, что не соглашение подобного рода впервые

соединило и связало волю людей. Напротив, договор был очень медленно завязывавшимся узлом, и потребовались целые века подчинения властным приказам и пассивного повиновения, прежде чем возникла мысль о том виде сложного взаимного приказа, в силу которого две воли соединяются, поочередно то повинуюсь, то повелевая. Но очень многие до сих пор убеждены, — и это составляет совершенно такое же заблуждение, — будто бы обмен был первым шагом человечества в сфере экономических отношений. Ничуть не бывало. Прежде чем возникла мысль об обмене, были хорошо известны и дар, и воровство, т. е. отношения гораздо менее сложные¹. Можно ли предположить, что первобытные люди спорили, беседовали, обменивались мыслями, приблизительно как пастушки в идиллиях? Нет, обмен мыслей также мало примитивен, как и обмен продуктов. Спор предполагает признание прав учить друг друга и прежде всего признания истины, т. е. личного понятия или мнения, не допускающего никаких возражений со стороны всех здравомыслящих людей. Но может ли понятие о таком властном значении истины возникнуть раньше, чем отец семьи, священник или учитель стали пользоваться правом провозглашать подобные истины? Далее, что кроме *догмата* могло уяснить людям *истину*. Равным образом, если бы какой-нибудь усердный читатель идиллий вообразил себе, что у первобытных дикарей, хотя бы самых кротких, существовали вежливость и взаимная предупредительность, то не трудно было бы представить ему доказательство, что во Франции и всюду вежливость постепенно выработалась из односторонних почестей, которые люди оказывали своим вождям, вельможам и царям, и составляет теперь не что иное, как вошедшую постепенно в общее употребление лесть, принимавшую характер взаимности по мере того, как она распространялась. Увы! мы не имеем права предположить, что даже война — если под этим словом разуместь борьбу приблизительно равным оружием или обмен ударов — была первым шагом на пути установления отношений между отдельными группами людей. Войне, заслуживающей этого названия, предшествовала охота, т. е. уничтожение или вытеснение² людей безоружных, мирного племени — шайкой разбойников.

Каким же образом охота на людей заменилась войной, лесть — вежливостью, суеверие — беспристрастным анализом, слепая вера

¹ См. по этому поводу третью часть «Социологии» Спенсера. Там говорится, что подарки, будучи первоначально добровольными и односторонними, постепенно сделались обычными, обязательными и взаимными. Спенсер только забывает упомянуть о громадном значении подражания.

² Я говорю об отношениях людей между собою; но в отношениях между первобытным человеком и животными (выяснение их не составляет прямой задачи социологии) происходило обратное явление, так как люди вели борьбу с крупными дикими зверями, прежде чем имели возможность охотиться на них.

в догмат — взаимным обучением, покорность — добровольным соглашением, абсолютизм — самоуправлением, привилегии и монополия — равенством всех перед законом, дар или воровство — обменом¹, рабство — промышленной кооперацией и наконец простое похищение мужем жены — браком, т. е. свободным договором на правах полной взаимности? Весь этот переворот совершился путем медленного и неизбежного подражания в самых разнообразных формах. Не трудно подкрепить это мнение хотя бы беглым перечнем различных переходных фазисов этого переворота.

Сначала один человек всегда монополизирует как власть, так и право обучения, и никто против этого не восстает. Все, что он говорит, принимается другими на веру; он один имеет право пророчествовать и возвещать истины. Но в конце концов люди, которые с наибольшим доверием относились к его словам, в свою очередь, чувствуют потребность быть, подобно ему, непогрешимыми. Этим и объясняются усилия гениальных философов, которые, в конце концов добьются признания за всеми права распространять собственную веру и наставлять даже своих прежних учителей. Но первоначально этим философам приходится ограничиваться более скромной ролью, и подражание богословам до такой степени составляет душу их скрытой революции, что они признают себя счастливыми, когда, вполне подчиняясь догматам, — но догматам, впервые ограниченным отведенной им сферой, они могут в свою очередь предписывать в своей узкой сфере ученым и специалистам главные свои идеи, признанные бесспорными, вроде теорий Аристотеля или Платона, насколько они не противоречат догматам веры. С другой стороны в ту же переходную эпоху ученые-специалисты, подчинившись до известной степени метафизическому игу, также хотят предписывать истины в своей сфере. Таким образом происходит непрерывное столкновение истин, обусловливаемое страстью к подражанию, которым и объясняется эта стадия в развитии человеческой мысли. Тем не менее не подлежит сомнению, что эмансипация человеческого разума началась именно таким образом. В самом деле, есть что-то противоречивое и искусственное в таком положении, когда индивидуальный разум, уже сознающий себя вправе предписывать свои бесспорные убеждения, тем не менее признает себя обязанным принимать без критического анализа

¹ Первоначально (см.: *Paul Viollet. Histoire du Droit français. P. 385*) требы совершались священниками бесплатно; это был просто дар. Но постепенно население начало по собственному побуждению вознаграждать священников подарками, которые в конце концов превратились в своего рода повинность. Общества страхования против огня являлись обществами взаимопомощи, и под этой формой они существуют с 1786 г.; но им предшествовали подаяния, собиравшиеся в пользу погорельцев. (См.: *Babeau. La ville sous l'ancien Régime. T. 2. P. 146.*) Право развода было первоначально одностороннее, им пользовался исключительно муж; позднее оно сделалось взаимным и т. д.

убеждения других людей. Тут происходит какое-то непонятное сочетание скромности и гордости. Поэтому наступает и такой момент, когда более смелый и последовательный ум решается предписывать свои убеждения во всей их полноте, противопоставлять и навязывать их всем от мала до велика. Его примеру тотчас следуют другие; спор становится общим, и свобода мысли является ничем иным, как подобного рода столкновением мнений и взаимным ограничением разнообразных и противоречивых, индивидуально считающих себя непогрешимыми, убеждений.

В начале один человек повелевает, другие повинуются. Отец или господин монополизирует власть, как и обучение; остальные члены данной общественной группы только повинуются. Но эта неограниченная власть возбуждает зависть; более честолюбивые из числа подвластных задумывают примирить свое подначальное положение со своею жаждой власти и стараются сначала ограничить, ослабить полновластие своих господ, а потом заручиться такой же ограниченной и точно определенной властью над своими подчиненными. Таким образом, возникает целая лестница властителей ограниченных, но пользующихся бесспорной властью. В феодальной системе эта идея осуществилась в самых широких размерах. Но по правде сказать, военная организация всех времен служит самым рельефным ее воплощением; и этот пример, равно как и сказанное выше о иерархии пользующихся властью устанавливать истины, доказывает, что понятие о подчиненности отвечает постоянной потребности общества, именно — потребности патриотической обороны или воспитания детей. Позднее смелость возрастает, и люди желают повелевать в некоторых отношениях теми, кому они подчинены в других отношениях, и наоборот, или повелевать теми, кому они раньше повиновались или будут повиноваться впоследствии. Эта взаимность достигается путем допущения всех к занятию общественных должностей и путем установления общей подачи голосов. Последняя налагает на избирателя обязательство подчиняться избранному, кто бы он ни был, и придает его распоряжениям характер безмолвного договора. Очевидно, организованное таким образом народовластие составляет не что иное, как распространение на миллионы людей единоличной власти. Если бы не существовало последней, воплотившейся главным образом в лице Людовика XIV, то нельзя было бы себе представить и народовластия. Всякий прогресс в социальной жизни, совершающийся путем замены односторонних отношений взаимными, — что, по нашему мнению, является последствием подражания, — Спенсер приписывает замене «милитаризма» «индустриализмом». Но и развитие промышленности подчинено указанному нами закону. В самом деле, первую ступенью промышленности является труд рабов, не получа-

ющих никакого вознаграждения, или женщины, которая родится рабыней первобытного человека. Так, например, арабу прислуживают его жены: они его кормят, одевают, словом, исполняют по отношению к нему ту же роль, какая выпадала на долю рабов у древних римлян. Вот почему многоженство ему так же необходимо, как нам необходимы многочисленные поставщики. Следовательно, отношения между потребителем и производителем первоначально столь же ненормальны, как отношения между отцом и сыном, мужем и женой. Но раб, долгое время безвозмездно проработав для других, желает наконец, чтобы и другие безвозмездно работали на него, и дело кончается тем, что, благодаря постепенному ограничению власти его господина, которая уже не распространяется на весь его труд и на все его время, ему удается накопить *собину*, освободиться и в свою очередь купить себе нескольких рабов. Если бы он мечтал только о свободе, то он пользовался бы ею особняком, *делая все для себя сам*. Но нет, он проникается потребностями бывшего своего господина; он хочет, чтобы и ему служили другие и удовлетворяли его потребностям, а так как это стремление становится общим, то наступает момент, когда все бывшие рабы, желающие в свою очередь иметь рабов, попеременно или взаимно поработают друг друга. Так возникли разделение труда и промышленная кооперация¹.

Однако необходимо раз навсегда сделать оговорку. Подражание не вызвало бы перемен, которые нами уже указаны или будут указаны, если бы их успеху не содействовали некоторые изобретения или открытия. Так например, водяная мельница, значительно облегчая труд рабов, подготовила их освобождение. Вообще, если бы не было изобретено достаточного числа машин, то может быть и теперь встречались бы между нами рабы. Научные открытия, особенно в области астрономии, одни позволили индивидуальному разуму с успехом бороться против слепой веры в догмат. Новые юридические теории и

¹ Чем более, с развитием промышленности и торговли, всякого рода услуги приобретают характер взаимности, тем произвольнее и капризнее становятся потребности, удовлетворяемые ими. Потребитель, который в то же время является и производителем, все решительнее добивается, чтобы его удовлетворяли, когда и как ему вздумается, и чтобы все ему доставлялось, как бы ни были мимолетны и вздорны его желания. Это называется на уточненном языке «эмансипацией индивида». Явление это не трудно объяснить себе законами подражания. Первоначально каприз составляет монополию господина, отца семьи или вождя, которым служат их дети, рабы или подвластные — без всякой взаимности. Поэтому, если взаимность услуг установилась с течением времени только благодаря продолжительному и распространенному подражанию односторонним услугам, которыми пользовались отцы семейств, цари и аристократия, то весьма естественно, что потребители, подражая прежним своим господам, хотят придать, по крайней мере в качестве потребителей, своим потребностям характер барского каприза. Таким образом, постоянно возрастающая демократическая распушенность имеет своим прямым источником политическое или теократическое полновластие.

формулы, установленные публицистами и писателями, способствовали замене единоличной власти властью коллективной. Тем не менее, нельзя отрицать, что потребность подражания высшим общественным классам — потребность заручиться услугами других, их слепой верой и безусловным повиновением, представляет собой громадную, хотя и скрытую силу, вызвавшую перемены, о которых я говорю. Чтобы вполне проявиться, она ожидала только *неизбежной случайности*, какой представляются эти изобретения или открытия.

Но возвратимся к нашей мысли. Как мы сказали, охота на людей была первым международным отношением. Данное племя или группа людей, благодаря новому оружию или усовершенствованию прежнего, истребляет или поработывает всех своих соседей. Такой характер несомненно имели быстрые завоевания древних арийцев, располагавших металлическим оружием, в то время как другие народы имели только каменное; такова была и колонизация Америки европейцами, встречавшими слабый отпор со стороны несчастных индейцев, не имевших ни ружей, ни лошадей. Спрашивается, каким путем произошла замена этой, так сказать, односторонней войны настоящей войной, т. е. взаимной охотой, практикующейся цивилизованными народами, когда они сражаются друг с другом? Понятно, путем распространения у всех этих народов вооружения и тактических приемов, заимствованных ими у победителей. Но они стремятся перенять у победителя еще и нечто другое: они хотят заручиться военной монополией, т. е. изобрести такое истребительное оружие, которое сделало бы их непобедимыми и снова превратило бы войну в охоту. К счастью, эта мечта осуществлялась лишь в слабой мере, хотя пруссаки с их игольчатым ружьем под Садовой охотились на австрийцев, как на зайцев. Как на промежуточную стадию между двумя фазисами этой эволюции, можно указать на некоторые эпохи варварских времен, когда народ, разбитый на голову и превращенный в данника, находит себе утешение в том, что без всякой причины набрасывается на слабого соседа, побеждает его и в свою очередь заставляет его платить себе дань. В Галлии во время Цезаря встречались народы, подвластные другим народам. Это — международная система, которую можно назвать феодальной применительно к отношениям между государствами.

Я приберег к концу еще пример, лучше всего разъясняющей мою мысль, хотя он и не принадлежит к числу существенных. В демократическом обществе, которому всегда предшествуете аристократический, монархический или теократический строй, люди на улице кланяются друг другу, обмениваются рукопожатиями и говорят друг другу любезности. Откуда взялся этот обычай? Я предоставляю Спенсеру разъяснить со свойственной ему авторитетностью монархическое

или религиозное происхождение этого обычая, показать, как падение ниц перед вождем медленно превратилось в легкое наклонение верхней части туловища или в обнажение головы. Прибавим, что если снятие шляпы составляет остаток прежнего падения ниц, то мы уже имеем дело с вежливостью взаимной. То же можно сказать о почестях и лести, которые производят на нас по прошествии одного или двух веков тягостное впечатление, когда мы наталкиваемся на слабый их отголосок в начале старинной книги, посвященной автором какому-нибудь вельможе. Любезности, которыми ныне обмениваются благовоспитанные люди, мало походят на тогдашний высокопарный язык, но они имеют то преимущество, что стали взаимными, как и визиты, которые в прежнее время были односторонними, представляя собою почесть, оказываемую другому лицу. Вежливость составляет не что иное, как взаимность в проявлениях лести. Впрочем мы хорошо знаем, что всякая владетельная особа желала иметь послов, всякий маркиз — пажей, всякий царедворец — свой двор. Таким образом, распространенная потребность слышать лесть, получать визиты и принимать поклоны по примеру сановников и вельмож послужила во Франции и других странах скрытою причиною постепенного общего распространения вежливости. Это движение началось при дворе, затем охватило столицу, замки и наконец распространилось на все общественные классы без исключения. Переходным периодом, подобно вышеуказанным переходным фазисам, послужила дореволюционная Франция, начиная с Людовика XIV. Каждая из бесчисленных общественных групп, на которые распадалось тогдашнее общество, принимала от низшей любезности, визиты и поклоны, никогда не оказывая им этих знаков внимания¹. Дерзости в то время так и сыпались, — метко замечает где-то Лабрюйер. Но по мере того, как мы приближаемся к последним дням существования этого погибшего мира, знаки внимания становятся взаимными, и мы чувствуем, что «приближается равенство». Действительно, между всеми средствами социальной нивелировки, придуманными цивилизацией, нет более могущественного и в то же время менее заметного, чем подчинение законам вежливости. То, что Цицерон сказал о дружбе: *amicitia pares aut facit aut inyenit*, вполне применимо к вежливости и в особенности к салонной жизни. В салоне бывают только равные, или он всех по крайней мере уравнивает. Вместе с тем он стремится всюду ослабить социальное неравенство, которое в нем самом исчезает мгновенно. Когда должностные лица, занимающие весьма различные ступени служебной иерархии,

¹ Если же она их оказывала, то почин всегда исходил от представителей низших групп. Тогда между разными сословиями и чинами существовал обязательный поклон; в наше же время кланяется один человек другому, и обыкновенно дело устроивается так, чтобы не всегда одно и то же лицо кланялось первым.

часто встречаются в салоне, их отношения изменяются даже в промежутки между этими встречами; равенство между ними установилось. Вежливое обращение лучше всяких железных дорог уничтожает расстояние не только между чиновниками, судьями и офицерами, но и между общественными классами, постепенно сближающимися, благодаря поклонам и рукопожатиям. Ежедневно в нашем переходном обществе множество людей чувствуют себя польщенными, когда их называют «барином» или «барыней». В этом отношении, как и во многих других, дореволюционное дворянство — вспомним содействие, оказанное им воцарению моды, и его пристрастие к философским идеям XVIII в. — само содействовало крушению воздвигнутого им здания: «его торжество было его могилой».

II

Высказанные нами соображения о переходе от одностороннего подражания к взаимному естественно приводит нас к более важному вопросу, заслуживающему внимания социологов. Я говорю о тех исторических явлениях, которые могут или не могут повторяться в обратном порядке. Всякий чувствует, что относительно некоторых социальных явлений общество может пройти в обратном порядке фазисы, им уже пройденные, но что относительно других это невозможно. Мы выше уже указывали, что после перехода от обычая к преобладанию моды общество может снова возвратиться к обычаю, но уже получившему более широкое распространение. Может ли оно, заменив отношения односторонние отношениями взаимными, вернуться к первым? Ни в каком случае, и мы уже наметнули, почему это нелегко. «Монополии, большие торговые компании, преследовавшие завоевательные цели, торговля неграми, порабощение чернокожих и все колониальные предприятия этого рода, — справедливо замечает Курно, — отвергнуты человечеством, исчезли или исчезнут; они не могут никогда возродиться, как не могут возродиться невольничество, или народные собрания классического мира, или средневековая феодальная система». Все это так; но на чем основано это убеждение? Надо было это сказать, а Курно этого не сделал. Но мы теперь знаем, что неизбежный и окончательный переход от монополии к свободе торговли, от рабства к взаимным услугам и т. д. является прямым выводом из законов подражания. Некоторые из них или все они могут перестать действовать, и в таком случае общество умирает полной или частичной смертью; но они не могут действовать в обратном направлении.

Мыслимо ли, чтобы такое великое государство, как римская империя времен Марка Аврелия, снова превратилось в итальянскую республику, заимствующую греческую культуру под управлением ново-

го Сципиона; потом — в фанатичную и мало цивилизованную республику времен Катона старшего, наконец в маленький варварский город, созданный новым Нумой? Или мыслимо ли, чтобы общество после перехода, в области уголовной, от насилия к мошенничеству (это, как известно, общее явление) и заменив преступления пороками, снова вернулось бы к прежним кровавым своим инстинктам? В таком случае можно было бы допустить, что возмужалый человек снова вернется к юношескому и детскому возрасту, или что окаменелое небесное светило вроде луны снова в обратном направлении, пройдет прежние свои геологические фазисы, и что на нем возродится его погибшая фауна и флора. Разложение никогда не бывает симметрическим параллелью эволюции, хотя Спенсер по-видимому придерживается этого мнения. Значит ли это, что мир действительно имеет смысл и цель, или что все существующее, постоянно недовольное своею судьбою и предпочитающее своему прошлому неизвестное будущее, даже обращение в ничто, отказывается прежде всего вторично прожить собственную свою жизнь, вторично пройти пройденный им уже путь?

Я спешу прибавить, что существенная сторона этого вопроса не может быть объяснена исключительно законами подражания. Последовательно нарождающиеся изобретения и открытия, распространяемые подражанием, чередуются вовсе не случайно; между ними существует логическая связь. Нам нечего на ней останавливаться; она ясно указана Огюстом Контом в его исследованиях о развитии наук и Курно в его авторитетном труде: «L'Enchaînement des idées fondamentales». Поэтому нельзя допустить, чтобы порядок, в котором нарождаются новые открытия, например, математические истины со времен Пифагора до наших дней, мог быть нарушен в широких размерах. Это, правда, не противоречило бы законам подражания, но не мирилось бы с логической последовательностью открытий.

Остановимся на минуту, чтобы подтвердить сделанное мною различие. Не следует смешивать порядок последовательных открытий с порядком последовательных подражаний, хотя подражать и значит перенимать изобретения. Действительно, законы, управляющие первым из этих двух рядов, следует отличать от законов, даже логических, управляющих вторым. Перенимаемые изобретения могут и не пройти всех стадий развития, которые неизбежно должны поочередно пройти все изобретения, вызывающие или не вызывающие подражание. Можно даже себе представить, что весь ряд открытий, логически предшествующих последнему наиболее совершенному открытию, последовательно родился в одной и той же гениальной голове; и, действительно, по большей части изобретатель делает несколько менее важных открытий, прежде чем основное его открытие явится в полном блеске. Законы, управляющие открытиями, коренятся пре-

имущественно в индивидуальной логике; законы подражания отчасти обуславливаются социальной логикой. Впрочем, можно ли сомневаться, что подобно тому, как подражание зависит не исключительно от социальной логики, но подчиняется и внелогическим влияниям, так и мозговая работа, приводящая к открытию, состоит не исключительно в создании посылок, из которых логически вытекает открытие, но и в некоторых других ассоциациях идей, называемых вдохновением, интуицией, гением?

Не забудем однако, что всякое изобретение, всякое открытие обуславливается сочетанием знаний, уже существующих и по большей части уже сообщенных другими. В чем заключается теория Дарвина о естественном отборе? Провозгласил ли он первый борьбу за существование? Нет; но он впервые комбинировал эту идею с идеями об *изменяемости* и *наследственности*. Первая из этих трех идей, провозглашенная уже Аристотелем, не дала никаких результатов, пока она не соединилась с двумя другими. С этой точки зрения можно сказать, что родовым понятием изобретения является плодотворное, повторительное сочетание известных уже истин. Если это верно, то я позволю себе высказать приходящую мне на ум гипотезу, впрочем, не особенно настаивая на ней. Как бы ни были разнообразны повторяющиеся явления, если предположить, что фокусы этих лучеобразных повторений, иначе говоря, изобретения и то, что им соответствует в области биологической и физической, правильно расположены, то новое их сочетание может быть предусмотрено, и эти новые сочетания, т. е. новые фокусы окажутся столь же правильно расположенными, как и первичные фокусы. В таком мире, как бы он ни был сложен, все, следовательно, правильно; ничто в нем не может казаться или быть случайным. Если же, наоборот, предположить, что первичные фокусы распределены неправильно, то и порядок производных будет нарушен и неправильность их распределения будет столь же значительна. Следовательно, в мире всегда будет одинаковое количество неправильностей, проявляющихся в самых изменчивых формах. Прибавим, что эти последовательные формы должны, однако, иметь известное сходство, которое впрочем трудно определить. Первоначальная неправильность отражается в производных неправильностях, составляющих по отношению к первым только увеличенные изображения. Отсюда я вывожу, что если идея постоянных повторений и господствует в мире, то нельзя сказать, чтобы она составляла его сущность, которою, как я полагаю, является известное количество врожденного, вечного, неразрушимого разнообразия. Стюарт Милль пришел к подобному же выводу.

Как бы то ни было, мне кажется бесспорным, что для полного уяснения себе вопроса о повторяемости социальных перемен, даже

наиболее простых, необходимо рассматривать совместно те двоякого рода законы, которые я раньше старался разграничить. Остановимся, например, на переменах, происшедших во французских костюмах в течение трех последних столетий, и предположим, что эти перемены произошли в обратном порядке. А priori гипотеза эта может быть допущена или, по крайней мере, она содержит в себе разве только такое же противоречие, как например мысль сыграть данную мелодию, начиная с конца. Замечу мимоходом, что таким образом получается новая мелодия, которая, не имея ничего общего с первой, часто звучит совершенно удовлетворительно. Но представьте себе царедворцев Людовика XIV во фраках или визитках, штанах и цилиндрах современного покроя; представьте себе, что затем постепенно нынешние штаны заменяются короткими, стриженные волосы — париками, визитка — разноцветным кафтаном с золотым или другим шитьем; словом, представьте себе наших современных демократов одетых, как приближенные Короля-Солнца. Это было бы очень забавно и составляло бы такой контраст между наружностью человека и его идеями, между порядком, в котором сменялись костюмы и события, взгляды и нравы, что невозможность такой метаморфозы совершенно очевидна. Она невозможна потому, что события, взгляды и нравы, внешним проявлением которых до известной степени служит костюм, представляют со времени Людовика XIV известную логическую связь, не допускающую, как и законы подражания, чтобы их мелодия была, так сказать, сыграна в обратном направлении. Это до такой степени верно, что бессмыслица, заключающаяся в упомянутой гипотезе, была бы гораздо менее разительна, если б дело шло о женских туалетах. В крайнем случае можно, ничего не изменяя в новейшей истории, представить себе, что придворные дамы носили в XVII столетии такие же платья и шляпы, как наши модницы XIX столетия, что впоследствии появились кринолины, затем высокие греческие корсажи госпожи Рекамье и г-жи Талльень, и что эти метаморфозы привели современных нам дам к нарядам г-жи де-Ментенон и к головным уборам г-жи де-Фонтанж. Это было бы несколько странно, но мы не сочли бы это бессмыслицей. Почему однако одни только женские моды могут развиваться в обратном направлении, совершенно независимо от порядка, в каком развивались идеи нравы? Это несомненно объясняется незначительным участием женщин в политической и умственной жизни, их всюду и всегда преобладающим желанием нравиться физически и, несмотря на их пристрастие к переменам, основную неподвижностью их природы.

Но заметим, что как относительно женских, так и мужских костюмов, невозможно представить себе, чтобы ткацкое дело после нововведений, которым мы обязаны самыми сложными и разнообразными

материями, вернулось к первоначальной своей простоте. Законы логики не допускают этого. Они не допускают также предположения, чтобы успехи в деле вооружения развивались, начиная с средних веков, в обратном порядке, чтобы человечество перешло от игольчатых к кремневым ружьям, пищалям, самострелам или от крупновских орудий к кулевринам и баллистам. Кроме того, законы подражания не допускают, чтобы как женские, так и мужские костюмы, после того как они, скажем примерно при Людовике XIV, достигли по покрою и материалу полного сходства в разных классах населения и провинциях, опять вернулись к прежнему разнообразно. Этого допустить нельзя¹, даже если одновременно предположить, что при Людовике XIV существовали телеграфы и железные дороги и что они ныне исчезли, унося с собою порожденную ими сильную потребность в непрерывных сношениях и ассимиляции. Это насильственное исчезновение нашей цивилизации положило бы конец процессу подражания, но не могло бы придать ему обратного направления. В одной хронике (см.: *Babeau. La ville sous l'ancien régime*) мы читаем, что Людовик XIII при въезде в Марсель был приятно удивлен видом солдата: его особенно порадовало то, что некоторые из них «нарядились дикарями, американцами, индийцами, турками и маврами». Действительно, только при Людовике XV установился однообразный мундир. Какое впечатление произвело бы в наши дни такое смешение военных костюмов, если бы оно встретилось где-нибудь? Его бы не допустили, т. е. оно могло бы казаться естественным, нормальным, только если бы установилась подобная мода; и даже в таком случае это разнообразие было бы своего рода формой, сходством, т. е. воспроизведением чужого разнообразия.

Остановимся на других примерах. Язык великого народа, выработавшийся из местного наречия, не может вернуться к своему источнику. Мы правда можем себе представить политическую катастрофу, которая вызвала бы раздробление его на наречия; но в этом случае разнообразие было бы обусловлено насильственным ограничением пределами одной провинции лингвистических нововведений, которые прежде распространялись на всей территории государства.

Впрочем, каждое из этих наречий нисколько не походило бы на первоначальное, ему было бы присуще стремление распространиться на соседние местности и восстановить в широкой области единство языка. Эти соображения могут быть применены и к религии. Но бросим взгляд на социальную жизнь в ее совокупности.

Часто говорят, что цивилизация повышает уровень умственной и нравственной, эстетической и экономической жизни народных масс.

¹ Что же тут остается от знаменитого закона прогрессивной дифференциации в смысле неизбежной принадлежности всемирной эволюции?

но не высших общественных классов. Однако эту неопределенную и туманную формулу многие не без основания отвергали, потому что причина утверждаемого ею факта не была указана. Она нам теперь известна. Всякое новое открытие, не противоречащее массе открытий, усвоенных уже данной социальной средой, должно быть ею принято и постепенно распространиться на все общественные классы без исключения. Отсюда следует, что конечным результатом цивилизации должно быть общее и равномерное ее распределение. Мы действительно видим, что в силу закона волнообразного распространения, последовательно народившиеся источники тепла стремятся вызвать, согласно известному выводу физиков, всеобщее равновесие температуры, превышающей нынешнюю температуру межзвездных пространств, но не достигающей температуры самих звезд. Равным образом в силу закона размножения видов в геометрической прогрессии, они стремятся покрыть весь земной шар, населенный пока очень неравномерно, однообразным слоем живых существ, более густым, чем нынешнее среднее его население. Эти сравнения представляют полную аналогию: как на земной поверхности распространяются лучи жизни, так в пространстве распространяются лучи тепла и света; так в роде человеческом, насколько он является собранием живых существ, распространяются лучи человеческой изобретательности. После этого не трудно понять, что космополитическая и демократическая ассимиляция составляет неизбежный исторический процесс, в силу той же причины, которая стремится вызвать равномерное и полное заселение земного шара, и равномерное и полное распространение тепла в пространстве. Этот процесс неизбежен, потому что из двух основных сил, разъясняющих нам весь ход истории, именно изобретательности и подражания, первая, служа источником привилегий, монополий, социального неравенства, действует в общем редко, с очень продолжительными перерывами, между тем как вторая с ее демократическим и нивелирующим характером, действует постоянно без перерывов, примерно так, как Евфрат или Нил постоянно осаждают наносную почву. Но в то же время весьма возможно, что в эпохи лихорадочного расцвета гениальных открытий, в такие, например, эпохи, как наша, успехи цивилизации сопровождаются временным усилением всякого рода неравенства, или неравенства в данной сфере, если открытия носят специальный характер. В наши дни, когда человеческая изобретательность проявляется главным образом в области науки, расстояние между цветом нашего ученого мира и подонками необразованного общества, с точки зрения количества и качества знаний, гораздо значительнее, чем в средние века или в древности. Весь вопрос заключается в том, делаются ли в такие прогрессивные эпохи открытия быстрее, чем происходит подра-

жательный процесс их усвоения народными массами? Но тут мы уже имеем дело с фактами, и поэтому поставленный нами вопрос может быть решен лишь статистикой.

Токвиль убежден, что переход от демократического строя к аристократическому невозможен, и поэтому отвергает мысль, чтобы в демократической среде могла родиться аристократия. Надо однако условиться¹. Если, вследствие известной уже нам причины, люди в современных обществах все более ассимилируются, то отсюда не следует, чтобы между ними устанавливалось полное равенство. Ассимиляция, вызываемая подражанием, составляет только материал, из которого создается общество; но употребление этого материала подчиняется законам социальной логики, стремящейся к прочному объединению всех людей путем специализации восполняющих друг друга способностей и знаний. Поэтому весьма возможно и даже вероятно, что конечным результатом данной цивилизации может быть создание очень устойчивой иерархии², хотя всякая цивилизация, достигшая высшего своего расцвета, познается распространением во всей массе граждан одних и тех же потребностей и идей, если не политических прав и богатств. Можно только согласиться с Токвилем, что аристократия, основанная на наследственном обаянии крови, будучи уничтожена в данной стране, не может уже в ней возродиться. Действительно, мы знаем, что социальная форма мировых повторений — подражание — все более освобождается от биологической их формы — наследственности.

Мы имеем также право утверждать, что национальное объединение будет делать постоянные успехи, что число народов следовательно будет сокращаться, и что обратное явление не может произойти без катастрофы. Это — последствие всемирной ассимиляции, особенно в деле вооружений (указанное г. Жидом в его сочинении о колониях)³. Действительно, в «тот день, когда мы окажемся вылитыми по одному образцу, когда всякий человек будет равноценен другому,

¹ Заметим, что путем целого ряда правильных и непрерывных преобразований, организация католического духовенства перешла от демократии в евангельском духе к аристократии главных епископов, затем к монархии римского епископа, ограниченной соборами, наконец, в абсолютизму непогрешимого папы. Следовательно, тут произошла эволюция диаметрально противоположная эволюции, совершившейся в гражданском обществе. Но как тут, так и там произошел переход от многообразия к однообразию, от раздробленности к централизации.

² Византийская империя — конечный результат греко-римской цивилизации; небесная империя — китайской цивилизации; империя монголов — цивилизации индусов; фараонизм — египетской цивилизации и т. д.

³ Г. Жид прямо имеет в виду законы подражания; он один из первых присоединился к этой точке зрения, и в своем труде «*Principes d'Economie politique*» довольно сочувственно отнесся к моей теории ценности, составляющей частное применение этой общей точки зрения, как она давно уже изложена мной, в нескольких статьях в «*Revue philosophique*».

могущество данного народа будет математически пропорционально его численности», и следовательно, борьба маленького государства с большим сделается невозможной или гибельной для первого. Таким образом к прежним многочисленным аргументам в пользу образования со временем колоссального государства присоединяется новое. Во все эпохи самые обширные государства расширялись часто более, чем это допускалось в практическом отношении существовавшими тогда средствами сношений. В наши дни великие открытия текущего столетия очевидно допускают прочное объединение более многочисленных народов. Мы имеем следовательно дело с небывалою исторической аномалией, и надо думать, что она исчезнет. Мир теперь более созрел для объединения всей Европы, северной Африки и половины Азии в одно государство, чем во время римских завоеваний или при Карле V. Значит ли это, что со временем возникнет всемирная империя, которая охватит весь земной шар? Нет. Из вышеприведенного закона о попеременном действии моды и обычая, о конечном неизбежном возвращении к местным обычаям после более или менее продолжительного периода свободного обмена образцами, вытекает, что естественное — не говорю искусственное — увеличение данного государства никогда не может выйти из известных пределов. Поэтому нельзя питать надежды, что одно государство будет долго господствовать на всем земном шаре и что возможность войны будет устранена. Можно скорее предположить, что по мере того, как объединение или, по крайней мере, федерация цивилизованных народов будет представляться все более желательной, увеличатся и препятствия к их осуществлению, каковы национальные предрассудки, патристическая гордость, неверно или слишком узко понятые коллективные интересы, историческая воспоминания и т. д. Можно даже сказать, что усиливающееся стремление к объединению, постоянно наталкивающееся на новые препятствия, составляет жестокое мучение, которому цивилизация подвергает человека. Мареву вечного и общего мира все более нас прельщает, но в то же время и все более удаляется от нас.

Однако, в тесном и условном смысле, этот идеал, надо думать, временно осуществится, благодаря будущим победам народа, — мы не знаем какого, — предназначенного для этой почетной роли. Но когда это государство образуется и распространит на значительную часть мира безопасность, напоминающую величественную рах готана, но несравненно более устойчивую и пространственно расширенную, тогда нашему потомству может представиться совершенно новое социальное явление, не соответствующее, но и не противоречащее изложенным нами соображениям. Спрашивается, является ли общее сходство во всех его теперешних и будущих формах касательно одежды, алфави-

та, языка, знаний, законов и т. д. последним плодом цивилизации; или, может быть, единственное ее право на существование и ее конечный вывод составляет расцвет индивидуальных различий, более коренных, тонких, истинных и глубоких, чем прежние? Конечно, после космополитического потопа, который покрывает все человечество толстой наносной почвой новых нравов и идей, разрушенные национальности никогда не воскреснут. Люди никогда не возвратятся к поклонению предкам на китайский лад, не будут презирать иностранных обычаев и не предпочтут ускоренно общих перемен усиление прочно установленной внешней самобытности. Но весьма возможно, что цивилизация со временем остановится, чтобы войти в себя, и дать плоды, что поток подражания войдет в твердые берега, и что вследствие именно своего чрезмерного развития потребность в общественности уменьшится или, точнее говоря, видоизменится. Она может превратиться в своего рода общее *нелюдичество*, которое впрочем вполне совместимо с умеренным торговым обменом и с промышленной деятельностью, ограниченной самым необходимым, но которое вероятно усилит в каждом из нас отличительные черты нашей внутренней индивидуальности. Тогда распустится прекраснейший цветок социальной жизни — эстетическая жизнь, которая, постоянно возрождаясь, будет все более распространяться — что в настоящее время составляет еще очень редкое и неполное исключение. Тогда социальная жизнь с ее сложным аппаратом порабощающих функций и однообразных повторений представится наконец в истинном своем свете, т. е. органической жизнью, продолжением и восполнением которой она является, длинным, темным, извилистым переходом от элементарного разнообразия к упрочению индивидуальности, таинственным перерогонным кубом с бесконечным числом трубок, в котором медленно из множества смятых, стертых и лишенных всякой своеобразности элементов сублимируется наконец основной принцип общественной жизни — резкая, мимолетная и никогда не повторяющаяся особенность личностей, их жизни, чувств и образа мыслей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ГЛАВА 1	
Всеобщность повторения	6
ГЛАВА 2	
Социальные сходства и подражание	36
ГЛАВА 3	
Что такое общество?	54
ГЛАВА 4	
Что такое история?	79
ГЛАВА 5	
Логические законы подражательности	122
ГЛАВА 6	
Внелогические влияния	161
ГЛАВА 7	
Внелогические влияния (продолжение)	198
ГЛАВА 8	
Общие соображения и выводы	284

Научное издание

Жан Габриель Тард

ЗАКОНЫ ПОДРАЖАНИЯ

Компьютерная верстка

Т.В. Исакова

Корректор

Е.Ю. Самсонкина

ООО «Академический Проект»
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Испытательного центра издательской продукции
Государственного учреждения НЦЗД РАМН
№ 282/106643 от 28.06.2010 г.

По вопросам приобретения книги просим обращаться
в ООО «Трикта»:

111399, Москва, ул. Мартеновская, 3
Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088
E-mail: info@aproject.ru

Интернет-магазин: www.aproject.ru

Подписано в печать 25.05.11.

Формат 60×90/16. Гарнитура MyslC.
Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19, 25.

Тираж 1500 экз. Заказ № 3067.

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов. 610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36

<http://www.gipp.kirov.ru> e-mail: pto@gipp.kirov.ru